

Артем БОРОВИК

СПРЯТАННАЯ

ВОЙНА

СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО

*Веронике Хильчевской
посвящается*

Артем Боровик

СПРЯТАННАЯ
ВОЙНА



КОЛЛЕКЦИЯ

“СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”

Москва 1999

УДК 35
ББК 66.4 (2 Рос)
Б 83

**В книге использованы фотографии
из архива автора**

**Художник
*Виктор АДАМОВИЧ***

ISBN 5-89048-071-5

© Боровик А. Г., 1999 г



La Résidence des Fleurs.
Avenue Pasteur.
06600 Antibes

I have read no other account of the
war in Afghanistan equal to this - an
~~excellent~~ an eyewitness account of a soldier's
experience from your politics - in other
words this is literature, not journalism.

Здравствуй*

* Мне не приходилось читать чего-либо о войне в Афганистане, что могло бы сравниться с этим свободным от политики свидетельством очевидца о солдатских буднях, — другими словами, это литература, а не журналистика.

Грэм Грин

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемую читателю книгу вошли три повести Артема Боровика: «Встретимся у трех журавлей», «Спрятанная война» и «Как я был солдатом американской армии».

Две первые повести — будни войны в Афганистане. Двадцать лет прошло с того дня, как советские войска вошли в Афганистан, но многое, связанное с этой акцией и войной в целом, до сих пор еще остается тайной. Политиков, принимавших решение ввести войска в ДРА, и некоторых непосредственных ее руководителей уже нет в живых, афганских правителей, просивших прислать советские войска, — убили, большинство документов, исполненных в одном экземпляре, — уничтожено.

В Советском Союзе афганскую тематику всегда окружала тайна, недосказанность. Информация из Афганистана давалась дозированно, просеивалась сквозь сито жесткой цензуры.

В условиях многочисленных ограничений на публикации из Афганистана журналистам трудно было написать правдивый репортаж. Лишь немногим это удавалось, например Александр Каверзнев смог издать «Афганский дневник», где чуть-чуть приоткрыл завесу войны.

Артем Боровик одним из первых сумел показать широкую панораму событий «афганской» войны, объективно высветить их внешнюю сторону и скрытые мотивы. Его публикации прогремели как серия взрывов, — взрывов правды.

Впервые он приехал в Афганистан в 1986 году. Затем бывал там еще не раз. Мне неоднократно доводилось встречаться с ним в различной обстановке, и должен сказать, что материалы для своих репортажей и повестей он собирал не в Кабуле, а в районах боевых действий: бывал на сторожевых заставах, летал на истребителе, ходил в ночную засаду со спецназовцами под Джелалабадом и всегда стремился в самые «горячие» точки Афганистана. Поэтому и героями его повестей являются реальные солдаты и офицеры 40-й армии с их мыслями и чаяниями, неоднозначным отношением к этой войне и своей миссии в Афганистане.

Помню, в январе 1989-го, когда проводилась последняя боевая операция на Южном Саланге против вооруженных формирований полевого командира Ахмад Шаха Масуда, Боровик попытался туда выехать, но я решил не пускать его в район боевых действий в интересах его же безопасности. Война для нас уже заканчивалась, а еще свежи были в памяти события, когда примерно в этом же районе погиб наш журналист, а другой получил ранение. Однако Артем приехал в штаб Оперативной группы Министерства обороны СССР, — мы в то время распо-

лагались на кабульском аэродроме, — и долго убеждал в необходимости этой поездки. Под напором такой настойчивости мне ничего не оставалось, как дать ему разрешение на выезд в район Южного Саланга. После окончания боевых действий в этом районе, преодолев перевал Саланг, Боровик перебрался в мотострелковый полк в Килагае, затем побывал на командном пункте армии в Нойбабаде и вышел с одной из воинских частей на территорию Советского Союза в Термез.

Результатом этой поездки стала повесть «Спрятанная война». В ней обнажены все превратности и перипетии этой войны. Причем война показана во всем многообразии и многогранности, без лакировки и прикрас. А война есть война. Это кровь и боль, страдания и лишения, подлость и предательство, преступления и милосердие, отвага и доблесть, мужество и героизм. В ней переплетаются, казалось бы, несовместимые понятия, но это реальность. «Спрятанная война» в то время явилась откровением для многих, хотя отношение к ней до сих пор неоднозначно.

Постепенно отношение к «афганской» войне начало меняться, но приобретенный там боевой опыт был дискредитирован и отброшен. Однако в декабре 1994 года началась война в Чечне и многие ошибки, допущенные во время войны в Афганистане, повторились, но в еще более ужасном, гротескном варианте, начиная с принятия решения о применении вооруженных сил для подавления сепаратистских выступлений, кончая ведением боевых действий и урегулированием конфликта. И теперь уже «чеченскую» войну объявили ошибкой, и опять не нашлось ответственных за гибель и страдания людей. Те, кто посылал солдат на смерть, оказались неподсудны.

Совсем иная тема повести «Как я был солдатом американской армии». В ней впервые в отечественной публицистике рассказано о жизни и быте американских солдат. Причем повествование ведется не отвлеченно, а конкретно — изнутри. Американцам к тому времени удалось преодолеть «вьетнамский» синдром и построить свою армию на принципах профессионализма, что оказало благотворное влияние на общий настрой и подготовку военнослужащих. Американская армия показана как боеспособная и обученная, то есть серьезный противник, с которым необходимо было считаться. Положительный опыт подготовки и развития войск автор рекомендует прививать и в России, учитывая его при проведении военной реформы в российской армии, конечно, с учетом особенностей нашей страны.

Написанные живо и образно повести Артема Боровика — это больше литература, чем публицистика. И хотя описываемые в них события относятся к концу 80-х — началу 90-х годов, их актуальность и значимость сохраняется до сих пор.

*Герой Советского Союза
Генерал армии В.И. ВАРЕННИКОВ*

ВСТРЕТИМСЯ
У ТРЕХ ЖУРАВЛЕЙ

Никогда не знаешь точно, сколько времени проходит с момента ранения до того, когда начинаешь чувствовать боль.

Иногда — секунда.

Иногда — час.

Иногда — больше чем вечность.

Командир минометного взвода лейтенант Слюньков замерил этот промежуток точно. Получилось, как он говорит, «строго пять секунд».

Партизаны начали обстрел зрэсами. Слюньков глянул на часы, чтобы засечь время между вспышкой от пущенного второго снаряда и подоспевшим звуком. В тот самый момент он почувствовал удар в плечо. Удар, но не боль. В суматохе Слюньков не обратил на него внимания. Он продолжал следить за стрелкой, чтобы помножить потом секунды на 333¹ и получить дальность огня. Однако помножить не смог: боль захлестнула его с ревом локомотива, врывающегося в туннель.

— Мне повезло, — сказал он, — плечевое ранение — романтическое, — расстегнул ворот и оттянул тельняшку. Романтики там было мало.

Иногда боль впивается в тебя одновременно с осколком. А случается и так, что она вообще не приходит. Это как далекая-далекая гроза: молния вспыхнула, а громыхнуть забыла. Только вдруг услышишь хлюпанье в ботинке — точно ноги промочил. Хотя вокруг пустыня без конца и края.

Или почувствуешь, что тельняшка, став сырой и тяжелой, плотно облепила грудь, спину, бока — вроде как вспотел. Только сильнее обычного. Лейтенанту Манееву пуля попала в живот, а он это

¹ 333 м/сек — скорость звука в воздухе.

заметил, лишь когда солдат, смущаясь, сказал: «Товарищ лейтенант, а у вас вроде дырочка...»

— Классический случай внутреннего кровоизлияния, — улыбается Манеев. — Но пусть уж лучше боль приходит вслед за ранением. Хуже — если смерть.

Говорят, не дано услышать свист пули, которая тебя убьет. Но это лишь говорят. На самом деле дано.

Шли ожесточенные бои близ кишлака Малям-Гулям, что под Ханабодом. Был получен приказ выйти к «зеленке»¹ и замкнуть кольцо вокруг партизанской группы. Но головной взвод напоролся на душманский опорный пункт: ни укрыться, ни окопаться — окрест лишь затопленные рисовые чеки. Командир взвода лейтенант Лобачевский получил ранение прямо в сердце.

— Веришь — нет, — сказал мне майор Новиков, к которому были обращены последние слова лейтенанта, — Лобачевский связывается по рации с КП и докладывает: «Разрешите выйти из связи. Я убит».

Я верил.

История была слишком невероятной, чтобы не верить.

Смерть на войне — дело обычное. О ней говорят запросто. Порой — с юмором («Что жизнь после смерти! Ты ответь мне лучше, если ли жизнь до смерти?»).

Будь смерть наделена разумом и всеми сопутствующими ему атрибутами типа гордыни и самолюбия, она обязательно бы возмутилась от столь панибратского к ней отношения. Война срывает с нее ореол таинственности. Загляните в медсанбат, и вы сами убедитесь: смерть — это надрывные крики раненых; смерть — это безмолвный стон в глазах тех, кто уже не в силах кричать; смерть — это запах промедола, спирта, крови и чего-то еще, что живой мозг не может определить.

— Смерть — сука, — скажет вам майор Новиков.

И будет прав.

— Понимаешь, — уточнит полковник Заломин, стиснув средним и большим пальцами виски, — она ведь берет лучших наших ребят...

— И все-таки, — почти про себя шепнет полковник Пешков, — о ней надо думать. Нельзя откладывать этот вопрос до последних дней, на крайний случай. Мысль о смерти не должна застать тебя врасплох, когда ты будешь измучен или слаб.

— А что мне ее бояться, — ухмыльнется лейтенант Лукьянов,

¹ «Зеленка» — зона зеленой растительности.

громыхнув аппаратом Илизарова, — чему быть, того не миновать. Лично для меня она никакой роли не играет: пока я есть — смерти нет, когда она придет, меня уже не будет...

— Моя смерть, — пояснит прапорщик Белоус, умеющий излагать мысли компактно и драматично, — может огорчить кого угодно. Только не меня.

...Разговаривая с этими людьми, я не переставал поражаться той громадной внутренней работе, которую проделали душа и мозг каждого из них, чтобы прийти к такому вот спокойному и даже деловому отношению к смерти. Я поражался до тех пор, пока не понял: привычка думать о смерти как о чем-то естественном, в конечном счете, том единственном, в чем человек абсолютно уверен, уничтожает страх перед нею.

Раннее-раннее утро. Часов пять. Быть может, самое начало шестого. Дорога Кундуз — Багланы ужом извивается между сопкок, ползет вверх, скользит вниз, прячется от моих глаз, и вдруг опять где-то совсем далеко сверкнет на солнце ее мокрая спина.

Вдоль горизонта тянется вереница гор. Сахарные пики тех, что повыше, отрезаны от оснований тонкими блинообразными облаками, медленно, словно жидкое тесто на сковороде, растекающимися по небу. Еще чуть-чуть, и поверишь, что это высокогорный курорт где-нибудь в Швейцарских Альпах.

Кстати, в дорожном атласе, изданном тридцать лет назад в Кабуле специально для иностранных туристов, путешествующих на автомобиле, провинция Кундуз так и названа — Афганская Швейцария.

Часов в семь солнце становится яростней, облака покрываются едва заметной золотистой корочкой, а еще не успевшая подсохнуть дорога блестит, точно размотанный в длинную ленту рулон фольги. И если ты посмотришь на нее в бинокль, глаза миглом защиплет от выступивших слез.

Но стоит хоть немного проехать по этой дороге, как сразу поймешь, что она, как и все трассы Афганистана, изранена. Ее изувеченное минами и снарядами тело словно корчится между сопками.

Если бы дороги могли выть от боли, я предпочел бы стать глухим на отрезке Кундуз — Багланы.

Наши две брони¹ движутся медленно, не более 25 километров в час. Мы старательно объезжаем воронки, некоторые из них по-

¹ Броня — бронетранспортер.

хожи на кратеры: «духи» здесь поработали от души. Тяжелые бронированные машины раскачиваются, как два катерка в семибалльный океанский шторм, вот-вот готовые черпнуть бортом воду из вьющейся справа реки Баглан.

Наш механик-водитель, устав крутить баранку, норовит свернуть на левую обочину — она не столь изрыта минами и ехать здесь можно быстрее. Ничто так не действует на нервы русскому солдату, как по-черепашьи медленная езда. Тогда подполковник Артеменко кладет свою широкую ладонь на ежиковатый, прогретый солнцем и рыжий от дорожной пыли затылок водителя и поворачивает его направо — машина мгновенно выруливает на самую стремнину дороги. Здесь вроде бы безопаснее — засунуть мину под асфальт не так-то просто. Впрочем, «духи» поднаотрели и по этой части. Да и вообще безопасность в Афганистане, как нигде; подчинена не столько законам обычной военной логики, сколько везению: не захочешь, а станешь суверенным.

Проскакиваем расположение 507-го национального полка. Еще год назад он сражался на стороне оппозиции, но недавно примкнул к кабульской власти, потребовав от правительства выполнения ряда условий: не призывать его бойцов в регулярную армию, снабдить полк боеприпасами и оружием, выделить территорию, которую он бы защищал от посягательств душманов. Правительство выполнило все требования, хотя зачастую такие шаги сопряжены с серьезным риском: случалось, пополнив за государственный счет свои арсеналы и получив передышку для восстановления сил, подобного рода военизированные формирования потом опять начинали боевые действия против регулярных афганских войск и советских подразделений.

Часам к двенадцати дорога подсохла, и теперь мы тащим за собой шлейф густой клубящейся пыли метров в тридцать длиной. Бронетранспортера, идущего позади, не разглядеть. Слышен лишь рев двигателей. Лица наши вроде как загорели, но стоит провести по лбу носовым платком — и весь загар остается на нем в виде рыжей пыли.

Вдоль обочин бредут безразличные ко всему в этом мире ослы, нагруженные так, что видны только уши, следом — погонщики с тоненькими прутиками в руках. Разглядывая этих навьюченных многопудовыми мешками с рисом, связками дров, каким-то немислимым домашним скарбом животных, я не переставал дивиться их отстраненному, почти созерцательному отношению к жизни. Ни гром четверки истребителей, пролетающих в двух десят-

ках метров над ними, ни рычание БТРов, теснящих их на обочины, ни грохот разорвавшейся поблизости мины — ничто не может вывести этих животных из молчаливого спокойствия. Быть может, они познали что-то, чего не ведаем мы, но дали обет молчания?

— Все, Багланы, залезай в броню! — командует Артеменко, и я быстро выполняю его приказ.

Впрочем, он мог этого не говорить: и без подсказки понимаешь, что ты на подступах к Багланам. Здесь уже четвертые сутки подряд наши бок о бок с подразделениями 20-й афганской дивизии, тремя оперативными батальонами МГБ и царандоем держат в плотном блоке отряд Гаюра, к которому примкнули остатки разгромленных партизанских отрядов, обстрелявших недавно таджикский городок Пяндж. По данным разведки, в окружение попало около 350 повстанцев, превративших Южный Баглан в свой базовый укрепрайон, оборудованный по всем законам современной фортификационной науки.

В 1986 году Гаюр отправился в Пакистан, а в феврале 1987-го вместе с несколькими большими караванами вернулся, доставив в провинцию Кундуз, точнее, в город Южный Баглан несметное количество боеприпасов и оружия. Сейчас он ведет огонь из 20 ПЗРК китайского производства, 5 безоткаток. У него на вооружении 25 РПГ, 8 минометов, пулеметы, 76-миллиметровые пушки, одна 122-миллиметровая гаубица.

Второй наш БТР был обстрелян пулеметом, но мы этого не заметили, потому что частые залпы почти в зенит работающей артиллерии заглушают все остальные звуки.

Сквозь цель для стрельбы из БТРа видны рваные облака дыма, плавающие над городом. Вдоль обочин безжизненно застыли подорванные на минах КамАЗы, бронетранспортеры, несколько афганских автобусов. С грохотом прицельного артиллерийского огня, вспышками взрывов никак не вяжутся несколько сгорбленных фигур крестьян на еще не успевшей иссохнуть серо-желтой земле в седловине между двумя горами. И уж совершенно фантастически выглядит цирюльник с деревянным гребнем и длинным лезвием в коричневых старческих руках. Он застыл в ожидании клиента на коврике под тощим эвкалиптом у самой дороги. Он провожает нас все понимающим, все прощающим взглядом.

Если на дороге затор и мы останавливаемся, к нам мигом подбегает целый выводок легких, поджарых ребятишек (на местном жаргоне наших солдат — бачат) — мал мала меньше. Они разма-

хивают сумочками с американскими противогАЗами и кричат: «Командор, Гаюр — газы! Гаюр — газы!»

— Это они нас предупреждают, — орет мне прямо в ухо Артеменко, пытаясь перемочь рокот двигателей, — что у Гаюра на складах химические мины! Понял?

Я что-то кричу в ответ, а глаза самопроизвольно рыщут по кабине в поисках хоть одного противогАЗа.

— Но может быть, — дерет мне ухо своей щетиной Артеменко, — Гаюр подкупил бачат игрушками, чтобы посеять панику среди наших солдат! Понял?

Тем временем подъезжаем к нашему КП. Он расположен на небольшом холме в кирпичном домишке, обмазанном глиной. Здесь раньше обитал губернатор провинции Кундуз, решивший подыскать для житья более безопасное место. Вместо стекол, выбитых вчера взрывной волной, в окнах натянут дымчатый целлофан. Потолок и стены заделаны плетеной соломой и грубыми досками, видимо, от снарядных ящиков. При каждом близком разрыве гранат сухая глиняная пыль осыпается сквозь щели прямо за воротник. Стоит деревянный стол с разложенными на нем картами. К столу приткнуты посеревшие от времени лавки.

Напротив меня сидит полковник Шеховцов, рано поседевший, крепко сколоченный человек. За его плечами уже порядочный боевой опыт, многочисленные операции при минимальных потерях в подразделениях (хотя, конечно, даже потерю одной человеческой жизни вряд ли можно назвать минимальной). Он говорит тихо, ровно, почти не повышая слегка хрипловатого голоса. Точно так же отдает лаконично емкие приказания по телефону, не выпуская потухшей сигаретки из прямого, с бледными губами рта. В углу приютился лейтенант. На его голове защитный шлем вертолетчика, служащий одновременно и рацией.

— Среди всех мятежных групп, орудующих в провинции Кундуз, Гаюрова наиболее ожесточенно настроена против национального примирения, — говорит Шеховцов, оторвавшись от телефона. — После 15 января он резко увеличил число обстрелов наших и афганских застав, мирных кишлаков в районе Пули-Хумри. Поэтому сразу после того, как мы закончили разгром группировки Ортабулаки, обстрелявшей эрсами Пяндж, было принято решение двинуться дальше на юг и блокировать Гаюра здесь, в Южном Баглане. Он трудный противник, хорошо знающий нашу тактику. — Шеховцов на секунду задумался. — Впрочем, как и всякий бывший друг, оказавшийся перебежчиком. Ведь раньше Гаюр

был на стороне революции. Более того, он учился в Союзе, в Академии имени Фрунзе. Потом переметнулся в стан оппозиции и с восьмидесятого года начал активные боевые действия на территории Афганистана. Воюет он подло: под страхом смерти запрещает выходить мирным жителям из окружения, держа их в качестве заложников. Но все равно и наши, и афганские агитотряды продолжают работать; в результате под прикрытием огня нам удалось выманить оттуда нескольких женщин, стариков и маленьких детей. Тогда он вооружил пацанов, начиная с десятилетнего возраста, заставил их воевать. Но дети, сдав оружие, вышли через фильтрационные пункты блока.

Резко открывается входная дверь — врывается нарастающий томительный вой мины. Она пролетает мимо и падает где-то позади КП, чуть левее. В грохоте взрыва можно разобрать дробный шум осколков и комьев грязи, ударившихся о стены бывшей резиденции губернатора.

Вбегает, чуть согнувшись, майор и, едва отдышавшись, обращается к Шеховцову:

— Золотаренко срочно просит танк с тралом.

— Возьми, — говорит Шеховцов, не отрывая глаз от «пятидесятки», — но не больше чем на час.

Майор исчезает, а Шеховцов просит телефониста соединить его с «Сонатой».

— «Соната», как слышишь? У тебя слишком большие разрывы между блоками — встань плотней. — В другую трубку, зажав ее плечом и подбородком, как скрипку, говорит: — Продумай, Петрович, группировку артиллерии, минометов, чтобы можно было вести беспокоящий огонь по камышовой и зеленой зонам. Понял, да? Давай, действуй!

Шеховцов выходит меня проводить. Все чуть пригнулись, лишь он стоит прямо, глубоко затягиваясь свежим воздухом.

— Не бойтесь гаюровских снайперов? — спрашиваю его.

— А ну их к черту — унижаться еще! — щурится на солнце Шеховцов. — Сейчас бои идут с десятой на девятую и с третьей на четвертую улицы: начинаем помаленьку сжимать клещи. А в 17.00 после артподготовки будем брать пятую и восьмую улицы. Пока что между тисками блока два с половиной километра, а надо сблизиться до одного, тогда Гаюру некуда будет деваться...

В это время трещит внутри телефон, и Шеховцов скрывается за дверью.

Внизу, прямо у нашего БТРа, танцует волчок из пыли и песка. Он вращается все быстрее, закручивая мелкие камешки и сухие ветки. Это «афганец». Мы прячемся в БТР. Если не от кумулятивного снаряда, то уж от ветра машина нас защитит.

Гаур и Шеховцов здорово изуродовали своим огнем Баглан. Стоят дома-обрубки, лежат дома-трупы. А от иных глинобитных хижин осталось лишь воспоминание.

Над головой грязным, сырым холстом висит расстрелянное небо. В нем молча, с остервенением дерутся два белых орла. Птицы тоже привыкли к войне.

Близ развалин одной из лачуг молится мальчик лет семи — подошло время намаза. Он делает это истово, вернее, неистово. Быть может, так молятся лишь в детстве. Похоже, они здесь еще во что-то верят.

Подъезжаем к одному из фильтрационных пунктов, входящих в блок. Он состоит из БТРа и звуковещательной станции. Вылезаю из бронетранспортера, чтобы сделать несколько снимков, и ощущаю себя черепахой, которую вытащили из панциря.

Офицер местного управления МГБ рассказывает мне, что основная масса жителей, покидающих блокированную зону, выходит именно через этот фильтрпункт.

— Мы проверяем очень тщательно документы и наличие оружия. Но дело это сложное, — говорит он и щиплет свои роскошные усы. — Под видом местных крестьян из блока стараются выйти солдаты Гаюра. Вот эти двое, — он показывает на бородатых рыжеволосых парней лет двадцати, сидящих на обочине, — напялили на себя женскую одежду и тоже пытались проскочить.

У парней вид довольно безобидный. Я говорю об этом офицеру.

— Безобидный до тех пор, пока они не начнут в вас стрелять, — отвечает он. — Впрочем, переодевание — хитрый, но уже порядком избитый прием: они рассчитывали на то, что с женщины не снимешь чадру. Однако мы предвидели такой вариант и специально пригласили для помощи в подобных случаях двух девушек из местного управления МГБ. Впрочем, этих-то мы и сами быстро раскусили: даже женщины очень крупные не носят ботинки, — офицер кивнул на ноги «духов», — сорок третьего размера.

Гляжу на носки здоровенных пыльных башмаков, выглядывающих из-под длинных женских платьев, и думаю о том, что некоторые из исторических предшественников этих парней были более везучими.

Я провел на фильтrpункте около двух часов, хотя работы у афганских чекистов уже почти не было: практически все мирные жители покинули Южный Баглан. Двое солдат, позевывая, сторожили незадачливых «духов», а трое других начали жечь заросли камыша, чтобы ночью партизаны не смогли подойти незамеченными вплотную к пункту. Камыш был еще сырым после ночного ливня, и огонь занимался нехотя. Впрочем, и его хватало, чтобы погреться.

Минут через сорок в пятистах метрах от нас дорогу начала переходить небольшая отара длинношерстных овец. Следом за животными шли пастухи, человек десять; что-то многовато для такого стада. Вместе с майором МГБ Саидом Исмаилом, начальником фильтрационного пункта, человеком с печальным, пронзительным взглядом, мы подошли к стаду, даже не захватив автоматов: пастухи шли без оружия. На длинных рубашках каждого из них краснели значки «XXVII съезд КПСС». Они приветливо улыбались и что-то очень быстро говорили Саиду. Тот внимательно проверил их документы, а потом подозвал трех солдат, поджигавших злосчастный камыш. Те подошли и молча отсекли пастухов от стада. Саид, быстро развернувшись, схватил одну из овец.

— Хочешь и ее документы проверить? — вяло пошутил я.

В ответ он разрезал ножом две толстые ворсистые бечевки, которыми была опоясана овца, и вытащил у нее из-под брюха новенький автомат.

— Проверь-ка вон эту! — крикнул он мне, кивнув на другую овцу.

Я оказался не столь ловок и поймал ее лишь со второй попытки. Эта овца несла два автомата без магазинов и связку из трех гранат. «Моя агница побогаче», — подумал я.

Остальные овцы тоже оказались с оружием, а на брюхе у самой крупной мы обнаружили РПГ.

«Пастухи» изображали удивление, а один из них долго возмущался коварству душманов, решивших в «своих преступных целях использовать наивность мирных пастухов».

Дорога на заставу капитана Захарова была запружена транспортом и людьми. Поэтому пять или шесть километров, отделявших ее от фильтрационного пункта, мы одолели лишь минут за тридцать.

Небо, с каждой минутой все больше мрачней, в который раз за этот день грозило проливным дождем. Мимо тащились пест-

рые автобусы, битком набитые крестьянами. За день люди устали и с обычно веселых афганских лиц исчезли улыбки. Я хотел до наступления ночи обязательно добраться до заставы и повидать Захарова. В провинции Кундуз его имя известно любому.

Застава расположена в стратегически важном для «духов» месте — на стыке нескольких караванных путей. Контролируя этот «нервный центр», Захаров перекрыл Гаюру наиболее короткий путь доставки из Пакистана боеприпасов, оружия, медикаментов и продовольствия.

Еще год назад Гаюр объявил Захарова своим личным врагом номер один, пообещав за его голову около миллиона афгани. Не помогло. Тогда он послал на заставу под видом «доброжелателя» своего агента с предложением: «Переходи, Захаров, на мою сторону. Озолочу тебя и всех твоих жен. Гаюр».

Захаров поблагодарил лазутчика за лестное предложение, но Гаюру просил передать следующее: «Золото твое низкой пробы. Захаров».

— Гаюр рассвирепел, — смеется Захаров, поглаживая свою круглую голову с коротко стриженными волосами.

Мы сидим в солдатской хлебопекарне и пощипываем горячий кисло-сладкий хлеб. От печи исходит нежное тепло с запахами уютной избы, спокойствия. Еще чуть-чуть — и мы с Захаровым окончательно перенесемся в его родной поселок под Майкопом, про который он вспоминает, пойдём купаться на речку, потом...

Артиллерийская канонада возвращает нас в Южный Баглан, на заставу.

В прошлом месяце Гаюр попытался взять Захарова обманом: золото не помогло — выручит хитрость. Приходит на заставу очередной «доброжелатель» и сообщает, что завтра в пяти километрах отсюда пойдет большой караван с оружием. Если Захарову дороги мирные жители окрестных кишлаков, он должен его уничтожить.

— Я быстренько проверил эту информацию, — рассказывает Запахов. — Я очень хорошо живу с крестьянами здешних кишлаков. Никогда их не обманываю, делюсь продовольствием, раздаю солярку. Если кто меня попросит выделить охрану, чтобы крестьяне могли спокойно вспахать землю, всегда иду навстречу. Словом, верные мне люди сообщили, что информация насчет каравана — ложь. План Гаюра стал ясен: он хотел, чтобы я отправил основные силы роты в засаду, а он тем временем взял бы меня голыми руками. Нет, думаю, не пройдет! Я щедро отблагодарил

«доброжелателя» и вечером симитировал уход роты на засадные действия. Но лишь стемнело, все ребята вернулись обратно. И я оказался прав: ночью Гаюр, подтянув сюда почти шестьсот до зубов вооруженных боевиков, атаковал заставу с четырех сторон. Ну и я его встретил соответственно. Гаюр драпал до самого Баглана без оглядки. Однако он мужик с выдумкой — на следующий раз решил действовать методом «от противного». Подсылает он «доброжелателя», который сообщает: «Многоуважаемый Захаров, завтра в пять часов дня Гаюр ударит по твоей заставе всеми своими силами — готовься». Я, как повелось, от всей души благодарю «доброжелателя», даю ему денег, муки, дров. А про себя смекаю: «Ага, ты, Гаюр, хочешь, чтобы я заперся в своей крепости, а сам тем временем проведешь караван. Нет, брат, опять не выйдет!» И точно: завтра ровно в пять дня идет караван из ставьочных и десятка «тойотовских» пикапов — боеприпасов столько, что Гаюру бы на два месяца активных «боевых» хватило. Но мои ребята еще с ночи в засаде скучают — поджидают караван. Так вот и воюем мы с Гаюром — по принципу «кто хитрей, тот и выиграл».

Захарову двадцать восемь. Приехал он сюда год назад. Первые четыре месяца ушли на изучение территории, обычаев и традиций местных крестьян, без чего здесь невозможно вести боевые действия.

— Мне повезло с самого начала, — говорит Захаров, — бандам было не до меня: они все больше между собой цапались, а я под шумок караваны с оружием щелкал. Гаюр в очередной раз вернулся из Пакистана с приказом объединить в один кулак все враждующие отряды, а здешних жителей — агитировать уйти через границу, однако никто его и слушать не хотел. Тогда он, подлец, вот что придумал: чтобы вынудить их покинуть Афганистан, начал обстреливать мои позиции прямо из близлежащих кишлаков, пытаясь вызвать туда наш ответный огонь. Провокации повторялись день за днем, но мы молчали — нельзя же бить прямой наводкой по мирным жителям. Кроме того, Гаюр вовсю пользуется и тем, что я не могу минировать в этих местах ни тропы, ни караванные пути — опять же из боязни ранить кого-нибудь из крестьян...

Захаров вышел из пекарни посмотреть, что делается кругом. Я все так же сидел, прислонившись спиной к теплой стене, и курил. Снаружи было уже почти темно. От печи веяло теплом. Приятно было вдыхать его, расслабив все мышцы. Сквозь маленькое

оконце видна луна. Она похожа на единственный светящийся иллюминатор далекого судна, стоящего на рейде. Если долго смотреть, покажется, что судно едва заметно перемещается.

— Опять диверсия на трубе, так ее и раззтак, — чертыхнулся вернувшийся Захаров.

Один из взводов захаровской роты охраняет довольно длинный отрезок двух ниток трубопровода, по которому мы качаем в Афганистан топливо. Пробить его ничего не стоит: кувалдой разок хорошенько вдарь — вот тебе и дырка. Зачастую партизаны заставляют это делать маленьких ребятишек, выплачивая за каждую пробоину по сто афгани. Но чаще они прибегают к иному способу. Несколько групп мятежников в разных местах выходят к трубопроводным нитям и подрывают их, устраивая большие пожары. При этом они минируют подступы к пробоинам.

— Сейчас это наверняка сделано для того, — объясняет Захаров, — чтобы отвлечь мои силы на тушение пожара и попытаться провести к Гаюру очередной караван. Так что давай отложим наш разговор до рассвета...

Пожар полыхал вовсю. Это давало возможность саперам работать без фонарей. В ночное небо уносились клубы дыма и копоти. Мин не нашли, и уже за это можно было благодарить «духов».

Один из солдат, стоявших рядом, дал мне несколько хрустящих галет. Я облил их еще горячим чаем из фляги, чтобы они не крошились.

— Что-нибудь найдется перекусить? — спросил меня сидевший на корточках сапер.

Я протянул одну уже размякшую галетину, и он принялся ее жевать. В глазах его бушевало пламя.

Что-то бухнуло неподалеку, и по земле пробежала слабая судорога.

— 122-миллиметровая гаубица, — сказал вышедший из тьмы подполковник. Он только что приехал с КП полка. — Гаюр мечется по блоку в поисках щели. Мы взяли восьмую и пятую улицы. Афганцы сейчас их прочесывают. Расстояние между обеими блокирующими группами минимальное, а артиллерии трудно работать: как бы своих не накрыть.

Он протянул руки, грея их над огнем. Я глотнул из фляги и передал ее подполковнику. В этот момент что-то резко вспыхнуло, точно распахнули леток домны. Секунды через две сквозь шум дождя и огня донесся разрыв. Видимо, стреляла безоткатка метрах в семистах отсюда.

Подполковник сказал, что час назад с южной стороны к блоку подошла еще одна группа партизан, попытавшаяся взломать окружение и вывести Гаюра с его охраной. «Духи» воспользовались пожаром, дабы проскочить незамеченными вплотную к блокировке. Потом они извне и изнутри одновременно ударили по одному из стыков, но этот участок сейчас укрепили, подтянув два взвода из резерва. Взято много пленных, один на допросе сообщил, что Гаюр убит.

Я поздравил подполковника.

— Это типичная «деза». — Он отпил еще раз из фляги. — Ее уже второй раз пускают за три дня, чтобы мы ослабили напор. Но черт Ваньку не обманет: Ванька сам про него молитву знает.

Часам к трем ночи пожар затушили, предварительно перекрыв ток солярки. Проритую трубу пришлось заменить. Теперь ее оттащили к дороге.

Подполковник подкинул меня до КП, а на прощание кинул бушлат.

— На, не будешь мерзнуть.

— Кому мне его вернуть?

В ответ он махнул рукой.

— Бери себе. Теперь уж он никому не нужен...

Я влез в БТР, по днище увязший в грязи, и закрыл за собой люк, чтобы капли дождя не попадали внутрь. На соседнем сиденье спал в позе эмбриона пулеметчик. В кабине горела одна яркая синяя лампочка. Солдат, защищаясь во сне от света, поправлял зеленую панаму, прикрывая ею глаза.

Хотя внутри было теплее, чем снаружи, прежде чем лечь, я надел бушлат, застегнув все до единой пуговицы. Бушлат был с погонами, на каждом — по четыре маленьких зеленых звездочки.

Отныне я был капитаном.

Я долго не мог заснуть и лежал, слушая спокойное дыхание своего случайного соседа. Руки никак не хотели согреваться, и я засунул их в глубокие карманы куртки. В правом нащупал коробочку и вынул ее. Это были английские таблетки «Пуритабс Макси». Аккуратно сложенная в несколько раз инструкция гласила, что каждая таблетка может продезинфицировать двадцать пять литров воды: видимо, владельцу бушлата часто и подолгу приходилось бывать на «боевых». В этой же коробке лежало пять желтых профилактических пилюль от гепатита. Обычно ими для страховки пользуются те, кто уже перенес однажды болезнь Боткина. На дне кармана шуршал песок вперемешку с табаком. Я поднес к носу

щепотку этого крошева. Она сладковато пахла «Амфорой» — трубочным английским табаком, который не перепутать ни с каким другим. Красный целлофановый пакетик «Амфоры» можно запросто купить за триста афгани в любом дукане. Были бы деньги.

Постепенно в моей голове начал складываться образ Неизвестного Капитана. Конечно, очень расплывчатый, но кое-что я уже знал о нем наверняка. Это был спокойный, немногословный человек, любивший поразмышлять на досуге: людей иного склада редко тянет к трубке. Рукава на локтях протерты, и в грубую материю въелась земля: Капитан часто лежал в засадах. Сзади бушлат тоже сильно потрепан и слегка порван: его бывшему владельцу пришлось вдосталь наездиться на броне. Карманы сильно оттопырены: привычка держать в них руки. Я представил себе человека лет двадцати восьми в стылый, промозглый день, когда так и хочется поднять воротник, который сзади оказался засален и изношен, а по бокам и спереди протерт: у Капитана была жесткая щетина. Бушлат напоминал навсегда покинутый хозяевами дом, в который ты случайно зашел и повсюду находишь следы недавней жизни.

Я не стыдился своего любопытства. В конце концов, это такое же необходимое качество любого репортера, как умение печатать на машинке.

В левом кармане я обнаружил несколько засохших полевых цветков: был ли он сентиментален? На самом дне лежал обрывок бумажки, мелко исписанный убористым почерком. Все строки размыты, но две я разобрал в синем свете лампы: «...глупое мое положение — быть влюбленным до безумия в собственную жену. Тем более глупо, если учесть, что знаем мы друг друга уже пятнадцать лет. Я часто...» — и в самом конце: «...приезжает Степунин, так что пришли с ним банку селедки...» Эх, сюда бы, в БТР, Холмса с его приятелем Уотсоном: они бы мигом во всем разобрались. Впрочем, говорят, прототип Уотсона доктор Брайтон был в этих местах в составе британского экспедиционного корпуса. Силясь вспомнить даты англо-афганских войн, я почувствовал, как на меня медведем наваливается сон.

Сквозь броню были слышны приглушенные взрывы и далекая стрельба. Как будто уши заткнули ватными тампонами. Вскоре мир вне БТРа потерял для меня всякое значение, и я заснул с едва теплившейся мыслью о Неизвестном Капитане.

Пулеметчик разбудил меня в шесть утра. Я открыл люк и выглянул наружу. Было уже светло, хотя тяжелое небо, низко висев-

шее над Южным Багланом, словно дымчатый светофильтр, нехотя пропускало солнечные лучи.

Артиллерия молчала, но густая автоматическая стрельба отчетливо раздавалась позади нас. Пулеметчик притащил каску ржавой горячей воды, которую он нацедил из радиатора «уазика». Мы умылись, и от ржавых лиц наших шел пар. Съев баночку колбасного фарша, я подошел к другому БТРу, что стоял за насыпью под слабо натянутой, провисшей от дождей маскировочной сеткой. Двигатель его работал, и можно было погреться в сладковато-влажных выхлопах отработанного горючего. Сидевший на нем офицер с черным от копоти лицом и красными от недосыпа белками в ответ на мой вопрос сказал, что он как раз едет на шестую улицу. Еще ночью она была в руках партизан, но только что ее взяли, и сейчас там работают афганские саперы.

Шестая улица состояла из одних воронок, до краев наполненных серой водой. На обочинах лежало несколько десятков уже обезвреженных противопехотных и противотанковых мин, китайские автоматы и английские винтовки, несколько гранатометов и два пулемета.

Сам город Южный Баглан представлял собой головоломный (но уже полуразрушенный) лабиринт, который можно встретить на обложке любого детского журнала с короткой надписью: «Найди, как выбраться отсюда зайчишке». Разобраться в нем почти так же трудно, как в истинных мыслях и настроениях его недавних обитателей.

Когда мы вошли в один из взятых блиндажей, на земляном полу еще дымились миски с бараньим пловом. Чуть в стороне лежали три трупа. Рука одного из них сжимала ложку. Тот, что был чуть поодаль, застыл, вцепившись пальцами в автомат.

В углу стоял термос. Уже трофейный. Он был неестественно тяжелым, хотя жидкости в нем не оказалось. Полковник Валерий Заломин, одним из первых ворвавшийся на эту улицу, сказал, что с подобными «сувенирами» надо быть поосторожней — обычно это мины-сюрпризы. Именно так и оказалось. Открутив дно термоса, я увидел, что колба облеплена черным пакистанским пластиком повышенной мощности.

— Сегодня вечером ты бы узнал механизм действия этой штуковины. — Заломин помял в пальцах кусочек пластика. — После ужина наливаешь в термос горячий чай, пластик моментально расширяется, и от повышения давления происходит взрыв. Так что это был бы последний чай в твоей жизни.

Во всех других укреплениях — дотах, дзотах, блиндажах в четыре наката, многоэтажных подземных складах оружия и госпиталя — можно было искренне подивиться выдумке бандитов, богатству их злого воображения: солдаты находили мины-зажигалки, мины-часы, мины-авторучки, мины-магнитофоны. Смерть-сюрприз пряталась и маскировалась столь виртуозно, что разглядеть ее во всех этих предметах мог лишь человек с наметанным глазом.

Так завершились четырехсуточные бои за Южный Баглан. Однако среди убитых и раненых не удалось найти и опознать лишь одного человека — самого Гаюра. Между тем взятие его в плен было, как мне сказали, одной из главнейших целей этой крупномасштабной совместной советско-афганской операции. И хотя многократный численный перевес был на стороне Шеховцова (не говоря уж о танках, авиации и артиллерии), Гаюр боя не проиграл.

Кабинет начальника Управления МГБ провинции Кундуз полковника Абдуллы Факир-заде предельно скромнен. Ничего лишнего. Письменный стол, несколько стульев, жесткий (пожалуй, слишком) диван.

Сам полковник высок, сутуловат. Усами напоминает Буденного.

— По моим данным, — начал он, — Гаюр ушел в три часа ночи перед взятием последней, шестой улицы, переодевшись в женское платье. Я допускаю, что ему удалось проскользнуть через один из блоков МГБ за крупную взятку: предательство... Знаете, здесь всякое случается. Особенно если учесть большой процент малосознательных новобранцев из кишлачного населения.

— Морально-политический дух во многих афганских подразделениях, которые довелось объехать, — заметил я, — оставляет желать лучшего. Не каждый солдат может объяснить, за что, в конечном счете, он воюет. — И я рассказал о нескольких случаях дезертирства из афганских частей, происшедших в провинции совсем недавно. Полковник знал о них.

— Это серьезная проблема, — покачал он головой. — Причины (не оправданий), конечно, масса. Я назову лишь одну. Не хватает денег, солдат царандоя получает в пять раз меньше, чем душман в банде Ахмад Шаха. А продажа личного оружия? Пистолет на здешнем черном рынке идет за 80 тысяч афгани — семью можно кормить целый год, килограмм мяса — это я для

сравнения — стоит 250 афгани. Но мы в последнее время приняли ряд очень жестких мер для пресечения дезертирства и продажи оружия.

Усы полковника Абдуллы Факир-заде полностью закрывали его постоянно говоривший рот, а мощный, в треть лица, до стального блеска выбритый подбородок при этом почти не двигался. И потому иногда казалось, что речь его льется из глаз цвета южной беззвездной ночи.

— Сейчас, — сказал он после короткой паузы своим глуховатым спокойным голосом, — сюда приведут пленного муллу, того, что исполнял функции судьи в кишлаках вокруг Имамсахиба и прославился редкой жестокостью по отношению к сочувствующим кабульской власти. В доказательство того, что он никогда не держал оружия и не убивал, мулла покажет вам свои нежные, с голубыми прожилками руки. Но не верьте, они по локоть в крови. Он убивал, казнил, расстреливал, обрезал уши своими вердиктами. Введите пленного!

Но пленного никто не вводил. Он открыл дверь и вошел сам.

Лицо этого маленького, щуплого человека лет пятидесяти являло собой символ высших людских добродетелей. Здороваясь со мной, он почти до плеч закатал рукава своего балахона. Если бы я не видел его лица, то решил бы, что эти руки могут принадлежать семнадцатилетней девушке, чьи родители с детства оберегали ее от трудов, грязи и солнца.

Впрочем, как и все допросы пленных, на которых доводилось присутствовать, этот тоже оказался скучным и не менее бессмысленным. У меня сложилось впечатление, что все здешние партизаны говорят по одному сценарию, подготовленному загодя. Я привык видеть на их балахонах значки с изображением профиля Ленина, значки в форме красного знамени. Я много читал и слышал о религиозном фанатизме этих людей и потому всегда удивлялся тому, как легко они отрекаются от аллаха и клянутся в любви к «неверным». Помню, как в Баграме прошлым летом мы дали взятому в плен душману немного спирту — он здорово продрог в ночной засаде. Парень выпил и сладострастно улыбнулся, прося еще. Ему разрешили закусить тем, что было на столе, — тушеной. Я тогда спросил его:

— Разве позволительно солдатам аллаха пить спирт и есть свинину?

— Мы под крышей — аллах не видит, — ответил он, указав на потолок.

Явившийся на допрос мулла, истово поклявшись в верности идеалам революции, сказал, что единственная боль, которую он приносил людям, была вызвана обрядами обрезания. Но это святая боль.

По разведанным было известно, что он всячески подстрекал Ортабулаки к обстрелу советской территории в районе Пянджа. Мулла, естественно, это отрицал.

— Когда начался обстрел, я решил, что идет бой между двумя враждующими бандами, — сказал он.

Знали мы и о том, что он вынес незадолго до обстрела Пянджа смертный приговор киргизу Абдулле и четверем его сыновьям, решившим перейти на сторону Кабула. Факт этот был широко известен в районе Имамсахиба, и мулла не мог отрицать его.

— Я был против казни, — сказал он, отхлебнув из пестрой пиалы уже остывшего зеленого чая. — Но Ортабулаки посоветовал мне готовить для себя кафан¹, если я откажусь подписать смертный приговор.

— Скажи, как бы ты поступил, — спросил я его, — если бы Ортабулаки заставил тебя судить русского? — Задав этот вопрос, я представил себя в положении военнопленного, а его в роли судьи. Мне стало немного не по себе.

— Ни Ортабулаки, ни Халиф никогда не просили меня об этом. — Он развел в стороны нежные руки.

— Ты стар и мудр, — сказал я, указав глазами на его седины, — скажи, что здесь будет после ухода советских войск? Говори откровенно, тебе ничего не сделают.

Мулла и без меня знал, что он в безопасности. Может быть, даже большей, чем у себя в кишлаке. Он внимательно осмотрел свои руки от кончиков ногтей и до плеч — рукава все еще были закатаны.

— Будет очень тяжело, и прольется много мирной крови.

Муллу увели. Полковник Абдулла Факир-заде захлопнул за ним дверь, как-то печально улыбнувшись вслед. Он откусил кончик от кубинской сигары, закурил и, выпустив пару клубов горького дыма, сказал:

— Киргиза Абдуллу и его четырех сыновей расстреляли на рассвете. Самому младшему пуля вошла в плечо. Ночью он выбрался из-под трупов отца и братьев, а к рассвету следующего дня

¹ Ка ф а н — белая материя, в которую заворачивают умершего перед погребением.

добрался сюда. Этот парень нам и сообщил, что именно мулла был инициатором казни...

...Дожидаясь пары Ми-8 у самой ВПП, я залез в стоявший на прочном приколе полуразбитый чехословацкий «альбатрос». Его винты нехотя вращались на ветру. Внутри похрапывал здорово обгоревший на солнце солдат. Усевшись в пилотское кресло, я закурил.

В самолете было зыбко, густой сигаретный дым согревал легкие, и от этого казалось, что становится теплее если не телу, то хотя бы на душе. Потом я перешел в здание аэропорта. Несколько офицеров сидели с баночками «sip» — газированного апельсинового напитка — в руках и смотрели телевизор.

Пастор Шлаг деловито примерял лыжи. Потом Штирлиц долго плутал по Берлину. Завыла сирена, и люди побежали в бомбубежище. Потом заработала артиллерия. Но не под Берлином, а севернее Кундуза. Минут через пятнадцать, когда Штирлиц опять был на грани провала, послышался рокот садившихся «пчелок».

Пяндж — маленький таджикский городок, расположившийся в трехстах метрах от границы на советской стороне. В трехстах метрах от войны.

Никогда в жизни мне не доводилось видеть такой границы. Я имею в виду не столько линию, обозначающую пределы государственной территории, сколько границу во времени, границу между двумя укладами жизни, двумя философиями. Между миром и войной. Она тем более разительна, если учесть, что по разные ее стороны оказались люди единой национальности — таджики. Но одни живут в 1987 году, а другие в — 1366-м (мусульманский календарь) при феодальном строе с родо-племенными пережитками, если по-научному. И не нужна тебе никакая машина времени: просто сядь в Ми-8 и попроси пилота подбросить тебя из Кундуза до Пянджа. Вот и все. Вертолет моментально перенесет тебя из одной системы координат в другую.

В трехстах метрах от Пянджа, точно морской прибой, грохочет война. Она слышна и ночью, и днем.

Однажды случилось непредвиденное: она перекатила через границу и унесла с собой из городка, утопающего в море теплых хлопковых полей, двадцатипятилетнюю жизнь.

Ортабулаки начал обстреливать Пяндж эрэсами восьмого марта в 22.55. Но еще за пять минут до этого Зайнидин Норов, весе-

лый двадцатипятилетний парень с челкой жестких черных волос, сидел в своей комнате.

— Сидел и разглядывал журнал. Потом он его отбросил на кровать. Я так думаю, — рассказывал мне брат Зайнидина, — потому что это был очень скучный журнал. Улыбка не сходила с губ Зайнидина: весь вечер он гулял по городу с Гульчехрой, своей невестой. Они собирались пожениться в мае...

Грохот сотряс дом до основания. Зайнидин выбежал на улицу. В ту же секунду он почувствовал сильный удар сзади промеж лопаток и стал медленно валиться. Его легкое, поджарое тело ударилось о землю. Он обнял ее ослабевшими руками и прижался щекой, словно хотел услышать слова последнего напутствия.

Это произошло беззвездной весенней ночью восьмого марта в маленьком таджикском городке Пяндж, утопающем в море теплых хлопковых полей.

— Знаете, он скончался прямо на улице, — сказал мне отец Зайнидина, — без мучений.

А потом вдруг задал самый печальный в мире вопрос, который так часто слышишь на войне: «Только не могу понять: почему именно его?» Вопрос, на который никто никогда не даст ответа.

Сквозь окно видна худенькая фигурка матери: плечи ее судорожно вздрагивают, но из глаз уже не льются слезы. Она стала старухой в одну ночь. Холдона Норова не смотрит на меня, ведь я пришел «оттуда», откуда в этот дом пришла смерть. Я чувствую свою безмерную вину перед ней, и мне это не кажется странным. Я избегаю этих глаз, как избегаю глаз Гульчехры. Кто она теперь — невенчанная вдова?

Вертолет уносит меня обратно — «туда». Тень его скользит за нами следом по рыжим топам. Утки шарахаются в стороны. Мы первыми пересекаем границу. Мы уже «здесь», и наша тень еще там. Я гляжу на вертолетчика, мчащего меня на юго-восток. Он похож на пловца, сделавшего глубокий вдох перед тем, как нырнуть в ледяную воду. Я помню каждую минуту из трех часов без войны...

— Время здесь безразмерно, как синтетические гонконгские майки, сам увидишь, — сказал подполковник Владыкин, встретивший меня на аэродроме. — Иногда оно сжимается, и не успевает сознание зафиксировать начало одной недели, как ей на сме-ну несется другая. А порой один день имеет такой же объем,

как... — он оглянулся вокруг, словно подыскивая сравнение, — как жизнь.

И если учесть, что при помощи вертолетов ты за день успеваешь побывать в нескольких пунктах, удаленных друг от друга на сотни километров, близко сойтись с десятком незнакомых людей, которые почему-то говорили тебе все или почти все, да так, что их жизни становились частью твоей жизни, твоего опыта и ты начинал вместе с ними любить их друзей, детей, даже жен и ненавидеть все то, что ненавидели они, — так вот, если подумать обо всем этом, сразу же согласишься с Владыкиным:

— Верно, верно, Юрий Иванович, «как синтетические гонконгские майки». Да вам писать надо! А вы, случаем, промеж боевых вылетов не балуетесь, а?

— Балуюсь. Иногда, — отвечал он. — Вот сколько бумаги измарал.

Он протянул мне толстую тетрадь в клеточку за 48 копеек, испанную прямым, аккуратным, по-военному четким почерком. Глянув в нее, я подумал, что вот и он сам, должно быть, такой же прямой, аккуратный и четкий человек.

— Почитаешь, когда вспомнится Афганистан или московские докуки одолеют.

— А не жалко? — спросил я.

— Жалко умирать, а это... — Он махнул рукой, больше при- выкшей к ручке управления вертолетом, чем к карандашу, кото- рым были исписаны листки тетради.

Обнявшись, мы простились. Я посмотрел ему вслед. Он бежал сбоку от ВПП, на ходу натягивая свой потрепанный ЗШ, и вскоре исчез за дверцей вертолета, понуро свесившего к земле лопасти винта...

Без вертолетов репортеру в Афганистане не обойтись. Они делают тебя прямо-таки вертолетоманом. Здесь ты привыкаешь к ним, как в Москве к такси, не хватает лишь шашечек на дверцах.

Но еще больше, чем летать на вертолетах, тебе приходится ждать попутного борта, голосуя на жарких аэродромах у самой ВПП, колеблющейся вместе с горячим воздухом. После серии отказов и томительного сидения под спящим солнцем возникает какое-то полуреальное ощущение, что просто-напросто просишь подбросить тебя до Арбата, а слышишь неумолимое: «Я в парк — не видишь?»

Вертолеты — это современная кавалерия войны. Они садились на крохотные площадки между отвесных круч, высаживали десант, взмывали в поднебесье из мрака бездны, забирая раненых. Они чуть ли не влетали в пещеры и дувалы, откуда били пулеметы. Вертолеты вереницами и целыми стаями пронеслись по дну ущелий, настолько узких, что от кончиков лопастей до скал по обе стороны оставалось не более трех метров. И тогда все пересыхало внутри тебя, потом что ты знал: стоит винту краешком коснуться камней, как он разлетится вдребезги.

Вертолетчики, пролетавшие здесь хотя бы с месяц, демонстрировали под грохот «духовских» минометов и ПЗРК все чудеса высшего пилотажа, начиная от боевого форсированного разворота на «горке», пикирования под углом в тридцать градусов, когда ты разом охватываешь взором землю от горизонта до горизонта, и кончая кабрированием, а это уже с элементами самолетного пилотажа. Они вытворяли в небе, рвавшимся на части от разрывов, все, кроме «бочки», что вертолету не дано сделать даже теоретически, и «мертвой петли», несколько раз исполненной западными немцами и американцами. Но это цирк, а я — про войну.

Когда летишь на вертолете, разговаривать невозможно — только орешь. Но от этого быстро устаешь и, чтобы не терять времени даром и всасывать хоть какую-то информацию, начинаешь читать заводские штампованные надписи на стенках. Или то, что нацарапали десантники, а это, как ни крути, уже солдатская литература. На одном сиденье я прочел: «Не переживай, всякое бывает. Пусть переживает тот, кто забыл тебя. Не грусти о прошлом. Просто верь в себя». А на другом: «Не суетись!»

Звучало как приказ.

Когда-нибудь Афганистан даст своих Симонова, Быкова или Бакланова. Но пока это они пробуют свои перья на сиденьях вертолетов. Романы — впереди.

Вертолеты пролетали в нескольких метрах над головой, вдавливая тебя вселенским грохотом двигателей в дно эспэсов, а следом по лицам солдат пронеслись их призрачные тени. Они появлялись из тьмы, что простиралась позади, и проваливались за горизонт, оставляя лишь дрожь в скалах да зуд в плотно прижатой к земле груди.

В прошлом году, я помню, вертолеты ходили на предельной высоте, но теперь, с появлением «Стингеров», они спустились с шести тысяч (приблизительный потолок для Ми-8) и носятся в пяти метрах от земли со скоростью 250 километров в час, прясая

в складках местности и между сопками, облетая кишлаки за три километра (дальность прицельной стрельбы из пулемета) и пугая отары овец.

Летать на предельно малых высотах в чем-то безопаснее, а в чем-то и нет: вдруг шасси заденет высоковольтку или ветку дерева, и тогда весь тот боекомплект комплексов, которые ты тащишь на себе с детства, пополнится еще одним — «вертолетным»...

...Жара под Джелалабадом стояла адская. Владыкин давно улетел, а я все сидел на аэродроме в ожидании «уазика» из отряда десантников.

Неподалеку от меня в теничке эвкалипта приютилась маленькая серая обезьянка с розовой любознательной мордочкой. Это Кеша. Я помню его (или ее?) еще по прошлой командировке. Кеша указательным пальцем оттянул ошейник от кадыка, чтобы не давило. Когда-то он воевал на стороне «духов», но попал в плен к нашим вертолетчикам, судя по всему, перевоспитался и сейчас вполне лоялен. По крайней мере, я от него никаких диверсий не жду. Кроме, быть может, того, что он в очередной раз справит нужду у меня на коленях. А так у нас с ним — полное примирение. Глядя на Кешу, я вспомнил попугая Василанте на КП командира батальона 60-41 в Третьей военной зоне Никарагуа под Хинотегой. Василанте оказался у сандинистов тоже после того, как провел порядочно времени в банде «контрас». Потому комбат Энрике Эспиноса и дал ему соответствующую кличку.

«Уазик» подскочил неожиданно, прямо по ВПП, и через минуту мы уже гнали на запад. Слева и справа мелькали алые пятна маков, безобидных на вид, но таящих в себе наркотический призрак, который после долгих мытарств по белу свету обретет наконец плоть в виде блеклого порошка, чтобы опять превратиться в галлюцинацию наркомана где-нибудь на двенадцатой стрит Манхэттена. Не захочешь, а поверишь, что и цветы имеют душу. «Переселением» маковых «душ» из Афганистана в другие страны занимаются как коррумпированные представители властей, так и оппозиция, для которой наркотики — один из крупных финансовых источников, позволяющих закупать современнейшее оружие. Так что житель двенадцатой стрит Нью-Йорка лишь временное пристанище для призрака этого очаровательного цветка на длительном пути его бесконечных трансформаций из наркотика в «Стингер» или «Рэд ай». А так — цветок себе как цветок, даже в голову не придет, что он может сбить вон тот Ми-8, что завис над городом.

Среди маковых полей бегают нагишом ребятишки. Но вот один из них провел по телу рукой, и на ладони уже горсточка пыльцы. Той самой... Бачата скатывают ее в темные липковатые шарики и предлагают их вам за пару сотен афгани. «Командор, кайф!» — кричат они призывно.

На обочине стоит верблюд. Он надменно смотрит на вас сверху вниз. Правда, у него глаза мудреца, а мудрецам прощается все. Или почти все.

Какая же связь между верблюдом и маковыми полями? Прямая. Километра за два-три до границы торговец положит с десяток пакетиков с белым порошком верблюду на язык, и тот проглотит их, не пережевывая. А минут через сорок, когда граница останется позади, животное отрыгнет их, и пакетики опять окажутся в сумке мирного странника. Вот о чем думаешь, глядя во влажные фиолетовые глаза этого мудреца с горбом, в которых земля и небо поменялись местами.

Яростно устремленные в небо пышные кроны джелалабадских деревьев походят на застывшие взрывы — красные, белые, зеленые. Наридж здесь уже зацвел, и потому город утопает в его пряном аромате. побыстрее проскакивает эвкалиптовую рощу, которую наши еще давно окрестили «соловьинной». По вечерам здесь поют пули на «смертельный» мотив — заслушаешься. Они прямо-таки заливаются потусторонними трелями. Музыка, так сказать, Запределья.

Зимняя резиденция бывшего короля — вся в сиреновом цвету. В самом дворце — обилие мрамора. Стены, колонны, полы. Даже многочисленные туалетные комнаты отделаны этим камнем. Унитаз смахивает на постамент для еще не изваянной скульптуры. Мрамор всегда напоминает мне музеи. Музеи — кладбища, особенно католические. В резиденции сейчас никто не живет. Кроме того, взрывом почтового здания Джелалабада, произведенным недавно партизанами, выбило во дворце окна. От этого он еще больше помрачнел. Однако уже два года мэрствующий в городе Гулям Саид начал ремонтировать бывшую резиденцию. Кто поселится в ней — король?

Вот гостиница, которую только что восстановили из руин. Она предназначена для беженцев, идущих из Пакистана. Ее охраняет паренек лет четырнадцати — стоит во дворе с автоматом через плечо. Зовут его Матеолла. До армии он водил моторикушу — одну из тех, что, как муравьи, снуют по Джелалабаду. Но детство здесь кончается быстро, если, конечно, ежедневный, от рассвета и до заката труд маленького рикши можно назвать детством. Оттуда,

из детства, здесь вступают не в отрочество, а в войну. Я пожелал Матеолле добра. Но про себя подумал: «Бог с ним — с добром. Пусть тебя хотя бы не убьют. Нельзя же воевать с детьми».

У гостиницы стояла женщина в чадре и с ребенком на руках. Ребенок умер по дороге из Пакистана два дня назад, но она по-прежнему никому не отдавала мальчика. Тельце его одеревенело, став синим. И это было самое страшное из того, что я видел до сих пор в Афганистане...

В офицерской столовой светло, и меня потянуло на этот свет из сырой джелалабадской тьмы. Люди готовились к отбою, но мне спать не хотелось. Я вошел внутрь, не спеша снял промокшую «пакистанку» цвета хаки, от дождя ставшую черной, сел за белевший чистой скатертью столик в углу и стал потирать озябшие руки.

— Чего-нибудь горячего? — спросила меня появившаяся в дверях женщина средних лет и, не дожидаясь ответа, налила в стакан горячий рубиновый чай.

Она опять скрылась на кухне, но вскоре вернулась с тарелкой битков с гречкой.

— Вот. Проголодались, наверное... Вы проверяющий? Из Ташкента?

— Журналист.

Чего-то недоставало тонким, правильным чертам ее красивого русского лица. То ли время их слегка размыло. То ли творец, когда писал ее портрет, забыл сделать два последних, завершающих мазка.

— Как вас звать — может, я читала?

Я назвался.

— А меня Ольгой Семеновной. Олей.

В дверях показалась вторая официантка. Губы ее были плотно сжаты, точно она держала ими булавку. Она исчезла так же незаметно, как и появилась.

— Никогда не пил такой вкусный чай, — солгал я.

— Вы все, что ли, с этого начинаете?

— Послушайте, какого черта такая женщина, как вы, делаете в таком дрянном месте, как это? Вам что — Союза мало?

— У меня сын. Его призвали, и он должен был ехать в Афганистан. Я пошла в военкомат проситься туда же. Чтобы с ним в одной части быть. Но случилось так, что его отправили служить в Кишинев, а я вот оказалась здесь. Смешно?

— Да уж. Смешнее некуда.
Я отодвинул пустую тарелку.
— Битки — «смерть «духам»! Нет, я серьезно, очень вкусно.
— Это хорошо, если вкусно, — она скользнула глазами по едва различимой в темноте линии горизонта.
— Вы давно здесь? — спросил я.
— Порядочно.
— Трудно приходится?
Она рассмеялась.
— Первые семьдесят лет трудно, потом — легче.
— Это точно. А если серьезно?
— А если серьезно, то очень тяжело. Ведь поначалу никакого комфорта не было. Это сейчас у всех у нас кондиционеры поставили, холодильники, а тогда... — Она села за стол и зажала ладонями щеки. — Тогда снарядные ящики разбивали и из досок делали себе кровати, этажерки. За день, бывало, так намаешься — ноги подкашиваются.
— Скажите, Оля, если, конечно, это не секрет, как ваша жизнь до Афганистана складывалась?
Она улыбнулась невесело, лишь губами.
— Не секрет, но давайте лучше об этом не будем. Как-нибудь в другой раз. — Легким поворотом головы Оля откинула назад медового цвета волосы. — Я вам только скажу, что от счастья сюда никто не приезжает. Увы, мы счастья не ищем и не от счастья бежим. По-разному тут все у людей складывается. Одна девочка, делопроизводитель, с офицером — большим таким дяденькой — встречалась. Потом поехали они в Кабул в консульский отдел расписаться. А на обратном пути подорвались. Ее насмерть, а он ранен, остался жить. Вот так...
Оля о чем-то задумалась. О чем?
В окне появилась луна, похожая на покрытую плесенью дольку мандарина.
— Луна у вас тут не самая аппетитная, — сказал я.
— ... Или вот Вите Курнаусу исполнялось 25 лет. Тощий такой мальчик — ну прямо как велосипед. Попросил он меня стол накрыть двенадцатого числа, а сам ушел на «боевые». Приходит двенадцатое, я стол накрыла — сижу жду. Вечер уж, а его все нет. Побежала в его батальон. А мне говорят: «Иди к себе — Витя не придет». Сначала обиделась — не поняла, в чем дело. А потом дошло... Знаете, о смерти тут вам впрямую никто сразу не скажет.

Мы помолчали. Потом я спросил:

— А когда думаете домой возвращаться?

Она посмотрела на меня откуда-то издалека.

— Ох и пристал, ну тебя к Богу в рай!

— И все же: скоро или нет?

— Не очень. — Она встала из-за стола и, скрестив руки на груди, прошла враз-вперед по столовой.

— Вы в прошлом спортсменка?

— В очень далеком. — Она чуть улыбнулась.

— Это заметно.

— Заметно, что в очень далеком или что спортсменка?

Мы рассмеялись. В дверях опять появилась вторая официантка.

— Да, здоровье тут нужно. Ездила я недавно давать одному раненому кровь — у меня редкая группа. А мальчику было тяжело. Ногу ему ампутировали. Он бледный такой лежит. А мне улыбается. «Слушай, тетка! Езжай-ка ты долой отсюда. Не бабья это работа — кровь сдавать». Потом уж увидел, как я в дверях реву, шепнул, тихо так шепнул: «Спасибо вам». А я еще пуще в реву.

Она вернулась к столу. Руки у нее были красивые, ногти глянцевые, чуть розовые.

— А в Союзе, — вдруг улыбнулась она, посмотрев куда-то сквозь меня, — будем с однополчанами каждый год встречаться. В день ВДВ. Приезжайте и вы.

В офицерской гостинице все уже спят. В открытую дверь тихо заползает ночь. Лишь из одной комнаты доносится приглушенный разговор: там за поздним ужином сидят полковники Пешков и Старов. Они обговаривают детали завтрашнего выхода на засадные действия. Оба среднего роста, подтянуты. И тому, и другому — под пятьдесят. Если бы не морщинки и слегка тронутые сединой волосы, их запросто можно было бы принять за еще совсем молодых офицеров.

Евгений Алексеевич Пешков чуть покоренастей, голос хрипловат от беспрестанного курения злых, горло дерущих сигарет. И где он только такие достает — пачки-то обычные, явские. Он скуп в движениях. Такое впечатление, что все они до мелочей продуманы заранее, он лишь выполняет уже намеченный план.

У Старова мягкий голос, превращающийся перед строем солдат в раскатистый гром.

— Говорят, вы жесткий человек, Юрий Тимофеевич. Это правда? — обращаюсь я к Старову, чтобы раззадорить его.

Он смеется. Нет, конечно, он не жесткий человек. Но дисциплинированным, умеющим спрашивать с себя и других его назвать можно. Я говорю ему об этом.

— А иначе на войне нельзя. Доброта-то — она резинка растяжимая. Здесь она доброта, а вон там — уже зло. Грани четкой не проведешь.

Это точно. Здесь, в военных условиях, доброта часто оказывается, по меньшей мере, попустительством, а потому, в конечном счете, злом.

— В этом, если хочешь, — вступает в разговор Пешков, — вся логика войны.

— Или, — я все-таки решаюсь закурить его сигарету, — ее антилогика.

— Да, — соглашается Евгений Алексеевич, — выводить правила на войне — занятие бессмысленное. Тем более на этой, где ни фронта, ни тыла. «Воробьиная» она тут — вот какая. «Духи» у китайцев их древнюю тактику переняли.

Я вспомнил разговор двух моих близких московских друзей. Один мидовец, другой — военный, вернулся из Афганистана и учится в военной академии. Мидовец сказал: «Война ужасна — на войне убивают». Он в своей жизни и портянки не нюхал, не то что пороху, но порассуждать об Афганистане был горазд. Незадолго до этого он приехал из Женевы, где тогда шел очередной раунд афгано-пакистанских переговоров. «Во-первых, — ответил ему «афганец», — ты о войне помалкивай, а во-вторых, человек, выживший на фронте, тебе ответит, хотя ты этого и не поймешь, что война милостива: она шадит больше людей, чем убивает. И на том ей уже спасибо».

И я рассказал об этом разговоре двух совершенно разных людей Старову и Пешкову.

— Или все эти красивые фразы о войне, — Старов расстегнул воротничок, — типа «в одну и ту же воронку снаряд не попадает дважды». Попадает — и дважды, и трижды... Уж коль «дух» очень захочет, попадет и десять раз подряд. Если банда ведет бой, а снарядов осталось мало, то за два неточных выстрела главарь просто-напросто убивает гранатометчика.

И, деловито кивнув какой-то своей мысли, Старов резко встает из-за стола.

— Мне пора.

Мы остаемся с Пешковым вдвоем...

Успех засадных действий в Афганистане, как, пожалуй, никаких других, в столь значительной мере зависит от воли случая, что изначально я решил настроиться на неудачу — еще один безнадежный способ перехитрить судьбу. Но что такое удача? Подловить «духов» и вступить с ними в ночной бой, когда не сразу определишь, кто в кого стреляет, а тем более кто выйдет из него победителем? Или вхолостую прощелкать от холода челюстями (и, быть может, лишь раз — затвором) всю засаду напролет, но уйти без единой царапинки, пристрелив разве что скорпиона? Большинство с удачей связывают первый вариант. Второй лишь раздражает своей бессмысленностью. Думая об этом, я вспомнил вчерашний разговор с Пешковым и Старовым об антилогике войны.

Раннее утро обещало испепеляющую жару днем, и каждый из тех, кому предстояло сегодня вечером идти в засаду, жадно, каждой клеточкой тела впитывал уже растворяющуюся в лучах рыжего солнца рассветную прохладу. Мы выстроились на плацу, по которому ветер гонял пыль и пустые зеленые баночки из-под сухпайковского сока, застыв, как стая гончих перед криком «а-ату-у!».

Нам предстояло пробежать с полной боевой выкладкой шесть километров вокруг расположения батальона.

Пот полился градом уже на второй сотне метров — месть организма за безалаберную московскую жизнь. Из боязни мин и возможного обстрела со стороны «зеленки» дорогу перекрыли несколько боевых машин пехоты на километровом отрезке, заранее проверенном саперами.

Битком набитый рюкзак остервенело бьется о взмыленную спину, фляга трепыхается на боку. «Калашников» норовит ствол выбить зуб.

Наконец пятьдесят десантников, включая одного репортера, покрывают шесть тысяч метров за тридцать две минуты с секундами.

Подготовка к выходу на засаду начинается сразу же после завтрака: экипировка, получение боеприпасов и средств связи, чистка оружия. Каждый из нас потащит на себе сегодня ночью до шестидесяти килограммов: патроны для автомата, бронежилет (а попросту — бронетюфяк), спальник, ватный бушлат, боекомплект для гранатомета, дополнительная пулеметная лента, сухпак, автомат, две фляги с водой, нагрудник с шестью магазинами, осветительные и сигнальные ракеты, пирофакел... Всего не перечесть, но уложить надо.

Что-то случилось с погодой: дождь и ветер за окном каптерки чередуются так быстро, как меняется настроение у неврастеника.

Запихиваю перевязочный пакет в железный приклад автомата и обматываю его резиновым жгутом. Ампулу с промедолом и три батарейки для бинокля ночного видения засовываю в рюкзак.

За время, проведенное в Афганистане, моя экипировка стала невообразимо пестрой и теперь представляет собой интернациональную смесь. На трофейном «духовском» рюкзаке — штамп «ЮС Арми». Спальный мешок на гагачьем пуху — английский. Инструкция внутри гласит, что «спальник предназначен для британских солдат, воюющих в арктических условиях». Сшит он в 1949 году. Какой солдат таскал его на своем хребте 38 лет назад и где сейчас гниют его кости? Термосу не повезло — он безродный, на нем нет вообще никакого штампа. Но лично для меня он навсегда останется южнобагланским. Я долго выковыривал из полости вокруг его колбы черный пластик, и вот теперь термос исправно держит любую жидкость, но, правда, не температуру. Ничего, сойдет и как фляга. Ну, а куртка цвета хаки на толстом искусственном меху — дело рук Пакистана. Потому она так и зовется — «пакистанка». В поход берется то, что максимально удобно и легковесно. Поэтому все пятьдесят десантников в кроссовках кимрской обувной фабрики, которые солдат зовет попросту «кимры». Они дадут фору любым самым прочным «адидасам», неизбежно разваливающимся после первой же сотни километров по каменистой пустыне или горной тропе. Уж не знаю, что считают по этому поводу наши отечественные военные легкопромышленники, «заботящиеся» об обмундировании советских солдат, но, что думают об их продукции сами солдаты, вынужденные за личные деньги (24 рубля с копейками) покупать «кимры» в военторговском магазине, я знаю. Так что в классических голубых беретах и до сияния начищенных сапогах десантники воюют лишь в кино.

В каптерке тихо и темно. За окном по-прежнему сражаются ветер с дождем. Солнце мастерски маскируется за тучей. Входит Владик Джаббаров, мурлыча одну и ту же фразу: «Умом ты можешь не блистать, но сапогом блистать обязан... Там-парам-пам, там-парам-пам...»

— Верно пою? — обращается он к Сане Скляру, дремлющему на верху двухэтажной койки. — И ты, Брут, спишь...

Джаббаров достает из коробки патроны и начинает их рас­пи­хивать по магазинам. Мимо окна проходит патлатый малый с рыжей бородой.

— Не беспокойтесь, — успокаивает меня Владик, — это элект­рик. Они гражданские.

Впрочем, на местном солдатском жаргоне Скляр и Джаббаров тоже «граждане», только в другом смысле — скоро им заме­няться.

Скляр спит крепко, но время от времени начинает во сне что­то яростно доказывать. Он делает это так убедительно, что тому, с кем он сейчас спорит во сне, хочется сказать: «Не перечь, Скляр знает, что говорит».

Впрочем, отдыхают все пятьдесят ребят, которым ночью пред­стоит 20-километровый марш по пустыне и засада. Потому эти полтора часа, выделенные Старовым для сна, стараешься исполь­зовать максимально в журналистских целях: ночью уже не пого­воришь.

По-разному рассказывает про себя солдат. Один длинно и об­стоятельно, и ты лишь поспеваешь переворачивать листки в блок­ноте. Другой излагает все пережитое скупым армейским языком, почти по-уставному. Третий ограничится коротким словцом либо жестом, но столь емким, что стоит полуторачасовой изматываю­щей беседы. А иные рассказывают так ярко, что ты невольно становишься одним из действующих лиц повествования.

Мне встречались солдаты, умевшие импрессионистски точно передавать все оттенки своих ощущений. Но бывали и такие, ко­торые выкладывали тебе голую информацию, добавляя: «Эмоции добавишь сам». А вертолетчик Владыкин просто-напросто пода­рил мне свой дневник.

Все отпущенные полтора часа мы проговорили с Джаббаровым и проснувшимся Скляром под слишком тяжелый рок, выры­вавшийся из модного «Шарпа», что стоял на полке среди личных вещей ребят. Мне всегда казалось, что рок и война — понятия из совершенно разных вселенных. Но в этой маленькой каптерке, как и в десятках других, разбросанных по афганской земле, они поразительным образом уживаются.

Пройдет месяц, и «граждане» Джаббаров и Скляр «дембиль­нутся». И тогда на долгие годы самой близкой душе музыкой для них станет та, которую здесь они слушают редко — песни «Кас­када» и «Голубых беретов», — про Афганистан, про боевое брат­ство, про любовь. Про войну.

На войне про войну плохо слушается.

— Рок и война? Не вижу в этом ничего не совместимого, — усмехается молодой лейтенант Коля Зубков, вышедший с нами подышать. — Просто надо отключаться от стрельбы и взрывов, а рок может заглушить все. Но есть вещи, которые я никогда ни понять, ни принять не смогу. В прошлом году во время отпуска я оказался с женой в Ленинграде. Впервые. Идем, значит, глазами по сторонам. Из-за угла появляется миниатюрный паренек: топ, топ, топ... в общем, по Невскому шлепает такой, знаешь, расхлябанной трусцой. Белая рубашечка с воротничком на пуговицах. Галстук тонкий черный — селедкой, по-моему, называется.

Коля — под два метра ростом. Коротко остриженные черные волосы, уже тронутые легкой сединой. Почти аристократические черты: чуть сдавленного в висках смуглого лица. Тоненькие аккуратные усики, из-под которых в улыбке проглядывают ровные белые зубы. Классический офицер классической русской армии. Афганистан лишь надел на его тонкую крепкую переносицу непроглядно-черные очки — «капельки» в металлической оправе. Почесав затылок, он продолжал:

— Разминулись мы, а жена меня локтем в бок: «Коль, смотри — у него на галстучке свастика». Сама побледнела, не знает, что дальше делать. Я не поверил: в Питере свастика?! Делаю разворот на сто восемьдесят и обратно — за пареньком. Жена на руке повисла — не пушает, значит. «Подожди-ка», — говорю ей, а галстучек со свастикой на своей мизинец наматываю. Гляжу — и впрямь свастика. «Что же ты, сукин кот, делаешь?» — спрашиваю его. Меня поразило, что прохожие, пожилые в том числе, начали заступаться за парня. Я тогда к ним поворачиваюсь. «Вы чего? Или уже память отшибло — забыли, как они вас тут девятьсот дней голодом морили? А?» Но тут целая свора пацанов окружила нас с женой и как начали: «Афганцы» наших бьют! «Афганцы» наших бьют! Десантура высадилась!» Я в военной форме ВДВ с орденами — Знаменем и звездой, неловко на улице инцидент создавать. Пошли с женой дальше, но расстроился я жутко.

Мы делаем несколько шагов молча. Потом он говорит:

— Я долго обо всем этом думал. Проблема питерского паренка в том, что у него нет проблем. Вот и выдумывает он себе игрушки. Но игрушки — как мины-сюрпризы, что «духи» тут ставят: не знаешь, когда и где рванет. Эти ребяташки смотрят на нормальную жизнь как на каторгу. Но ведь каторга лишь там,

где удары кирки лишены смысла. Пусть бы таких сегодня ночью в засаду — мигом бы всю окалину содрало.

Мы возвращаемся в каптерку. «Шарп» теперь надрывается осипшим голосом Рода Стюарда.

— Одни люди всю свою жизнь, — Зубков садится на койку, чуть оттеснив Скляра, — проводят в поисках ее смысла. Другие с юности махнули на это гиблое дело рукой и решили воспринимать ее такой, какая она есть. Но здесь я пришел к одному очень любопытному заключению: в жизнь смысл надо привносить. Вот и все.

— Тут от твоих прежних установок и идей, — Скляр насухо вытирает умытое порозовевшее лицо, — после первых же «боевых» остаются одни ошметки. Соединить их опять во что-то целое уже нереально, как невозможно собрать воедино оторванные снарядом голову, ногу и туловище. Я, когда прощался в Союзе на вокзале с Элькой, сразу понял, что прощаюсь не только с ней, но и с собой. Тем собой, каким я уже больше никогда не смогу быть. — Он аккуратно положил в тумбочку мыло и зубную щетку. — Странные проводы получились: мы все провожали меня. Трансформация из «молодого» в «черпака»¹, а потом в «гражданина» очень точно, между прочим, передает основные этапы изменения солдатской психики. Это как несколько раз панцирь или кожу поменять. Но мне-то лично кажется, что у меня стал другим даже химический состав крови. Наверняка приеду домой, сделаю анализ, и он будет не таким, как два года назад.

Сегодняшняя засада — последняя в жизни Скляра и Джаббарова. У каждого из них десятки боевых выходов за плечами: налеты на караваны с оружием, десантирование с вертолетов и брони, засады... «Граждан» Старов не пускает на операции: если ты отслужил здесь два года, в последние двадцать — тридцать дней до «дембеля» тебя щадят, берегут. Ведь риск — как радиация. В какой-то момент его доза становится критической. Только вот в каких единицах измеряется уровень риска? Прибора для этого пока не изобрели.

И вот предстоит засада, отделяющая их от всей остальной жизни. Это как последние десять сантиметров, которые надо пройти по карнизу небоскреба: знаешь, что по сравнению с тем, что осталось позади, — сущий мизер. Но мизер, от которого зависит все.

¹ «Черпак» — солдат, отслуживший в армии полгода.

Впрочем, похоже, что это лишь я за них волнуюсь. Сами же они спокойны, как вон те горы, что видны из окна каптерки. Молчаливо продолжают упаковывать свои рюкзаки. А они у ребят саудовские — роскошные, легкие, вместительные. С обилием карманчиков на всяких там «молниях».

Для Славы Сорокина это тоже последний боевой выход. Ему осталось пятнадцать дней до «дембиля». Еще меньше, чем Джаббарову и Скляру, — не десять сантиметров, а пять. И вот он сидит, обняв за талию гитару, что-то мурлычет себе под нос.

— Вначале, — прерывает Сорокин свою песенку, — было тяжело оттого, что ничего не знал и не понимал. А теперь тяжело потому, что все знаешь, все понимаешь... Вот смотрю я на все эти горы вокруг. И пустыни. Много там сил оставлено: чувствуешь себя не столько повзрослевшим, сколько постаревшим. В самом конце прошлой засады все выдохлись, измокли и измерзли — я стрелял только для того, чтобы все это поскорее кончилось. Но и уезжать горько: и Афганистан, и жизнь здесь, и это не по-нашему низкое небо — все стало родным. Все течет уже тут... — И Сорокин проводит пальцем по вене левой руки.

Он опять медленно и нежно перебирает прохладные тонкие струны, как, должно быть, дотрагивался до волос той, чью карточку он мне только что показал. Здесь гитара — единственное, что солдат может обнять за два долгих-долгих года.

«...Так что ты, кукушка, погоди, — тихо, почти шепотом поет Слава, — мне дарить чужую долю чью-то...» Вечер превращает все цвета далеких гор в один — тускло-серый. Мелко дрожит земля, отдаваясь зудом в стопах: по дороге тянется, возвращаясь с «боевых», длинная колонна ревущих БМП соседней части. Пыль, которую она поднимает, медленно оседает на лицах солдат и листьях деревьев. Под рокот двигателей, словно под рев обезумевшей толпы, в ушах все еще хрипит голос Рода Стюарда. Мы долго смотрим из-под панам на машины, окутанные серо-рыжими клубами выхлопной гари, песка и пыли. Как они медленно проезжают, держа между собой четкий интервал метров в пятнадцать. Они едут след в след, и видно, как торчат из передних люков головы водителей. Лица их, отражая свет приборных щитков, фосфоресцируют в темноте. Лиц тех, что на броне, не разглядеть. Просто сторбленные черные силуэты да устремленные в небо тонкие прутики антенн. Антенны раскачиваются в разные стороны и хлещут по кронам деревьев, обдирая их. Колонна проходит, лязг и рокот смолкают за горой, а на дороге остаются лежать безжизненные листья эвкалиптов.

— Малыш, на месте? Давай, Малыш, трогай! — кричит в один из ларингов шлемофона Коля Жерелин, двадцатипятилетний старший лейтенант с лицом, коричневым от пыли и загара.

Малыш, чей юркий затылок виден в люке, нажимает где-то там, у себя внизу, на педаль, и наша БМП вместе с восемью другими выезжает на дорогу. Все пятьдесят десантников, оседлав броню, движутся в юго-восточном направлении по дороге на Пешавар. До границы с Пакистаном остается всего тридцать километров, но уже через пятнадцать мы спешимся и под ночным покровом уйдем резко на юг от дороги, вдоль линии Дюранда, с тем чтобы, преодолев двадцать километров, лечь в засаду близ кишлаков Сингир и Биру. По имеющимся сведениям, сегодня ночью там пройдет партизанская группа, которая завтра должна укрепиться в районе Джамали и обстрелять на рассвете наших вертолетчиков.

Вместе с нами в отряде афганец разведчик, поджарый человек лет сорока, с жесткой серой бородой и блестящими выпученными глазами. Сам он родом из кишлака Биру, все тамошние тропы и караванные пути знает как свои пять.

Переговариваясь по радио с капитаном Козловым, Жерелин похлопывает пушку БМП, как верного пса. Не видно ни зги, лишь два красных габаритных огня впереди ревущей БМП маячат метрах в пятнадцати от нас. Холодный сухой ветер с гор леденит лицо, обдаваемое в промежутках между его порывами прогоркло-горячими выхлопами машин. На небе слабо мерцает лишь пара-другая звезд, но стоит глянуть в ночной бинокль, как увидишь, что все оно светится многомиллионной звездной сыпью.

Навстречу нам несется афганский грузовик. Он враз окатывает колонну желтым светом фар. Жерелин чертыхается: «Мы и так гремим на пол-Афганистана, а тут нас еще и показать решили: глядите, «духи», советский десант едет на засаду!»

Минут через пять все БМП сворачивают с дороги на север, и сотни три-четыре метров мы трясемся по камням. Потом на ходу спешиваемся и, растянувшись в длинную цепочку, поворачиваем в обратную сторону, идем на юг по высохшему руслу реки. Броня продолжает реветь за спиной, имитируя наше выдвижение в северном направлении.

Согнувшись в три погиба, мы быстрым рывком перебегаем ту самую дорогу, по которой еще недавно с таким комфортом катили на броне.

Небо очистилось от облаков, и при свете луны каждый камешек в степи блестит, точно обтянутый фольгой, норовя впиться в подошву «кимр». Километра через три камней становится все меньше, и вот уже мы бредем, по щиколотку утопая в еще теплом песке. Он покрывает землю от горизонта до горизонта, и пустыня напоминает гигантский солнечный ожог.

Пот льется из-под каски, которую мне дали для страховки. Наконец короткий привал. Все садятся, откидываясь на рюкзаки и вытягивая ноги. Санинструктор Сан Саныч усаживается по-турецки, снимает панаму, и его бритый череп серебрится от пота.

— А ночь сегодня, братцы, лунявая-лунявая, — говорит он, сильно запрокинув голову и приоткрыв рот, словно для полоскания, — и мы с вами как на ладони.

Именно поэтому головной дозор продолжает путь, пока отряд отдыхает.

Пустыня все еще отдает накопленное за день тепло, и потому чувствуешь себя если не как в бане, то как в предбаннике — точно. К флягам никто не прикасается, хотя пить хочется до сипа в глотке. Хотя бы смочить пересохший рот с хрустящим на зубах песком. Но даже этого пока нельзя: никто не знает, как пойдут дела и сколько придется торчать в засаде. С каждой минутой цена воды растет. А через полчаса будешь смотреть на флягу как на самую дорогую вещь. Все потеряет смысл, кроме влаги. Попадись сейчас лужа верблюжьей мочи, выпил бы. Впрочем, это действительно можно сделать: у каждого десантника в рюкзаке есть трубка с пористым углем и обилием разных фильтров. Важно только после этого не превратиться в верблюда по печальной аналогии с братцем Иванушкой.

Подъем. Отрываешься от земли, точно тебя к ней приклеили. Мы опять идем. Как иноки. Способности человека к мимикрии не снились и хамелеону. Здесь ты превращаешься в песчинку, в горах будешь камнем.

Луна мерит шагами небосвод. Она идет вместе с нами, освещая петливый путь меж сопок и кишлаков. Луна над тобой, а сразу позади вместо тени тащится усталость, иногда нагоняя, иногда отставая. Она, жажда и песок становятся единым целым, называемым коротким изматывающим словом — пустыня. С первого взгляда она безжизненна и молчалива, но на самом деле пронизана присутствием человека. Правда, скрытым, едва уловимым. Об этом напомним вдруг подувший ветер с кислорелыми запахами притаившегося неподалеку кишлака. Или приглу-

шенный лай собаки. Либо вой и пара светящихся глаз шакала, шарящего в поисках пищи близ какого-нибудь селеньца.

В сотрясаемой от ходьбы голове перемешиваются мелкие осколки мыслей и воспоминаний. Воспаленный от жажды и жары мозг, перескакивая с одного на другое, не может сосредоточиться на чем-то конкретном. Во рту ржавый металлический привкус, носоглотка забита запахом тяжелой крови, как после быстрого бега на длинную дистанцию.

Замечаешь, как далеко впереди, в горах, движутся пунктиром навстречу друг другу красные и желтые огоньки. Сначала думаешь, пока на это способен, что где-то там пролегло шоссе и по нему мчатся машины. Потом понимаешь: абсурд, не может быть. На самом деле все проще. Две «духовские» банды ведут ожесточенный ночной бой, но из-за расстояния выстрелов не слышно. Замечаешь сполохи света. Зарница? Нет. Гранатометы. Тысячи трассеров оставляют за собой вытянутые нитеобразные следы, похоже на косые длинные струи кровавого дождя.

Впереди меня топают Джаббаров. Он ломает галету и пускает несколько кусков назад по цепочке. Вот один доходит до меня. Десант хрустит галетами на всю пустыню: ночь сухая, звонкая — любой звук разлетается на километры окрест. Стараюсь не грызть, а давить галетину зубами.

Джаббаров несет свой рюкзак легко и непринужденно, ну прямо как в турпоходе. В еженедельных многокилометровых переходах натренированы его воля и ноги. Кроме того, он кандидат в мастера по велоспорту. До армии гонял на своем дюралюминиевом «Старт-шоссе» в Свердловске. С тренером до сих пор перебрасывается коротенькими открытками. «Давай, Владик, — написал тот в последней, — дави на педали: осталось чуть-чуть».

Постепенно налаживается второе дыхание и мысли встраиваются в более или менее стройную цепь. Не такую стройную, конечно, какой топаем по степи мы, но все-таки...

Из-за спины доносится ритмичное дыхание Скляра: вдох-выдох, вдох-выдох...

Опять чую носом безмолвный кишлак. Все встречающиеся на нашем пути селения мы обходим с подветренной стороны. Иначе собаки, унюхав «иноверцев», поднимут лай. Идем мы, ориентируясь исключительно по компасу. У нас, правда, есть и карты-«пятдесятки», но они нужны здесь не более чем пассатижи в бане: пустыня лишена ориентиров, как и воды. Зато обилие верблюжьей колючки. Остается пожалеть, что ты не верблюдо. Да,

верблюду хорошо — у него, должно быть, целый горб воды. А то и два...

Мысли опять начинают плясать. Преимущественно вокруг чего-нибудь жидкого. Терпеть жажду дальше равносильно самоубийству. Достая из-за пазухи флягу и делаю глоток. Кажется, вода сейчас зашипит на раскаленных зубах. Она действительно куда-то испаряется, так и не успев попасть в брюхо. Или ее впитали в себя пыль и песок, забившие мне рот и ноздри? Лишь второй глоток достигает места назначения. Я пью из фляги, сильно запрокинув назад голову, и вижу на небе, прямо над головой, Волосы Вероники, а чуть дальше семь других звезд. Вон Мицар, а рядом едва тлеет Алькор. Это Большой ковш. Ковш, которым можно черпать воду. Много воды. Если хочется пить, что тебе ни покажи, мозг все равно свяжет с водой. Теперь я на собственном опыте познал, что помимо всех видов и подвидов свобод, которые придумал себе человек, есть еще и такая — свобода пить воду. Ради нее ты совершенно искренне готов отказаться от всех прочих абстрактных свобод — дайте лишь волю напиться, и больше ничего мне не надо! Как, должно быть, легко строить демократию в пустыне, прямо на песке: завози пару раз в месяц сюда воду — и все. Больше ничего не требуется.

Банды в горах с хрустящими названиями по-прежнему ведут бой. Но мы прошли километров семнадцать, а если учесть, что приходилось все время петлять, тогда и все двадцать — двадцать три. Поэтому стрельба и взрывы хоть приглушенно, но уже слышны. Луна теперь такая яркая, что видно, как по пустыне ползут тени от облаков. Беспорядочно кружатся мотыльки.

Короткий отдых. Все пятьдесят мгновенно садятся. На языке санинструктора Сан Саныча это называется «принять лунявую ванну». Пять-шесть человек отходят в сторону по нужде и стоят, как изваяния. Через три минуты мы опять на ногах, опять идем. Точно так же солдат ходил и три тысячи лет тому назад. С той лишь разницей, что вместо автомата у него в руках был меч или копье. Похоже, минует еще столько же времени, но основным транспортом солдата по-прежнему останутся его две ноги: когда-то в сандалиях, потом в сапогах, а теперь вот в кроссовках. Что придет на смену им?

Появились сопки. Вон их подковообразная цепь. Мы взбираемся, занимая все господствующие вершины. Тут принцип такой: кто залез выше, тот и победил. Сразу же начинаем строить бойницы. Камней почти нет, поэтому приходится бегать вниз, к «зе-

ленке»: там, в русле иссохшей речки, их миллиарды. На каждую бойницу, или, по-военному, стационарный пункт для стрельбы (СПС), уходит по 25—30 массивных булыжников-валунов. Соседняя сопка на «пятидесятке» обозначена цифрой «642». Там располагается левый фланг группы прикрытия. На сопке «685» — ее правый фланг. Мы посередине. Капитан Козлов со своей группой прочесывает «зеленку» внизу. Движение банды предполагается именно по пересохшему руслу реки Хвар, отделяющей сопки от растительности. В ночной бинокль можно разглядеть несколько «духовских» бойниц для стрельбы, но к ним лучше не подходить: обычно они заминированы.

Дно нашего эспэса мы с Джаббаровым устилаем плащ-палатками: к часу ночи земля уже остыла, да и вообще становится все холодной. Мы ложимся и укрепляем в бойнице автоматы. Рюкзак теперь можно сбросить со спины. Он на четверть промок от пота и стал еще тяжелей. В соседнем эспэсе обосновался Жерелин с радистом. Он держит связь с Козловым.

— «Диспут», «Диспут», я «Комета», как слышишь, прием... — Жерелин говорит тихим, но четким голосом.

Подул с гор ветер, и теперь уже по-настоящему холодно. Промокшая куртка затвердевает, и поверх приходится натягивать «пакистанку». Впрочем, она мало помогает. Каска, которую на меня надели еще в батальоне, теперь трясется, точно шлем шахтера, работающего отбойным пневматическим молотком. Я снимаю ее, чтобы эта кастрюля своим дробным лязгом не выдала засаду. Спасает бронетюфяк: за время перехода по пустыне его титановые пластины прогрелись и теперь чувствуешь себя в нем, как в остывающем термосе.

От резкого перепада температур горло начинает слегка першить. Теперь помимо свободы пить у меня отнимают еще одну — свободу кашлянуть. Это запрещено пуще первого. Какая-то сплошная диктатура.

Говорить тоже нельзя: общаемся жестами и шепотом. Курение воспрещено строжайше: даже если ты ладонями прикроешь огонек, «дух» все равно увидит его слабое сияние сквозь руки через прибор ночного видения. Впрочем, повстанцы обходятся иногда и без биноклей. У нас-то их семь штук на группу. Один болтается на моей шее. Он дарит способность если не к яснослышанию, то уж к ясновидению — точно. И хотя батарейки еще не успели сесть, способность эту надо использовать экономно. И все же я гляжу в него ежеминутно — таков приказ Жерелина. Надо на-

блюдают за руслом внизу. Бинобль окрашивает все окрест в светло-зеленый цвет: зеленая луна, зеленое лицо Склера, зеленый кишлак вдали. Линзы дают мощное увеличение — видны две человеческие фигурки на одной из его улочек. Я говорю об этом Джаббарову.

— Там склад с боеприпасами той банды, что сейчас к нам направляется. «Духи» заночуют в кишлаке, днем превратятся в местных крестьян, а завтрашней ночью потопают на диверсию. Днем эти кишлаки — наши, а ночью — их. В этом вся штука. Там уже знают... — Владик махнул в ту сторону, где виднелись зеленые фигурки, и не подозревавшие, что на расстоянии в четыре километра сквозь толщу непроглядной тьмы за ними пристально наблюдают две пары глаз — джаббаровских и моих.

— Что знают? — шепотом спросил я.

— Знают, что банда идет, и ждут ее, — прохрипел Владик.

...Потом вдруг стихли все звуки — исчезли вообще. Словно кто-то повернул до нулевой отметки регулятор громкости. Так бывает, когда скрипач уже оторвал смычок от струн, а в зале еще одно мгновение парит, иссякая, звук. Некая звенящая нота, меркнущая уже не вне, а внутри тебя, — слабый отзвук отгромыхавшего и отлязгавшего гусеницами дня.

Казалось, война на время забыла про наш отряд.

Но ты лежишь и кожей чувствуешь, что тишина столь же обманчива, сколь твои предчувствия. Ты знаешь, что на тебя движется еще пока не слышимая банда, час назад вышедшая из кровопролитного боя в горах. Что другие душманские отряды, малые и большие, притаились в таких же засадах, как эта. А иные минируют подступы к укрепрайонам или горные тропы. И ты ощущаешь себя в чертовой карусели, когда думаешь, что гонишься за тем, кто впереди, а он полагает, что гонится за тобой. Но такая тишина не успокаивает и не дарит отдых, а изнуряет посильнее иного боя. Она старательно и неизменно доводит свое дело до конца, и тогда твои веки, натертые резиновым наконечником ночного бинокля, резко прибавляют в весе и, удерживая их остатками воли в разомкнутом состоянии, ты одновременно помнишь, что по злему норову войны (или — «духов»?) тишина обязательно взорвется пулеметной очередью в тот самый момент, когда веки все-таки упадут и дрема утопит тебя в своих цепких объятиях. Вокруг все будет крушиться, падать, взлетать, свистеть, выть, стрелять и орать, но первые несколько минут ты все равно будешь оставаться индифферентным к происходящему и, передер-

гивая затвор, лишь чертыхнешься про себя: так вас и разэтак, ребята-мусульмане, не могли подождать до утра!

Я напрочь выключил слух и почувствовал, что проваливаюсь куда-то. В голове еще звучали невнятные отголоски дня, но внезапно они стали сном, коротким, но битком набитым людьми и бронетранспортерами. Разговоров во сне почти нет. Одни действия. Впрочем, как и на всамделишной войне. Снится, что лежишь на «спарке» и вот надо катапультироваться, но в ту секунду, когда откидывается назад фонарь, вдруг с ужасом вспоминаешь, что нет парашюта. (В это мгновение на лбу спящего проступит холодный пот.) ...Или что твой БТР заглох и по нему из «зеленки» прямой наводкой лупит из РПГ «дух». Проснувшись, ты будешь подсознательно стремиться ездить на БТР-70: у него два двигателя и, если первый заглохнет, второй вытянет. Так что сны определяют не только сознание, но и бытие.

Сквозь мимолетную дрему я слышу знакомый мотив. Открываю глаза: это электронные часы Скляра пищат из соседней бойницы. Он приобрел их в дукане. Вместо тривиального пиликанья они ежечасно играют коротенькую мелодию из кинофильма «Мужчина и женщина». Приятно и невероятно странно слышать ее здесь, в ночной засаде. Закрываю глаза, сквозь дрему вспоминаю, как смотрел эту картину в маленьком ловозерском кинотеатре у саами на Кольском полуострове. Вокруг лежала немая тундра, бродили по ней стада оленей, а от одиноких остроконечных чумов тянулись в небо тонкие струи голубого дыма. Говорят, французы сделали сейчас, двадцать лет спустя, вторую серию фильма с теми же актерами. Что это — попытка вернуться в свою молодость? или ностальгия мира по шестидесятым? и вообще — где я? В кольской тундре? Мчусь вместе с Трентиньяном по трассе Париж — Дакар? Или мерзну в пустыне Таррака в пятнадцати километрах от афгано-пакистанской границы?

Скляру все же удастся заставить часы молчать. Точно такие же я видел на руке Питера Арнетта. Интересное совпадение. Второе совпадение заключается в том, что Питер незадолго до меня прошел вот по этому самому руслу реки, которое я после короткого пятиминутного сна опять внимательно разглядываю через бинокль. Питер, естественно, шел не с отрядом советских или афганских десантников, а с группой партизан. Они пересекли степь, простирающуюся за моей спиной, и вышли к Джелалабаду. Потом опять вернулись в Пакистан. Я вспоминаю, как встретился с Питером в его московском корпункте и попросил подро-

но рассказать о нелегальном странствии по Афганистану. История, поведенная им, хорошо отпечаталась в моей памяти.

Арнетту далеко за пятьдесят. И я, проследовав за ним в кабинет, заваленный газетами, еще подивился, как это он одолел столь длительный пеший переход по афганским горам и степям.

...Я положил бинокль на плащ-палатку и, ослабив шнуровку «кимр» на стертых ногах, подумал, что мне, хотя я и моложе Арнетта в два с лишним раза, ночной марш по степи дался отнюдь не так легко, как ожидалось. Видимо, ему здорово помогла закалка, приобретенная за годы журналистской работы во Вьетнаме, Ливане и Сальвадоре.

— Из стран Центральной Америки вы были только в Сальвадоре? — спросил я, когда мы сели за журнальный столик.

— И в Никарагуа тоже, — он отхлебнул газировки.

— Когда? — спросил я.

— Зимой 85-го.

— Странно, что мы разминулись: я был там в то же время.

Я опять поглядел на речное русло и представил, как шумит в нем вода, когда идут обильные дожди или тает снег в горах. Сейчас река безмолвно извивалась между сопками. Никарагуа, подумал я, это третье совпадение.

— Вы там были с «контрас» или с сандинистами?

— И с теми, и с другими, — ответил он.

— Послушайте, Питер, времени у нас с вами мало, а путь из Пакистана в Афганистан и обратно вы проделали немалый, так что давайте перенесемся от «контрас» к афганским партизанам. Как они вас встретили? Не опорочил ли первозданную невинность мусульманского Востока тлетворный дух Запада в нашем лице? Бьюсь об заклад, виски-то вы научили их пить.

Арнетт рассмеялся и начал свой рассказ:

— Нас было двое: Эд Хили, фотограф из Далласа, и я, представлявший журнал «Пэрейд». Мы шли с группой повстанцев по освещенной луной тропинке. Полы их длинных хлопчатобумажных халатов раздувал ветер. На мне тоже был халат и соответственно чалма, дабы мой облик чужестранца с Запада, как ты сказал, не бросался в глаза. В непривычной одежде идти было трудно. Мы тайком перешли границу с Афганистаном в месте, которое я тебе не назову, и продолжали двигаться по каменистым горным тропам, ведущим в облака. Порой приходилось карабкаться по отвесным скалам...

Я глянул на него: интересно, как это тебе удавалось?

В английском языке нет разницы между «ты» и «вы», однако каждый из нас чувствовал, что мы перешли на «ты». Быть может, нас сблизил Афганистан?

— Мы спускались по иссохшим руслам рек, — продолжал Арнетт, — а однажды я чуть не вывихнул себе колено. Проводниками нам служили полдюжины повстанцев, называвших себя моджахедами. Они вели нас к отряду, базировавшемуся в горах рядом с Джелалабадом. И вели, признаюсь, быстро. Наши жалобы на непомерный темп никем не учитывались: в противном случае грозила опасность оказаться днем на открытой местности. Попасть же на глаза экипажу вашего боевого вертолета никто из нас, прямо скажу, не жаждал.

Арнетт вытер салфеткой выступивший на лысине пот.

Я перещелкнул автомат на автоматическую стрельбу.

Джаббаров отхлебнул из фляги, блаженно крякнув.

Арнетт достал из кармана блокнот и что-то пометил ручкой.

Я посмотрел в бинокль: «зеленка», в которой прятался со своим отрядом Козлов, по-прежнему не подавала признаков жизни.

Арнетт сделал очередной глоток и сказал:

— Вскоре мы вошли в маленький кишлак. Я спросил проводников, не рискуем ли мы нарваться здесь на советский военный патруль. Они только рассмеялись: по их словам, ночью деревня принадлежит моджахедам. Опять вспомнились годы работы во Вьетнаме во время войны, когда я находился при вооруженных силах Соединенных Штатов. Там деревни всегда по ночам принадлежали Вьетконгу... Мы вышли в маленькую живописную долину, когда уже встало солнце и в небе закружили первые советские вертолеты. Честно говоря, мы с Эдом прибыли в Афганистан выяснить, выиграете ли вы свою первую после 1945 года настоящую войну... Направляясь туда, я знал, что Запад предпочитает не замечать происходящего... Вскоре мы добрались до цели, до горного лагеря, в котором числилось около пятидесяти повстанцев — все родом из близлежащих деревень. Здесь у нас был своего рода наблюдательный пункт — окошко в войну.

— Как же ты не побоялся пересечь нелегально границу? — спросил я.

— Конечно, кто-то может сказать, что, перейдя нелегально границу, мы преступили закон. Но подобное нарушение закона едва ли что значит в стране, где идет война. Западным журналистам вроде нас с Эдом, решившим писать о повстанцах, и впрямь предстояло пройти рискованный путь — вначале найти в районе

пакистанской границы высшее командование душманов, а потом получить их согласие на долгий поход внутрь Афганистана.

Я посмотрел в бинокль. Фигурок на одной из кишлачных улиц стало больше. Трое стояли. Человек пять-шесть сидели полукругом вокруг них. Одна фигурка отделилась и скрылась за дувалом.

— С кем, интересно, вы встречались в Пакистане? И где? Или это «топ сикрет»?

— Это, — улыбнулся он, — «топ сикрет». Я знал, что исход войны в Афганистане серьезно повлияет на судьбы нашей планеты, и поэтому пришел туда. Я, видишь ли, хотел узнать правду — довольно скоропортящийся продукт, тем более что мир ничего не знает о происходящих там событиях. Это еще одна «неизвестная война».

Ведь у повстанцев нет радио, чтобы они могли сообщать информацию о себе. У многих и оружие было древним — древние ружья Эйнфельда с затвором, ржавые автоматы, были и точные копии «калашниковов», сработанные деревенскими умельцами-оружейниками. А ваш полный набор боевой мощи в Афганистане налицо. Когда советский истребитель летит над горами, выискивая цель, повстанцы могут лишь спрятаться за валунами или же слиться с землей при помощи своих грубых халатов.

Он поднес ко рту чашку крепкого горячего кофе, и лицо его затуманил ароматный пар.

Из-за дувала вышли трое со здоровенными мешками на спинах. Они подошли к тем, что сидели, и сбросили мешки на землю. Двое других встали, растворившись во тьме.

Арнетт сказал:

— Путешествуя по Афганистану, я всегда помнил о вьетнамской войне. И я искал общее между этой и той войной, такой губительной для Америки. Я освещал вьетнамскую войну в течение десяти лет, и аналогии с Афганистаном были очевидны. Однако мой статус здесь и во Вьетнаме был совершенно различен. Ведь сейчас я был с повстанцами, с теми, кого преследовали. Партизаны, правда, отрицали всякую аналогию с Вьетнамом. «Мы черпаем нашу силу из веры в Аллаха», — говорили они мне. В Афганистане ранение партизан в голову, грудь или живот означает почти верную смерть. Попадание в конечность означает гангрену и, в конечном счете, ампутацию.

Арнетт допил кофе, поставил чашку на блюдце доньшком вверх и стал ждать, когда стечет жидкость.

— Хочешь погадать, — спросил я, — на какую еще войну забросит тебя судьба в лице главного редактора?

— Нет, мне значительно интересней узнать, опубликует ли «Огонек» нашу сегодняшнюю беседу. Если рискнет, это станет моим вкладом в вашу кампанию гласности.

— Очень мило. Кстати, чем закончилась ваша афганская эпопея?

— В один прекрасный день мы покинули наших хозяев, — ответил Арнетт, — так и не увидев ни одной вашей автоколонны. Война все время манила нас своею близостью и недосыгаемостью. Пересекли потом Кунар на резиновых плотках. Эд Хили свалился в бурлящий поток и промочил все фотокамеры. Правда, сумел при этом героически спасти фотопленки. Вот и все.

Джаббаров развернул спальник. Он натянул его на ноги, а поверх еще и рюкзак — так теплее. По крайней мере, кажется, что теплее. Я последовал его примеру. Склад в соседнем эспэесе громыхнул какой-то железякой. Скорее всего, консервной банкой.

— О чем задумался? — спрашивает меня Джаббаров.

— Уже три, а банды все нет.

По камням эспэеса упорно, как трактор, карабкается скорпион.

— Не бойсь, — угадывает мои мысли Джаббаров, — пока они не очень ядовиты.

Но на всякий случай Владик нейтрализует гада прикладом.

Очень далеко, почти у самого горизонта белеют снежные пики гор.

— Когда-нибудь после войны, — мечтает Владик, — они устроят там горнолыжный курорт, и мы с тобой приедем покататься по местам былых боев... Ничего, а?

— Да пусть они хоть десять фуникулерных ниток там натянут, — мрачно цедит сквозь зубы улегшийся между нами Склад, — я сюда больше — ни ногой! Давайте-ка лучше встречаться у скульптуры трех журавлей в Ташкенте. Идет?

— «Духи»! — вдруг хрипло шепчет Жерелин.

Капелька пота скатывается по ложбинке позвоночника, точно ручеек по дну ущелья.

Я гляжу в бинокль: вдаль по руслу быстро идут человек двадцать. Все вооружены. Чем — пока не разобрать.

Теперь мы — тише тишины. Лишь Жерелин что-то шепчет по рации Козлову.

Даем повстанцам приблизиться на минимальное расстояние. Нервы на пределе. Козлов перекрывает русло позади них и тем самым замыкает кольцо.

Внизу начинается отчаянная стрельба. Мелькают десятки одиночных и длинных прерывистых вспышек. Человек десять из банды бросаются врассыпную к правому берегу реки. Несколько фигурок падают. Пять или шесть душманов залегли, спрятавшись за валуны. Через пару мгновений они открывают огонь по сопкам, прикрывая тех, кто прорывается между нашей и соседней высотами. Слева и справа грохочут автоматы Скляра и Джаббарова. Они бьют по трем партизанам, пытающимся зайти в тыл нашему левому флангу.

Ночь рвется и трещит. Трассеры исполосовали мглу. Несколько зажигательных пуль ложатся слева от жерелинского эспэса, и колючка мгновенно вспыхивает. Там только радист. Сам Жерелин мечется между бойницами.

Внизу, со стороны русла, стрельба прекратилась: Козлов загасил все огневые точки.

Такое впечатление, что над «зеленкой» кто-то натянул красные и желтые провода. Там еще отстреливаются три партизана. Но вскоре провода гаснут. Больше их нет.

Бой длился минут десять.

Автоматы раскалены, и капельки пота, падая на железо, шипят. Все вроде как и прежде. Только на небе еще сильнее побледнела луна.

В этот момент слева опять вспыхивает стрельба — два повстанца залегли на пыльной стороне сопки. С вершины по ним ведет ответный огонь левый фланг жерелинской группы. Кто-то на секунду высовывается из-за бойницы, и рука с силой бросает вниз гранату. Сильная вспышка и одновременно взрыв. Осколки со звоном ударяются о камни. Стрельба прекратилась. Через мгновение еще одна граната взрывается в том же месте. Это на всякий случай.

С минуту мы молча лежим в своих каменных подковообразных бойницах.

Видимо, все. И уже окончательно.

В голове почему-то пульсирует странная мысль. Что ты только что делал, стреляя из автомата по партизанам, оборонялся или все-таки атаковал? Хотел ты уничтожить их или защитить свою жизнь? Спросив об этом партизана, ты тоже вряд ли получил бы ясный ответ. Даже если бы тот был жив.

Джаббаров еще раз дает длинную очередь в темноту, как бы спрашивая: «Эй! Есть там кто или нет?» Ему отвечает сильное, раскатистое эхо. Но с таким опозданием, что его можно принять за ответный огонь.

...В центре русла близ гладкого, лунно блестящего бокастого валуна лежал, подняв колени к подбородку, один из тех двадцати повстанцев, что завтра на рассвете собирались обстрелять зрсами желалабадский аэродром. Почему-то вспомнился Владыкин. Как он легкой трусцой бежал к своему вертолету вдоль раскаленной солнцем взлетно-посадочной полосы.

Кого убил бы завтра человек, сейчас беспомощно лежавший у моих «кимр»? Глаза афганца были открыты и удивленно смотрели в небо. Точно он хотел о чем-то спросить, но не мог. Узкий смуглый лоб покрывали мелкие бисеринки пота. Каждая из них блестела под лунной, похожей теперь на лампу дневного света в морге. Грудь другого была мелко вытатуирована сорок восьмой сурой из Корана. Он полагал, что это сделает его неуязвимым. Сквозь разорванную рубаху видны начальные строки суры. Позже я узнал их перевод:

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов и что было позже, и чтобы завершил Свою милость тебе и повел тебя прямым путем, и чтобы помог тебе Аллахом великой помощью.

Он — тот, который низвел сакину в сердца верующих, чтобы они увеличили веру с их верой; Аллаху принадлежат воинства небес и земли; Аллах знающ, мудр!..

«Аллах не помог», — подумал я.

За пазухой у него лежала здоровенная фляга. Удобная штука-вина: в крышку вмонтирован клапан и чай можно разогреть на костре прямо в ней. Кроме того, фляга вмещает пять солдатских кружек воды. Теперь она владельцу вряд ли понадобится. Я взял ее и подвесил к своему ремню. Вода в моей фляге давно кончилась.

Говорят, если моджахед умер лицом к земле, значит, в жизни он много грешил. Третий душман лежал, уткнувшись лицом в гальку. Падая, он неловко подломил под себя правую руку, глядя на него, казалось, что ему очень неудобно вот так лежать. Левой

он держал автомат, и, чтобы вытащить его, пришлось разжать пальцы. Пуля вошла ему в кадык навывлет, и кровь медленно тонким ручейком текла вниз по сухому руслу. В правом кармане его «пакистанки» лежал целлофановый пакет с изюмом и грецкими орехами.

Взвалив на плечи все трофейное оружие, мы поднялись на сопку. Солдаты расселись по своим эспэсам и вытаскивали из рюкзаков сухпайки. Мы с Джаббаровым перешли в бойницу к Складру. Он уже вскрыл две банки с колбасным фаршем. От суточной щетины щеки и подбородки наши стали сизо-серыми, как чешуя на рыбьем брюхе.

Только сейчас я понял, как проголодался. Джаббаров ловко намазывал сгущенку на галеты и отправлял их поочередно в рот. Я сделал несколько глотков из трофейной фляги, по горлышко заполненной крепким чаем. Он оказался чуть солоноватым на вкус.

Минут через пятнадцать мы уже шли по пустыне в обратном направлении, вытянувшись в длинную цепь и двигаясь навстречу броне. Около часа я шел «на автопилоте», не думая ни о чем, иногда казалось, что сплю. Потом, когда в бесконечной утробе ночи почувствовалось зарождение нового дня, мысль внезапно заработала. Если бы партизан в отряде оказалось больше, бой мог бы затянуться. Нам, конечно, повезло еще и потому, что перед тем их отряд ввязался в длительную перестрелку с другой повстанческой группой. Сколько людей они оставили в горах? Потом я вспомнил про Арнетта. Что бы произошло, если бы он путешествовал по Афганистану не тогда, а сегодня ночью? Встретиться мы здесь, в степи, а не в его московском корпункте, наш разговор пошел бы совсем в ином ключе. Тогда в Москве мне показалось, что Афганистан нас в чем-то объединяет. Но сегодня ночью он пролегал между нами пропастью...

На аэродроме в 23.00 было непривычно многолюдно. Только что сел транспортник Ан-12, привезший из Кабула человек двадцать военных. Все они толпились под крылом самолета рядом с вещами. Из общей массы выделялась фигура высокого человека, стоявшего на широко расставленных ногах, со скрещенными на груди сильными, по локоть оголенными руками. Голова его была чуть откинута назад, а светлые волосы теребил сухой ветер. Он глядел вдаль, хотя уже в десяти метрах от самолета не было видно ни зги. В свете прожектора блестели

его глаза и выдвинутый вперед, точно хромированный бампер, подбородок. Если бы не джинсовые брюки и не рубашка с клеймом «КОМАНДО», его можно было бы принять за командарма. Я подошел к нему вместе со Старовым. Они не были знакомы.

— Я Лещинский, — сказал Лещинский и протянул руку.

— Товарищ Лещинский, я знаю, что вы Лещинский, — ответил Старов и тоже представился.

Вокруг Лещинского суетился его новый телеоператор, временно замещавший Бориса, лежавшего уже третий месяц с гепатитом в кабульском госпитале. Видимо, ему все еще не удавалось свыкнуться с мыслью, что он в Афганистане, а не в Вашингтоне, где он провел последние годы. Это был сугубо гражданский человек.

Я обменялся с Лещинским новостями и, обнявшись на прощание со Старовым, через десять минут уже взлетал в беззвездное небо над Джелалабадом.

В моем нагрудном кармане лежала скрученная трубочкой тетрадь в клеточку. Это был дневник вертолетчика Ю. И. Владыкина, который он вручил мне на этом же аэродроме несколько дней назад. Чтобы не терять времени даром, я решил прочесть его во время полета в Кабул. Свет в Ан-12 был погашен, а иллюминаторы прикрыты темной материей в целях маскировки, и потому пришлось перейти в самый хвост и устроиться под единственной синей лампочкой.

Это тоже была литература о войне, точнее, литература, написанная самой войной. Я открыл первую страничку:

«25 октября

Голова после четырех часов налета в бронированном шлемогоршке тоже становится бронированной.

4 ноября

Все основные понятия боевой работы прочно вошли в каждого из нас и уже не вызывают былых всплесков эмоций. Уставший человек слабо реагирует на все, кроме писем из дома. Ноябрь делит два времени года в нашей работе. Он тоже стал верстовым столбом. Первого ноября на высокой площадке в горах погиб командир Ми-8 старший лейтенант Шинников Сергей. Меня потом туда высадил командир, и впервые я увидел, как жутко скалятся обгоревшие черепа. Два солдата и Серега не успели выскочить из горящей машины. В стороне — переднее колесо, блок с НУРСами и лужа расплавленного металла. Хотели сразу же вы-

тащить, но, когда приблизились, разорвалась метрах в пяти грана-та. Летел вместе с обугленными. Дня два-три от комбинезона пахло жареным мясом. Пишу, чтобы не забыть, а значит, убережь других хлопцев. Впрочем, такое не забудешь.

7 ноября

По телевизору — подготовка к демонстрации на Красной, а смотреть уже некогда: на Черной горе Валера Савченко прикрывает под сильным огнем своего ведомого. Тутова сбили ракетой. Тот невозмутимый и спокойный парень. Экипаж выбросился на парашютах с высоты 150—200 метров. Киселевич и Тутов — нормально, а Головкову не хватило высоты, всего метров десять. Приземлились они прямо в «духово» гнездо. Тутов в пяти метрах увидел «духа». Успел первым выстрелить Тутов. Забирали под огнем. Думал, собьют. Обошлось.

15 ноября

Десант на Черную гору — туда, где упал Тутов. Тридцать минут — спокойно, а потом начали стрелять даже камни — так много огневых точек. Внизу — «пчелки», сверху — мы. Большое — без натяжки — мужество нужно тем, кто на «пчелках»: площадки трудные, десантников — тысяча. Стреляет каждая скала. Кто во второй раз, говорят: не слаще Панджшира. Кручусь над площадкой уже второй час, БК чуть-чуть осталось. Экономим, стреляем только по «сварке»¹. Несколько раз давили «прислугу»², но каждый раз прибегала новая. Витя Буяшкин проходит над пиком, где только что подавили «сварку». На моих глазах по нему в упор — несколько очередей. Пробит весь правый борт, разбита «сигара»³. Задымил его ведомый Никулин и без связи пошел на вынужденную. Никулина прикрывает Матвеев, а я с Гергелем остался над площадкой. Никулин сел нормально. Кричал ему: брось блоки (чтобы облегчить вес)! Он не услышал. Все живы, но двое переломаны. Федорыч, наверное, летать не будет. Летчики летали без ног, но без рук не летали. А вечером этого же дня взлетел Витя Буяшкин, но на аэродром не вернулся. Забирали его ночью...»

Меня хлопает по плечу Пешков, кидает парашют. Но я где-то очень далеко от него, мне кажется, что я все еще кручу вираж с Владыкиным на его «шмеле».

¹ «Сварка» — крупнокалиберный пулемет.

² «Прислуга» — расчет пулемета.

³ «Сигара» — НКРС.

— Надень, — кричит мне в ухо Пешков, — а если прыгать, то спиной — так легче!

Прицепляю к подвесной системе парашют. Теперь он болтается у меня на животе. Впрочем, как и у всех сидящих на длинных жестких лавках вдоль обоих бортов самолета. Парашюты спереди делают нас похожими на беременных женщин.

— Нам-то хорошо, — раздается звонкий голос лейтенанта справа, — всего один час с таким животом, а бабе — целых девять месяцев!

Самолет сотрясается от громового смеха.

Я читаю дальше:

«12 апреля

Прошел март. С четвертого по восемнадцатое был дома. Невозможно передать словами, что это такое — встреча после длительного расставания. И вот опять в Афганистан. За века ветер здесь сровнял многие вершины старых гор, но пики наиболее высоких, напротив, еще сильнее заострил. Он прорезал ущелья, продолбил в кручах сквозные отверстия. По всей видимости, этот самый ветер, поднимая песок и соленую пыль, сдирает с людей всю внешнюю шелуху, плесень, оставляя их в первозданном виде. Сильные и слабые — это понятия спорные, но все же есть какой-то минимум необходимых качеств, не достигнув которых человек не может рассчитывать на доверие своих товарищей на этой земле. Есть люди, даже с первого вылета верные, как добротные патроны. И есть такие, как облака над горами, — чистые, светлые, высоко парящие над землей. И все же при большом и значительном это не строительный материал. А есть еще и «средняки». На первый взгляд они мало заметны. Их и к наградам представляют в числе последних. Но это, пожалуй, самые надежные люди. Их можно сравнить с хорошей землей, на которой вырастают хлеб и цветы. Таких людей у нас большинство.

Сегодня — День космонавтики. Красивое, нужное и громкое дело — космонавтика, но все-таки можно было бы учредить и День интернационалиста...»

— Все, — сказал Пешков скорее самому себе, чем мне, — садимся: Кабул.

Я захлопнул недочитанный дневник подполковника Владыкина.

Со встречи с этим человеком началась моя джелалабадская история. Пятнадцатой страницей его дневника она завершилась.

Если дневной Кабул скучен и прозаичен, то вечером он полон таинственного очарования. И опасность лишь усиливает это ощущение. Пулю можно без особых стараний получить и в столице. Один из ветеранов здешнего пресс-корпуса как-то сказал мне: «Приземляясь в Кабуле, ты уже достаточно рискуешь». И был прав.

А другой коллега, предостерегая от пользования городским транспортом, вспомнил, как однажды добирался из одного конца города в другой на такси: «Лишь когда машина тронулась, я обнаружил, что не захватил пистолет. А здесь бывали случаи, когда водитель, решив подзаработать на голове «шурави», отвозил своего ни о нем не подозревавшего пассажира прямо в «духовское» логово. Так что я решил на всякий пожарный припугнуть таксиста: засунул руку во внутренний карман пиджака и многозначительно щелкнул колпачком шариковой ручки, намекая на «макарова» в портативной кобуре. Однако ничего, кроме живого интереса к тому, чем это я всю дорогу забавляюсь, пощелкивание колпачком у любопытного афганца не вызвало».

Я вглядывался в усталое, едва освещенное лицо города, трясась на заднем сиденье штабного «уазика», который мчал меня с аэродрома к нашей торгпредовской гостинице. Рядом сидел мужчина в штатском с лицом, покрытым сеточкой красных сосудов и обрамленным жесткой седой бородкой. Высокий лоб его был рассечен на равные части несколькими глубокими горизонтальными морщинами. Я познакомился с ним неделю назад в самолете, выполнявшем рейс Кабул — Кундуз. Это был Ким Македонович Цаголов¹ — редкого ума человек, заведующий кафедрой в Академии имени Фрунзе. Опершись локтями о колени, он смотрел вперед на дорогу.

Слева и справа уносились назад электрические пятна дуканов. Они ломались от обилия товаров, сделанных практически во всех странах мира. Здесь принималась любая валюта, кроме разве что монгольских тугриков. Купить там можно было все. Порой даже казалось, что попроси ты у лавочника — потехи ради — широкофузеляжный «Боинг-747», он хитро улыбнется и вытащит из-под

¹ Генерал-майор Цаголов был освобожден от занимаемой должности и вынужден покинуть ряды Вооруженных Сил после публикации интервью в «Огоньке» о положении дел в Афганистане.

полы эту двухэтажную громадину. И еще подмигнет: «Командор, большой-большой скидка только тебя!»

Днем дуكانщики прячутся от жары в глубине многочисленных лавок. Там горят десятки пар их глаз, точно у койотов в ночной степи. Любой кабульский старожил разрядит в вас целую обойму душеспитательных историй о том, как арбуз, бутылка водки или банка консервов, купленная в дукане, оказывалась отравленной, а инкубационный период смертельной болезни длится более месяца: попробуй потом вспомнить, где именно ты так «отоварился». Среди наших бытует поговорка: «Афганистан — страна чудес: зашел в дукан и там исчез».

Когда машина наша останавливалась, пропуская на перекрестках другой транспорт, можно было увидеть в магазинчиках, залитых желтым светом, новенькие «Шарпы» в целлофановых упаковках. Разглядывая их, я не переставал поражаться тому, как новейшая техника и родо-племенное сознание торговца сепаратно сосуществовали в маленькой лавке площадью в дватри квадратных метра, не проникая друг в друга. Оказывается, можно носить на запястье «Сэйко» на жидких кристаллах и оставаться носителем дофеодальной психологии. Вспомнилось, как Ниматулла, афганский военный летчик, усмехнувшись, сказал однажды: «Да, я летаю на сверхзвуковом, но жена моя носит чадру».

— Помните, — вдруг спросил мой сосед, — суру под названием «Ночь»?

— Грешен, — признался я, — плохо знаю Коран.

— «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Клянусь ночью, когда она покрывает...» Я это к тому, — Цаголов поскреб пальцем переносицу, — что есть вещи, которые можно постичь лишь ночью.

Странно было слышать это из его уст. Днем он всегда прятался за броню холодной веселости. Но теперь от нее не осталось и следа.

— Да, — ответил я, — ночью, как ни странно, видишь дальше и глубже.

— Негоже человеку понимать слишком многое. И заглядывать чрезмерно далеко тоже негоже. Ясновидение — это трагедия, а не дар. Даже самый мудрый из мудрейших теряет ощущение реального времени. Он видит только будущее, но не настоящее.

«Уазик» резко повернул направо, и моего соседа прижало к левой дверце. Поняв его мысль, я спросил:

— Но, будь вы на месте этого «мудрого из мудрейших», который, положим, верно и глубоко понимает перспективу общественного развития, но видит при этом тысячи людей вокруг себя, живущих в нищете, отсталости, почти варварстве, разве у вас не возникло бы желание помочь им, приобщить их к более высокой культуре?

— Лично я, — ответил без промедления Ким Македонович, — глубоко убежден, что варварство является противоположностью культуры лишь в системе определенных координат и воззрений, созданной все той же культурой. Но вне этой системы варварство и отсталость означают нечто совершенно иное, отнюдь не противоположность культуры.

Я начал распечатывать пачку сигарет, взяв, таким образом, маленький тайм-аут в споре.

— Но если жизнь, — сказал я, чиркая спичкой, — скверна и несправедлива, совершенно естественно хотеть и пытаться ее изменить. Разве нет?

— Видите ли, — он чуть приоткрыл форточку, — я вообще не склонен возмущаться объективным ходом вещей в мире. Это глупо. Вам же не придет в голову возмущаться тем, что Волга течет именно так, но не иначе? Впрочем, — махнул он рукой, — такое тоже бывало. Совсем недавно.

— Я никогда не был сторонником ни киеизма, ни релятивизма. Они ведут к бездеятельности и параличу воли, а это похуже паралича тела. Кстати, вы никогда не замечали, что утром ночные бдения почти всегда кажутся чем-то вроде алхимических поисков?

Он усмехнулся уголком рта.

— Ладно, ну ее к черту, философию. Расскажите лучше, что из увиденного здесь подействовало на вас сильнее всего?

Действительно, что?

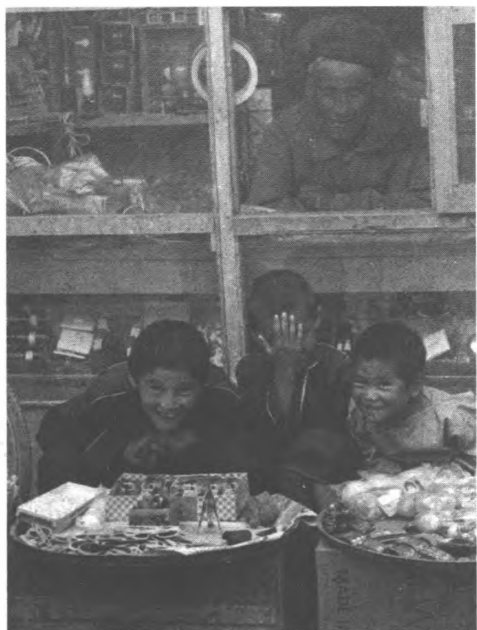
И я вспомнил засаду. Ночь. И капельки пота на лбу убитого партизана. И то странное, тяжелое чувство, которое одолевает, гнетет меня с тех пор. Чувство, которое хотелось бы уничтожить, забыть. Но с каждой ночью оно лишь сильнее.

— И никуда от него не деться, — сказал я.

Мой спутник молчал, не говоря ни слова. В городе уже давно действовал комендантский час, и несколько раз на перекрестках попадались афганские военные патрули. Однако пропуск, приклеенный к ветровому стеклу «уазика», освобождал нас от необходимости останавливаться. Вместе с ночью на город опустилась тишина.



Кабул, 1986 год
(фото автора)



На улицах Кабула.
1986 год



Вместе с подполковником Ю. И. Владыкиным. Джелалабад, 1986 год



Джелалабад. 1987 год.



Перед окончательным выводом 40-й армии. Дорога Кабул – Саланг.
1989 год, февраль

Утро на заставе комбата Ушакова. Перевал Саланг. 1989 год, февраль





Вывод войск. Дорога на Саланг. 1989 год



Игорь Ляхович – последний советский солдат, убитый на афганской войне
(фото автора). 1989 год, февраль

На привале. До советской границы остается еще километров 130
(фото автора). 1989 год, февраль





Высадка десанта (фото автора). Панджшер, 1987 год

1989 год





Десантники готовятся к операции против Масуда (фото автора). 1987 год



Вместе с Бабраком Кармалем. 1989 год

С л е в а н а п р а в о : Герой Советского Союза, генерал Армии
В. И. Варенников, полковник А. А. Ляховский, президент ДРА Наджибулла.
Кабул, 1987 год



Мы добрались до торгпредства лишь к часу ночи. Попрошавшись, я вылез из машины и направился к проходной.

Документов у меня с собой не было, а внешний вид — грязные «кимры», мятая военная форма, взлохмаченные и затвердевшие от пота и ветра волосы — столь контрастировал с классическим обликом торгпредовского работника, что дежурный в будке долго отказывался открыть дверь. Потом мне надоело доказывать ему, что перед ним не повстанец, а корреспондент «Огонька», и, присев на лавку, я сказал:

— Пусти, я валюсь с ног.

Психология — странная штука. Особенно психология дежурных на проходных: никогда не знаешь, что на них подействует. Однако слова «пусти, я валюсь с ног» показались стражу торгпредства убедительными, и он открыл дверь, буркнув вслед:

— Бур черт, сер черт — один бес.

Приняв в номере душ, я залез в постель и потушил свет. Из окна этажом выше пела Пугачева:

Знаю, милый, знаю, что с тобой.
Потерял себя ты, потерял.
Ты покинул берег свой родной,
А к другому так и не пристал...

Потом Пугачеву выключили. Ее сменил мулла, кричавший что-то через звукоусилитель на весь Кабул. Две вселенные, оказавшиеся рядом, в одном городе: фантастическое сосуществование.

Сна все не было. Я окинул взглядом комнату в поисках какого-нибудь чтива. На единственной полке лежала чахлая подшивка прошлогодних журналов, а рядом — первые десять томов Собрания сочинений Маркса и Энгельса. Из седьмого тома торчала закладка. Я взял его и сразу же раскрыл на 422-й странице. Скомкав закладку, я бросил ее в медную пепельницу на журнальном столике. Один из абзацев был помечен моим предшественником-марксистом карандашом. С него я и начал:

«Самым худшим из всего, что может предстать вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. То, что он может сделать, зависит не от его воли, а от того уровня, которого достигли противоречия между различными классами, и от степени развития

материальных условий жизни, отношений производства и обмена, которые всегда определяют и степень развития классовых противоречий. То, что он должен сделать, чего требует от него его собственная партия, зависит опять-таки не от него самого, но также и не от степени развития классовой борьбы и порождающих ее условий; он связан уже выдвинутыми им доктринами и требованиями, которые опять-таки вытекают не из данного соотношения общественных классов и не из данного, в большей или меньшей мере случайного, состояния условий производства и обмена, а являются плодом более или менее глубокого понимания им общих результатов общественного и политического движения. Таким образом, он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может сделать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он должен сделать, невыполнимо. Словом, он вынужден представлять не свою партию, не свой класс, а тот класс, для господства которого движение уже достаточно созрело в данный момент. Он должен в интересах самого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделяться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное положение, тот погиб безвозвратно».

И я вспомнил своего недавнего собеседника. Мой с ним ночной спор...

Ставка Верховного Главнокомандования ДРА во главе с генеральным секретарем УК НДПА Наджибом была создана по решению Политбюро ЦК партии в ноябре 1986 года. Сегодняшнее ее заседание назначено на 8.00 утра, в специально отведенном для этого особняке в центре Кабула. Я прибыл туда за тридцать минут до начала. Выстроенный совсем недавно дом сиял свежими красками на утреннем солнце. По садику прогуливались сотрудники службы безопасности. Массивные деревянные двери, ведущие внутрь, были настежь открыты. В холле суетился ветерок. Крутая винтовая лестница вела на второй этаж.

Члены Ставки, включавшей в себя политическое и военное руководство страны, начали съезжаться без десяти минут восемь и вскоре почти все были в сборе: министр государственной безопасности Гулям Фарук Якуби шепотком переговарива-

вался с министром внутренних дел Гулябзой, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Шахнаваз Танай¹ сообщал что-то веселое заведующему отделом юстиции и обороны ЦК Олюми. Министр обороны генерал-майор Мохаммад Рафи стоял отдельно от всех, рассматривая свои часы.

Наджиб прибыл без пяти восемь и в сопровождении агентов советской службы безопасности направился к дверям особняка, на ходу здороваясь с членами Ставки.

Мы проследовали в «Г»-образный зал, отделанный темным резным деревом и плиткой под мрамор. Из стены выдвинулась дверь и бесшумно захлопнулась за нашими спинами. Широкие окна были плотно занавешены коричневой материей. Все расселись вокруг массивного стола, покрытого зеленым сукном. Ш. Танай развернул карту и начал свой обычный доклад.

Он говорил о том, что, по имеющимся разведанным, руководство контрреволюции планирует проведение активных боевых действий на севере в непосредственной близости от Кабула. О продолжающихся вооруженных столкновениях близ Джелалабада, где потери сторон за сутки составили 4 человека убитыми, 17 — ранеными. О том, что командование Пакистана перебросило ближе к границе 12-ю пехотную дивизию. Что мятежники обстреляли 8-й погранполк, убитых нет. Что во время выполнения учебного полета столкнулись два афганских истребителя МиГ-23; оба пилота остались живы, начато расследование. За сутки по всей территории Афганистана военным транспортом перевезено 628 человек и 138 тонн груза. В районе Рабатак местный житель подорвался на mine. В провинции Кундуз захвачено 5 единиц стрелкового оружия, взято в плен пять мятежников. В районе Морга пакистанский истребитель нарушил воздушное пространство ДРА и углубился на 14 километров в глубь территории ДРА...

— Если это подтвердится, — прервал его доклад Наджиб, постучав ручкой по разложенной на столе карте, — надо будет срочно сообщить в МИД, чтобы там приняли соответствующие меры.

¹ Танай возглавил антиправительственный мятеж в начале 1990 года, который был подавлен. Сам Танай после того переметнулся в стан вооруженной оппозиции.

— Хорошо, — кивнул Танай и, закончив оперативный отчет, перешел к разговору о более общих проблемах, ожидавших, по его мнению, безотлагательного рассмотрения и решения. Он подробно остановился на некоторых из них.

Потом опять слово взял Наджиб.

— Я разделяю вашу обеспокоенность тем, что ресурсов у нас мало, а нерешенных задач много, — начал он своим мягким, но уверенным голосом, — однако трагедию нам из этого делать не надо. Есть возможности справиться с названными проблемами. — И Наджиб перечислил все те резервы, которые, на его взгляд, могли бы помочь делу. Он говорил и о более эффективном использовании территориальных войск, и об увеличении призыва в армию, и о многом, многом другом. Вскоре Наджиб перешел к рассмотрению планировавшейся на завтра совместной советско-афганской операции по высадке десанта севернее Кабула, где скопилось много партизан, ушедших из Панджшира.

Заседание Ставки завершилось около десяти утра. Правительственные машины разъехались так же быстро, как и появились, оставив в садике у особняка сизые клубы выхлопов. Я сел в поджидавший меня «уазик» и направился в расположение десантной части, которой предстояло завтра участвовать в операции севернее Кабула, о чем только что шла речь. По дороге я прокручивал в памяти состоявшийся на заседании Ставки подробный разговор о военном и политическом положении страны. Иллюзий у этих людей не было.

Подполковник Борисов ставил задачу быстро и лаконично. Он стоял у карты, висевшей на стене светлого просторного кабинета, и его раскатистый бас контрастировал с еле двигавшимися губами. Время от времени он умолкал, что-то обдумывая. Тогда рот его становился прямым, как линия горизонта. Перпендикулярно вниз шла глубокая ложбинка на подбородке.

К карте поочередно подходили офицеры, которых та или иная деталь завтрашнего десантирования касалась непосредственно. Закончив постановку задачи, Борисов сказал:

— Еще раз напоминаю вам о необходимости эвакуировать раненых в положенные сроки, о принципе ретрансляции в случае, если плохо будет работать связь, о том, чтобы взводы не обозначали себя дымами одновременно, иначе вертолеты запутаются. Все лишние разговоры по рации исключить, выходить в эфир с

минимумом слов. Помните о принципах огневой работы в ночное время, об опасности взаимной перестрелки и о том, что все подступы к складам минируются. У меня все. Вопросы?

Их не было. Сделав короткую паузу, Борисов громыхнул:
— Товарищи офицеры!

Все разом поднялись, вытянувшись по струнке.

Борисовское «послесловие» к постановке задачи не было случайным. Все то, о чем напоминал он подчиненным здесь, в кабинете, на первый взгляд могло показаться банальным набором прописных истин, но там, на «боевых», то, как выполнялись необходимые требования, оборачивалось успехом или неуспехом всей операции, жизнью или смертью солдат.

Зажатые в блок партизаны обычно пытаются выскочить из окружения ночью. Для этого они проводят разведку боем, простреливая весь район в надежде на то, что наши начнут отвечать все разом и тем самым полностью раскроют систему огня. Я спрашиваю подполковника о возможных контрмерах со стороны советских подразделений.

— В таких случаях, — отвечает мне Борисов, — надо молчать, не поддаваться на провокацию. Работать по противнику должна лишь одна огневая точка.

Очень часто повстанцы стремятся вызвать взаимную перестрелку между нашими подразделениями. Скажем, перемещаются два взвода параллельными маршрутами, а между ними незаметно засела партизанская группа наблюдения. Она открывает по одному из них огонь, провоцируя ответный. И, если наши солдаты не предупреждены о передвижении соседей, может завязаться перестрелка между взводами.

— Вообще, — глубоко затягивается сигаретой Борисов, — мятежники воюют грамотно. Недаром здесь так много западных советников. У мятежников, как и у наших войск, четко определены зоны ответственности с эшелонированием сил и средств, материальных запасов как по фронту, так и в глубину. Причем базовые склады находятся в труднодоступных районах, которые хорошо охраняются. Там же обычно располагаются повстанческий штаб с советническим аппаратом, средствами связи, группой выючных животных, на которых в случае опасности вывозятся боеприпасы и оружие.

Борисов воюет в Афганистане уже почти два года. Тактику партизан познал досконально, именно поэтому в его части ни одной потери за прошедший год. Случай уникальный.

Впрочем, говорить о «тактике «духов» — значит говорить слишком общо. Ведь у каждой повстанческой группы своя манера воевать и, несмотря на единый штаб руководства, свои интересы, свои взгляды на ведение боевых действий. За годы войны мятежники основательно изучили и нашу тактику, регулярно обобщают данные по командному составу советских и афганских войск.

— Они, — Борисов кивнул в сторону окна, за которым громоздились пепельные горы, — знают назубок все особенности применения нами десанта и ведения боевых действий в горах. При разработке своих операций учитывают все факторы, которые осложняют нашу работу: минимальное число площадок для высадки десантников с вертолетов, сложность доставки в горы боеприпасов, эвакуации раненых и больных, привязанность бронегрупп и артиллерии к определенным районам, невозможность использования огня бронетранспортеров для поддержки десанта, ограниченные запасы воды и продовольствия, малый срок работы АКБ к радиостанциям. От открытого столкновения мятежники отказываются, но сдерживающими засадными действиями мешают нашим и афганским войскам быстро и оперативно маневрировать. Таким образом, они зачастую и выигрывают время, чтобы вывести из опасного района свои основные силы, боеприпасы, оружие. Учитывают они и национальный фактор. А совсем недавно мы обнаружили на взятом складе брошюры на дари, в которых обобщен наш же опыт ведения партизанской войны в Белоруссии сорок с лишним лет назад. Словом — хитрые бестии.

Сам Борисов родом из Могилева. В годы войны бабушка его была связной одного из партизанских отрядов. Он до сих пор хорошо помнит ее бесчисленные рассказы. Помнит, как жил с родителями в землянке вплоть до начала пятидесятых. Как носились с мальчишками по израненным белорусским лесам.

— Найдешь гранату, — усмехается Борисов, — бросишь метров на пятнадцать, а сам стоишь: знаешь, что осколки летят не дальше десяти метров. Девчонки от восторга визжали.

Мы говорим о Буйническом поле под Могилевом.

— Я, конечно, не сравниваю ту войну с этой, — замечает Борисов, разливая по стаканам чай, — но и здесь трудно. Спасают совершенно не исследованные медиками психологические и физические резервы человеческого организма, начинающие работать в экстремальных условиях. На «боевых» спишь по два-три часа в

сутки на протяжении иной раз и целого месяца, обливаешься потом днем, ночью трясешься от холодрыги — и все тебе нипочем. А здесь, в расположении части, секунду на сквознячке посидел — вот уже и простуда.

Борисов встает и на всякий случай прикрывает форточку.

— Но лично мне, — он придвигает ко мне сахарницу, — во сто крат тяжелее выдерживать моральную нагрузку, чем физическую. Легко отвечать за одного себя, но за вверенных тебе солдат — задача посложней. Точно знаю: проще тащить на себе гранатомет, бронежилет и рюкзак под шестьдесят килограммов, чем ответственность за десятки девятнадцатилетних жизней... Вы еще не знакомы? — Борисов кивает на вошедшего в кабинет высокого стройного подполковника лет тридцати восьми с резко очерченным красно-смуглым худым лицом. — Это Казанцев, мой замполит. У меня еще прорва дел, так что вами займется он. Не будьте: время «Ч» перенесено на час раньше.

С первого взгляда Казанцев не производил впечатление человека приветливого. Сощурился левый глаз и прицелившись правым, он спросил:

— Свежачок?

— В каком смысле? — не понял я.

— У нас в части впервые?

Я кивнул.

— Почему ты не выбрал себе другую? — Он спросил так, словно речь шла о женщине, которая нравилась нам обоим. — Если во время десантирования с тобой что случится, с нас звезды долой. — И посмотрел на меня глазами тренера, оценивающего новичка, приведенного в сильную секцию.

— Не волнуйтесь, — решил я успокоить Казанцева. Ему оставался месяц до замены, и «под занавес» неприятностей он не жаждал. — Со мной ничего не случится.

— Ты гадал у цыганки? — Казанцев усмехнулся правым уголком рта, перекинув папироску в левый.

— Просто послезавтра кончается срок моей командировки.

Через пять минут я понял, что это был самый бредовый ответ из всех возможных в данном случае. Но тогда и ему, и мне он показался более чем убедительным.

Впрочем, в словах Казанцева не было ровным счетом ничего странного и тем более обидного. Будь я на его месте, наверняка бы точно так же косо смотрел на прибывшего репортера. И это естественно: для Борисова я был лишними хлопотами, для Ка-

занцева — незванным гостем, который, как известно, хуже душмана, зато для солдат — знаком внимания. Они приняли меня от всей души, угостив вкусным чаем и историями. Словом, я последовал по цепочке: от Борисова к Казанцеву и дальше вниз, пока наконец не оказался в каптерке с десанниками Симоновым и Охотниковым. Они выдали мне новенький горный комбинезон, который, правда, потом заменили на старый, потертанный.

— В нем ты будешь менее приметен для «духов», его выгоревшая окраска полностью сливается с цветом гор, — объяснили ребята.

С Симоновым мы моментально нашли тему для разговора: он тоже родом из Москвы. БК его вопросов был неиссякаемым. В ответ я отстреливался как мог.

За плечами Симонова 43 «войны»¹. Через полторы недели ему заменяться, так что завтрашнее десантирование — финал длинной эпопеи. Быть может, поэтому с его задубевшего на солнце и ветрах лица не сходит добрая улыбка. Взгляд светлых глаз ясен и прям, как и сама двадцатилетняя жизнь Симонова. Но, если посмотреть в них чуть внимательнее, увидишь такую бесконечную даль, от которой пробежит холодок по коже.

Охотников чуть покоренастей и ниже ростом. Волосы жесткие, упрямые, должно быть, как и характер. Из-под выпуклого лба на меня смотрят глаза человека, который уже прожил всю свою жизнь.

— Вообще-то здесь москвичей не любят, — признался Симонов, — многие из них начинают «косить» — увиливать от выходов на «боевые». Сказаться больным — дело нехитрое. В сапоги или горные ботинки подсыпал чуть песка или гравия, денек походил, а к вечеру уже ноги до крови стер. Можно минутку на сквозняке после бани посидеть, а через час уже температуришь. Когда я сюда прибыл, от меня ничего хорошего не ждали. Так что с первого же дня пришлось сражаться не только с «духами», но и с таким вот отношением к себе. Правда, из этой схватки я вышел победителем.

Симонов взял иголку с ниткой и начал сноровисто зашивать дырку на своем РД.

— Первые «войны», — сказал он, глядя в рюкзак, — были мрачными. Вместе с потом начали выходить мамины компоты, лень и

¹ «Война» — на местном солдатском жаргоне — «боевые действия».

даже прежнее отношение к жизни. Помню, уже на десятом километре марша по горной тропе я начал «умирать»: с нулевой отметки пришлось подняться до четырех с половиной тысяч, кислорода не хватало, работал легкими, как рыба жабрами на берегу. Но я не переставал твердить себе под нос: «Нет, парень, ты не упадешь, не упадешь — и все!» И не упал, хотя с молодыми это частенько бывает. Если бы я сдался, кто-то другой должен был бы тащить меня, мой автомат и РД.

— Война, — Охотников почесал ногтем переносье, — причает тебя думать о других больше, чем о себе. Даже погибнуть ты не имеешь права, ведь твой труп вынуждены будут нести четверо ребят, а им и без тебя делов хватает. Когда идешь по горам, обязан смотреть под ноги, чтобы не наступить на мину, не сорваться вниз. Если ты подорвешься, ранишь и тех, что впереди, и тех, что сзади тебя. Симонов, к слову, — единственный из нашего молодого призыва, кто два года назад протопал первую «войну» от начала до конца. Все остальное «поумирали» — сошли с дистанции. Их потом на «вертушках» вывозили. Вместе с нами тогда Морозов поплелся. До афгана был штангистом — здоровенный такой малый. А «умирать» начал уже на пятом километре.

— Порядочный расхлебай этот Морозов, — перебил Охотникова Симонов, — ночью, когда все спали в горах, он выпил из наших флаг остатки воды. А большей подлости в здешних условиях и не придумаешь.

— Одиночка на войне не стоит ни черта, — Охотников «забычковал» сигаретку о подошву горного ботинка. — Одному, к примеру, по отвесной скале никогда не забраться. Несколько человек — на манер альпинистов — обвязываются одной «кошкой» и страхуют того, кто карабкается вверх.

— Горы, — Симонов перекусил крепкими зубами нитку и проверил РД на прочность, — учат тебя здраво оценивать свои возможности. Если чувствуешь, что не одолеешь перехода, лучше останься дома, подумай о товарищах. По той же причине у нас не в почете бесшабашная храбрость. Хорошо, если стоит ясная погода и «вертушки» могут забрать раненых и убитых. В случае же тумана или низкой облачности их несут другие.

Охотников бросил мне баночку с черной ваксой.

— Это для ботинок. Почистите.

Я раскрыл ее, от жары гуталин стал почти жидким.

— А вообще-то, — сказал он, следя глазами за тем, как я поли-

рую свои бутсы, — иногда кажется, что, кроме Афганистана, гор и войны, в жизни ничего и не было. Ни детства, ни родителей, ни школы, словно ты родился здесь двадцать лет назад в комплекте с рюкзаком, автоматом и сухпайком.

...Я вышел на плац. Ботинки мои мрачно сияли под луной. Между модулями¹ жались друг к другу сотни полторы плотно набитых рюкзаков. Сколько РД я перевидал за это время! РД, унесенные ветром в ущелья; РД, истерзанные орлами; РД, заиндевевшие и смерзшиеся в высокогорных снегах; РД, истлевшие на солнце; РД, вывороченные внутренностями наружу; РД, прошитые пулями... Но сейчас они были еще невредимы и покорно дожидались пяти утра, когда десантники вскинут их на плечи и поволокут в горы. Наш завтрашний маршрут хорошо оседлан: ребята уже не раз ходили по нему. Думая об этом, я привязал бронетюфяк к своему РД и бросил в общую кучу: до завтра!

Мы просыпаемся в четыре тридцать от жалобного мяуканья. Чертыхнувшись, зампотех идет на разведку. Оказывается, ночью в стенной шкаф пробралась кошка и родила целую роту котят. Он разводит в блюде молочный порошок и предлагает мамаше:

— Ну, старуха, дала же ты стране угля!

Зампотех выныривает из чулана и включает радио. «Если вы не успели выпить чашечку кофе перед работой, — счастливый голос дикторши разом уничтожает остатки сна, — мы надеемся, что наша передача дала вам заряд бодрости...»

— Чашечку ко-о-офэ! Чашечку ко-о-офэ! — Зампотех выдергивает радиопровод из штепселя. — Вам по-турецки? Нет, спасибо, — отвечает он сам себе, — я предпочитаю исключительно по-афгански.

Зампотеха понять можно: в такую рань воду качать еще не начали и потому не то что выпить «чашечку ко-о-офэ» — глотку смочить нечем. Кран издает утробный звук, хороня надежду побриться. Для приличия все-таки скребу щетину «безопаской».

Через пять минут весь отряд выстраивается на плацу. Утренний теплый ветер играет листом стенной газеты, на котором красным фломастером изображены два пузатых десантника-«пищемета», уничтожающие разом по три сухпайка. В углу — подпись: «Родионов энд Лакшин, специальные корреспонденты «Афган таймс».

¹ Модули — здесь «казармы».

Строим мы двигаемся к аэродрому. По ВПП навстречу медленно ползет трактор с установленным на нем под углом к земле турбореактивным двигателем от списанного Ил-76 и гигантским топливным баком. Двигатель работает на всю мощь, сдувая со взлетно-посадочной полосы песок, а с нас — панамы.

— Это турбореактивный дворник, — кричит мне Симонов, — голь на выдумку щедра!

— Ничего себе — «голь»! — ору я в ответ.

Мы сбрасываем рюкзаки, ставим в козлы автоматы, усаживаемся на землю, зажатую рулежными дорожками. Почти все разом закуриваем. Через пять минут десант окутан густым облаком сигаретного дыма. В нем тонут 192 человека, 192 РД, 384 глаза, 192 панамы, 192 жизни.

Я сижу с Симоновым и Охотниковым. Симонов утверждает, что Калашников сконструировал свой автомат в госпитале, куда он попал после того, как его ранило на «тридцатьчетверке».

— Тот первый образец пистолета-пулемета не был принят на вооружение, — спорит Охотников. — Но, когда это произошло и АК-47 был утвержден, Калашникову не было и тридцати лет.

Постепенно разговор переходит на знаменитости — на тех, кто успел прославиться до тридцати лет. К нам подсаживаются еще двое. Теперь мы обстреливаем друг друга анекдотами.

— Солдат приходит к командарму, — заранее умирает со смеху паренек с забрызганным веснушками лицом, — и просит позволить ему командовать армией в течение одной минуты. Командарм любит демократию и потому соглашается: рвет все телефонные провода и разрешает солдату сесть на свое место. Тот усаживается, ставит генерала по стойке «смирно» и говорит: «Я с этой минуты уйду на месяц в отпуск. Ты остаешься за меня».

Охотников рассказывает анекдот про прапора, у которого все зубы были железными, и потому он всякий раз обжигал в бане язык. К нам подходит сержант из другой роты.

— Ну, что, пехота, спички есть? — спрашивает он.

Паренек, рассказавший анекдот про командарма, протягивает коробок и при этом замечает:

— У нас, товарищ сержант, есть все, кроме совести и денег.

— Ты, Петрук, — закуривает сержант, — все шуткуешь, как я погляжу. Ничего, в горах юмор с потом выйдет.

Охотников получше укрепляет на нагрудном кармане патрончик. Это «смертник», содержащий необходимый минимум данных: номер военного билета и войсковой части, фамилия, имя, отчество, год рождения и призыва.

Симонов смотрит на часы.

— Артподготовка закончилась. Пошла — авиационная.

Мы знаем, что уже отработала реактивная артиллерия — «тюльпаны» и гаубицы, хотя не было слышно ни одного взрыва. Сейчас в воздух поднялись истребители-бомбардировщики — фронтовая авиация. Но даже мощного ФАБовского громохана не уловить слухом — слишком большая удаленность.

— Разведка-а-а! — кричит на весь аэродром круглый человек в летней форме вертолетчиков, в кепи с длинным козырьком и блокнотом в руках. — Разведка-а-а! Дава-а-ай!

Мы медленно встаем, взваливаем на спины РД, берем автоматы и, разбившись на корабельные группы, по восемь человек в каждой, бредем к выстроившейся в ряд шестерке Ми-8. Спереди и сзади «пчелки» зажаты парами «шмелей» — вертолетами огневой поддержки десанта.

Каждая группа выстраивается напротив своего борта. Командир нашего экипажа подполковник Пластков натягивает на голову шлемофон и скрывается в кабине. За ним следуют бортовой техник Горшков и летчик-штурман Стрельцов.

Горшков включает аккумуляторы, «запитывающие» машину электроэнергией. Начинают рокотать двигатели, винт медленно-медленно раскручивается, набирает обороты. Проходит еще минута, и двигатели входят в рабочий режим, переключаясь с малого на большой газ. Наша группа уже сидит, вибрирует внутри «пчелки». Настроившись на приводную радиостанцию, все шесть «пчелок» в сопровождении четырех «шмелей» отрываются от ВПП.

До района высадки семнадцать минут лету. Наша волна идет на предельно низкой высоте — в 5—7 метрах над землей, поднимая клубы густой желтой пыли. Аэродром уменьшается, а громадные топливозаправщики превращаются в букашек, облепивших взлетно-посадочную полосу, мы переваливаем через гряды гор. Внизу со скоростью 250 километров в час проносятся равнины, кишлаки, столбы оборванной высоковольтки. Они напоминают покосившиеся кресты на кладбище, любая из могил которого может стать твоей.

Равнины кончились. Теперь под нами скачут горы, становясь все круче, все острее. Проходим ущелье, мрачно разинувшее свою пасть; в этот момент сам себе напоминаешь циркача, засунувшего голову промеж челюстей льва и ощущающего каждой клеточкой кожи его зловещее дыхание.

Наш вертолет, отстреливая тепловые имитаторы цели и сбрасывая скорость, снижается вторым. Площадка в ухабах, предельно малая — всего 7—9 квадратных метров. И хотя вертикальных турбуленций еще нет, все же Пластков с трудом держит машину в горячем и оттого еще более разреженном высокогорном воздухе. Борттехник Горшков плюхается животом на днище, открывает дверцу и, высунув голову наружу, кричит в шлемофон:

— Высота два метра — три метра вперед! Высота метр — полметра влево! Садись!

Пластков зафиксировался на месте. Уцепившись взглядом за ежиковатый куст, он продолжает снижаться, то и дело косясь на измеритель скорости сноса. Сильный удар.

Пластков сбрасывает шаг. Второй удар.

— Передним коснулись! — Борттехник крутит своим ЗШ во все стороны.

Но третье колесо поставить так и не удастся — слева внизу крутой склон. Кроме того, справа в борт бьет сильный ветер — самый опасный для вертолета. Горшков вскакивает на ноги, освобождая выход. Мы выпрыгиваем один за другим и, рассыпавшись веером, бежим вперед, прочь от болтающегося вертолета, пригибаемся, втягиваем голову в плечи, чтобы не рубануло задним вином.

Наш Ми-8 резко взмывает в небо, а на его место садится следующий. Мы прячемся за камнями, на всякий случай обводя глазами пики соседних гор, откуда на нас глазают пустые «духовские» бойницы. Мелкие камешки подо мной впиваются в локти и колени, ветер, взвиваемый вертолетами, норовит сорвать с нас панамы и РД, окатывает пылью и мелким крошевом скал.

— Смотри, чтоб в лобешник не вдарило! — орет мне кто-то сзади.

Метрах в ста над нами барражируют, выстроившись в круг, вертолеты огневой поддержки. Их рокот действует успокоительно.

Последней «пчелке» из нашей волны остается метров пятьдесят до площадки. Погасив скорость и взяв форсаж, она начинает выполнять заход. Вдруг неожиданный рывок влево, вспышка под самым ее винтом и взрыв, приглушенный рокотом «шмелей». «Пчелка», видимо, еще не разобрав, в чем дело, пошла вниз по склону, чтобы набрать скорость и зайти по новой. Пытаясь уменьшить реактивный момент, командир экипажа сбрасывает тягу несущего винта, но в самом начале второго витка вертолет ударяется о склон кабиной, медленно-медленно разворачивается влево, кренится на правый бок и одновременно опускает нос. Второй, еще более сильный удар левым бортом — и лопасти, с дробным треском стукнувшись о грунт, разлетаются в разные стороны, секут скалы. Машина, цепляясь за камни, продолжает ползти вниз по склону, и на ходу из нее прыгают десантники. Слышу, как удары сердца чередуются с ударами вертолета о валуны. Секундой позже вываливаются через блистеры вертолетчики. Ощущение такое, будто только что подбили тебя самого и это ты катился вниз по склону, цепляясь слабеющими пальцами за скалу...

В Джелалабаде, встретив женщину с мертвым младенцем на руках, подумал, что это самое страшное из всего того, что я видел за время командировки в Афганистане. Но только что пережитое подействовало еще сильнее. Быть может, потому, что разваливающийся на части, охваченный пламенем вертолет, который спешно покидали люди, представился мне символом наших самых сокровенных, но рухнувших надежд.

Все четыре «шмеля» уже развернулись и стреляют по соседней высоте, откуда «духи» подбили наш Ми-8. От скалы медленно отлетают похожие на рыжий шифер осколки. Вершину окутывает облако пыли.

Еще минут десять вертолеты огневой поддержки, сверкая стеклами на солнце, обстреливают из пушек эту и три другие ближайшие высоты.

— Лучше гор могут быть только горы, — цедит сквозь зубы Казанцев.

— Фейерверк устраивают «духи» в честь нашего прилета, — хрипит справа Симонов.

Один из ребят с подбитой «пчелки» удивленно разглядывает дырку в своей фляге: пуля, пробив борт, на излете прошила и ее. Воды больше нет. Зато есть жизнь.

— Это уже третий звонок мне, — мрачно шутит парень.

Вскоре мы взваливаем на плечи рюкзаки, оружие и, выстроившись в длинную цепочку, начинаем длительный переход. Нам предстоит дойти до высоты, помеченной на карте Казанцева цифрами «1945». Наш арткорректировщик определяет расстояние до нее при помощи своего ЛПР. На аппарате загорается крохотная зеленая точка, и он «сообщает», что протопать нам сегодня предстоит 15 700 метров. Но это по прямой, а на деле не меньше 20 километров.

— Знаешь, что такое десантник? — спрашивает меня Симонов. Юмор — такой же элемент его экипировки, как рюкзак, панама или горные ботинки. — Десантник целую минуту — орел, а остальные пять суток — лошадь. В нее превращаешься, как только выпрыгиваешь из вертолета. Так что на деле мы не «рэйджеры ВДВ», а ломовые лошади.

Впереди идут командир взвода, радист и щуплый паренек, который вместе с койкой, должно быть, весит не больше пятидесяти килограммов, но тем не менее тащит на хребте «утес»¹, рюкзак и еще целый ворох Бог весть чего, включая дрова. За ним топают слабые, которые знают, что скоро начнут «умирать». Следом — ребята посильней, готовые в любой момент помочь, взвалив на свои плечи РД и оружие выбившихся из сил. Позади меня — Симонов, Охотников и Казанцев.

— Старые горы — хорошие горы, — Симонов благодарно-удовлетворенно оглядывается вокруг, — они без крутых склонов. А по молодым — без «кошки» не пройти.

— В Панджшире горы просто замечательные... — замечает Казанцев.

— Камень! — обрывает его Охотников, из-под ботинок которого выскакивает увесистый булыжник и стремглав несется по тропе вниз. Все впереди идущие шарахаются в стороны.

Мы спустились на самое дно ущелья и теперь карабкаемся по очередному склону. Идти вверх значительно легче, чем вниз: ставишь прочно ногу, затем выпрямляешь ее. Ставишь и выпрямляешь. А при спуске уже на десятой минуте колени дрожат, как после кошмарного сна. Вдобавок приходится постоянно выбирать место промеж камней, куда поставить башмак: чуть внимание ослабло, и ты срываешься вниз, увлекая за собой целую лавину булыжников.

¹ «Утес» — станковый зенитный пулемет.

— В горах лучше не останавливаться, — Охотников поправляет ремни РД, — после отдыха невозможно задницу отодрать от земли. Такое впечатление, будто за время привала притяжение увеличилось раз в десять как минимум.

Теперь мы топаем по тактическому гребню, десятью метрами ниже горного хребта. Это делает нас менее приметными для «духовских» наблюдателей. С самого момента высадки не оставляет ощущение, что ты взят на невидимый прицел. Впрочем, об этом лучше не думать.

— Что будешь делать после армии? — спрашиваю дыхание и шаги позади себя.

— Пойду в институт, — к дыханию и шагам прибавляется симоновский басок.

— В какой?

— В университет на журналистику. Хочется про Афганистан самому написать. Столько ерунды печатают — иногда тошно делается.

— Только без оскорблений, — предупреждаю я.

— Просто вы пишете одно, а мы видим совершенно другое. Если бы я не читал газет, никогда не узнал бы, что здесь сейчас «примирение» в самом разгаре.

Мое дыхание постепенно сливается с ритмом ходьбы и позвякиванием автомата.

Что-то хрипит Казанцев, но ветер глушит его слова. Хочется посмотреть назад, в лицо Казанцеву, но оглянуться нет сил: воротник, пропитавшись потом, затвердел на ветру и при каждом повороте головы наждаком скоблит натертую шею.

Мы делаем короткий привал. Казанцев протягивает мне флягу с холодным чаем. Сделав порядочный глоток, я возвращаю ее.

Мы опять идем. Над нашими головами где-то в бесконечной синей вышине плывет патрульный истребитель-бомбардировщик, издавая протяжно-заунывный звук. Такое впечатление, будто кто-то мучительно долго ведет смычком по струне контрабаса.

— Симонов, — кричит из-за спины Казанцев, — пусти-ка красную ракету! Не то он там в своих заоблачных далях примет нас за караван «духов» и вызовет на голову корреспондента авиацию.

Симонов мгновенно выполняет приказ.

— Живой камень! Осторожно! — предупреждает Охотников, теперь прыгающий впереди меня. Я успеваю поставить ногу на

другой булжжик. Ибрагимов, круглый малый с черным ежиком волос на дынеобразной голове, не расслышал Охотникова и, неудачно ступив, подвернул правую ногу. Оказывается, он успел повредить ее, еще когда прыгал с вертолета часа три назад.

Мы делаем вынужденный привал. Ибрагимов разматывает портянку и массирует щиколотку. Кто-то из усевшихся поблизости ребят включает портативный транзистор.

Ибрагимов, зашнуровав ботинок, делает пробный шаг, второй, третий... Идти можно. Подполковник Казанцев взваливает себе на спину его РД и автомат.

— Эх, Ибрагимов, Ибрагимов, — нараспев говорит Казанцев, — нашел же ты себе Санчо Пансу. Невоспитанный ты человек, Ибрагимов.

Тот, виновато улыбаясь, медленно ковыляет впереди.

— Ну, ничего, Ибрагимов, — продолжает Казанцев, — вот сколько влезет в твой РД бутылок коньяку, столько ты мне и поставишь, когда вернемся в расположение. А не поставишь, так вечным позором покроешь свое имя, Ибрагимов. И косо будет смотреть на тебя товарищи по оружию. Верно, Симонов?

— Верняк, — отзывается тот.

Но вскоре все разговоры стихают. Силы на исходе, а топтать еще целую вечность.

Проходим «духовские» бойницы и остроконечные туры, выложенные камнями в седловинах между гор.

Похоже, у нас появилось второе дыхание. Впрочем, до высоты «1945» остается не более 7 тысяч метров. Но Ибрагимов идти дальше не может. Он садится на обочину тропы — на сей раз окончательно и бесповоротно.

— Эх, Ибрагимов, — Казанцев сбрасывает с себя его РД и АКМ, — придется вывозить тебя на «вертушке».

Минут через пятьдесят на этой же площадке собираются те, кто не в состоянии одолеть последние километры. Их четверо.

Мы сидим и ждем обещанный Ми-8. У кого-то отрывается ремень рюкзака, и РД падает в ущелье.

— Да, — комментирует Симонов, — не вовремя автоотцеп сработал.

Вялый смех.

Ко мне подсаживается Олег Гонцов. Он спрашивает, глядя себе под ноги:

— Когда в Москву?

— Через неделю.

— Охота?

— Пока нет, — говорю я, чувствуя, что чего-то в Афганистане еще недочерпал.

— И мне нет.

Олег уже отвоевал здесь с 80-го по 82-й. «Дембильнулся». Уехал в Союз. Но потом пожалел. Пришел в военкомат и попросился обратно. Так оказался здесь вторично. В октябре прошлого года Гонцов женился. Свадьбу сыграли в Кабуле.

— Друзей здесь моих много. Кто служит. Кто лежит, — и он гладит широкой ладонью землю. — Понимаешь, не могу я вернуться обратно в мир. Пробовал — не получается.

На горизонте появляется несколько точек. Минут через семь они превращаются в одну «пчелку» и два вертолета огневой поддержки.

— Давайте дымы! — кричит Казанцев.

Мы карабкаемся по склону наверх, чтобы освободить площадку для Ми-8. Один остается внизу. Оттуда повалил густой оранжевый дым, постепенно вытягивающийся по ветру в длинную ленту. Вертолет садится, «шмели» барражируют над головами. Мы с Казанцевым помогаем Ибрагимову и трем другим десантникам забраться внутрь.

Вертолет отрывается от площадки и в сопровождении двух «шмелей» берет курс на Кабул.

...Так прошел первый день из тех пяти, что длилась операция. И каждый новый не был похож на предыдущий. Отряд десантников одолел за этот временной промежуток сто километров с гаком. Лица солдат еще больше почернели от пыли и солнца. Выдержав два боя, взяв уйму трофейного оружия и форсировав серую горную реку, название которой ведомо лишь ей одной, десант на пятые сутки воротился верхом на броне домой — в Кабул.

Перед самым отъездом из расположения части ко мне подошел Слава Белоус:

— Будет свободный час, постарайся заскочить в госпиталь к Андрею Макаренко. Передай от нас привет. Ладно?

Говорят, что человек не погибает дважды. Но это лишь говорят. Прапорщик Андрей Макаренко в один день погибал трижды.

30 ноября прошлого года подорвался в результате диверсии транспортник Ан-12, летавший из Кабула в Джелалабад.

— Нашу часть, — говорит Макаренко, громыхнув аппаратом Илизарова, — бросили искать останки людей и «черный ящик». В моем взводе было много молодых солдат, только что прибывших в Афган, и я пошел по тропе первым...

Пошел первым, чтобы в случае минного поля ступить на него прежде новичков. Саперов не захватили, и Макаренко, вытащив шомпол из АКМ, начал сам прощупывать им землю.

— Мой ангел-хранитель, — улыбается Андрей, — праздный малый, в тот день нес сторожевую службу из рук вон плохо. Взрыв подброешил меня, а когда я упал, то левой ноги ниже колена не было.

Боль захватила его целиком через несколько секунд, показавшихся часом.

— Лицу вдруг стало холодно, но голова оставалась ясной.

Я представляю его сидящим на каменистой пыльной тропе в луже крови, впитывающейся в землю, вижу, как мертвенная бледность тонкой целлофановой пленкой покрывает лицо, и даже ощущаю режущую боль в левой ноге.

— Сознания я не терял, а солдатам приказал оставаться на своих местах, не двигаться. Было ясно: сижу на минном поле.

Ему бросили резиновый жгут. Он перетянул им ногу, забинтовал ее, а потом вколол два промедола. Прошло еще порядочно времени, прежде чем подоспели саперы. Они прочистили коридор к Макаренко, и четверо десантников, уложив его на плащпалатку, начали выносить.

— Ну, думаю, все самое опасное позади, два раза не умирать! Слава Богу, что так обошлось. Могло бы осколками посечь солдат.

Но тут один из них сделал неверный шаг в сторону — взрыв. Еще более сильный, чем первый. Макаренко перебило вторую ногу, правую, крутанув ее вокруг оси ниже колена. Семь ребят упали — все тяжело ранены.

— Мозг мой продолжал работать, — говорит Макаренко, — не отключался.

Да, думаю я, слабому было бы легче: потеря сознания — тоже своего рода общий наркоз, позволяющий забыться, спрятаться от боли.

— Вскоре всех нас погрузили на «вертушку». Ко мне подсоединили капельницу в полиэтиленовом мешочке. Лежали мы не на носилках, а на днище — так удобней. Взлетели. Набрали высоту.

Вдруг вертолет несколько раз дернулся и начал медленно вальтывать вниз — кончилось горячее.

Смерть атаковала Макаренко в третий раз.

— Тут из кабины вышел летчик-штурман. Я крикнул ему: «Послушайте, что там у вас происходит? Мы же падаем!» В ответ он пристегнул парашют к подвесной системе и спокойно сказал: «Нет никаких причин для беспокойства, товарищи. Полет проходит нормально». Деловито поправив защитный шлем, он открыл дверь и прыгнул за борт.

Макаренко глянул в иллюминатор — земля мчалась навстречу с распростертыми объятиями, обещая мгновенное избавление от боли. Вслед за штурманом из вертолета выпрыгнул борттехник. Он, правда, сделал это молча, не глядя на раненых.

Ребята лежали и тихо стонали. Макаренко подполз к подвесной системе. Попытался дотянуться до парашюта, но вместо этого оборвал капельницу. Сквозь бинты сочилась кровь, стекая в сторону носа «вертушки»: машина падала под углом к земле. Парашют свалился с сиденья, проехал по днищу, разбрызгав по лицам кровь. Макаренко проводил его взглядом и вдруг вспомнил: без ног все равно не прыгнешь.

— Поняв это, я лег на спину и плюнул на все. Мне вдруг стало безразлично, что будет дальше. Какое-то спокойствие вошло в мое тело. Я даже разглядел надпись, выцарапанную кем-то слева от двери.

Один из раненых ослабил ворот и тихо сказал: «Сейчас третий смотается, и вообще кранты настанут». Но командир экипажа капитан Смирнов не выпрыгнул. Несколько раз он включал аккумуляторы, помогавшие авторотации несущего винта.

У десантников есть такой прием: чтобы ослабить удар, перед самым касанием земли натягиваешь на себя стропы парашюта. Аналогично поступил и Смирнов. За секунду до того, как вертолет должен был врезаться в сопку, капитан потянул на себя «шаг-газ», добавив число оборотов винту, и тем самым сгладил удар.

Макаренко отворачивает лицо и глядит влево, за меня. Я тоже оборачиваюсь, но вижу лишь голую стену госпитальной палаты и понимаю: он смотрит в 30 ноября. Мне хочется расспросить его о бортмеханике и летчике-штурмане. Известно лишь то, что они сохранили себе жизнь, но потеряли армию — она изгнала их. И не решаюсь: иные душевные ранения причиняют больше боли, нежели физические. Предательство двух вертолетчиков до сих пор

кровоточит в памяти Макаренко. Как рана человека, кровь которого не сворачивается. Впрочем, если бы война сплошь состояла из одного героизма, его бы не было.

— Как думаешь, — Андрей проводит ногтем по аппарату Илизарова на правой ноге, — я смогу вернуться в ВДВ? Смогу прыгать?

— Конечно, — отвечаю ему. Но ни он мне, ни я себе не верим.

Вскоре я прощаюсь с этим человеком, погибавшим трижды. Крепко жму его руку и направляюсь к выходу.

Я улетаю из Кабула на следующее утро. Оно было жарким и душным. Белое солнце принялось обжаривать город спозаранку, и, когда я добрался до аэропорта, воздух уже дрожал над его раскаленными взлетно-посадочными полосами. Я бросил свой чемодан близ трапа, ступеньки которого вели в небо. С другой его стороны в тенечке беседовали майор Новиков и подполковник Леонов, с которыми две недели назад я познакомился под Южным Багланом. Новиков протянул мне термос с кофе, но я, прежде чем сделать глоток, подозрительно осмотрел его, попытавшись открыть дно.

— К чему такая предосторожность? — поинтересовался Леонов.

Я рассказал историю про термос с пластитом, найденный в блиндаже Южного Баглана, и все мы рассмеялись.

До Афганистана Леонов служил в Белоруссии. Его семья и сейчас там. Прошлым летом он ездил туда в отпуск. И, хотя на дорогу даются одни сутки, почти три первых дня проторчал в Душанбе: билетов, как всегда, не было.

— Сажу в ресторане, — Леонов размял пальцами сигарету, — вместе с заместителем командира полка. Он меня спрашивает: «Ты че, Петрович, все крутишься?» А я: «Да сзади кто-то крадется». Он улыбнулся: «Так то официант. Перевоевал ты, брат...» По Душанбе, помнится, иду и замечаю, что машинально обхожу сторонкой все зеленые насаждения. Домой приехал, первые две ночи глаз не сомкнул: не спится, и все тут, хотя чертовски устал. А когда на третьи сутки близ военного городка начались учебные стрельбы, заснул в один миг. Как убитый. Ну, как водится, у каждого по сотне вопросов ко мне. Я даже решил на карточках написать ответы типа: «Да, думаю, что скоро», «Нет, его я не знаю», «Да отвяжись ты!..» Чтобы показывать их и не трепать лишний раз языком. Отпуск хорошо

провел. Только вот всякие мелочи отравляли настроение. Вроде бы на родной земле, целовать ее хочется, а тут вдруг из-за какого-то авиабилета до дому так намаешься, хочется послать все к... Билет до Москвы на черном рынке в Душанбе стоит 200 рублей. Да подавитесь вы этими двумястами, дайте только жену поскорей увидеть!

— В Ташкенте не лучше. — Новиков глубоко затаился папиросой. — Бронь моя на билет до Харькова оказалась недействительной — хоть плачь! А тут рядом, прямо за диспетчерской такси, группа гражданских — стоят, шепотком переговариваются. Подхожу, руки воронкой сложил, как гаркну: «Граждане спекулянты! Кто может предложить билет до Харькова?» Через секунду один подбегает, слюнявым ртом в ухо шепчет: «Не так громко, товарищ майор, ведь после постановления о нетрудовых доходах так рискуем...» Тут я не вытерпел: «Это ты-то, лазурит твою мать, рискуешь?» Он весь в комок сжался. Жаль его стало. Какой смысл спорить с ним про риск... Сунул я ему сотню, зато через восемь часов уже стучался в дверь дома.

Наш разговор прервал рокот транспортника.

— Похоже, это за вами, — сказал я.

Мы пожали друг другу руки. Вскоре Новиков и Леонов смешались с группой других военных, ожидавших отлета этим же рейсом. Минут через десять самолет был уже высоко над Кабулом. Глядя, как тает в небе маленькая точка, еще недавно роковавшая на весь город, я сел на одну из ступеней трапа.

...Я думал о том ворохе стойких подсознательных ассоциаций, которые вывозит человек из Афганистана. Смотришь в магазине, как вентилятор на потолке вяло месит лопастями летний, душный воздух над мясным прилавком, и чувствуешь, как что-то брезжит в памяти, чего-то явно недостает. Ну, конечно, лопастям не хватает звукового сопровождения — дробного рокота вертолетных двигателей.

Или вдруг предрассветную московскую тишину разорвет яростная очередь пулемета. Вернешься из далекого афганского сна, протрешь глаза и лишь тогда сообразишь: да нет же, успокойся, старик, это просто-напросто мотоциклист, так его и растак, гоняет без глушителя. Совершенно отлично от родных ты будешь воспринимать слова «ягоды» и «кефир». Афганистан навечно отберет у тебя и мирный смысл слов, таких, как «пчела», «шмель», «стриж», «грач», «веселый», «слон», «чайка», «молоко», «смета-

на», «консервы»...¹ Афганистан переместился в твоё подсознание и оттуда будет преследовать тебя днем и ночью. Днем и ночью. Какая-нибудь совершенно безобидная деталь (ну хоть тот же треск мотоцикла) потащит за собой целую бездну воспоминаний и ассоциаций, словно хвост удушливых выхлопов, видимых лишь тебе.

Или в твою дверь позвонит соседкин сын.

— Дяденька, смотри, — скажет он и протянет маленький черный тюльпан, — ботаничка сказала нам поставить цветок в чернильницу на ночь — вот что получилось.

Но восторга впитавший в себя чернила цветок в тебе не вызовет.

Временами Афганистан опять будет для тебя явью, а окружающий мир — лишь иллюзией, сном. В Москве еще до командировки в Афганистан я познакомился с одним летчиком, работавшим в ДРА на «граче», имевшим за спиной более 150 боевых вылетов, награжденным двумя орденами Красной Звезды. При ходьбе по московским бульварам он очень внимательно смотрит себе под ноги, точно что-то ищет. Я долго не мог понять, в чем дело, тоже пристально разглядывал тротуар, но ни у него, ни у себя под ногами ничего не замечал, кроме фантиков от конфет, луж и кисших в них листьев. Вскоре все выяснилось. Зацепившись за ориентир (например, окурок), он мысленно просчитывает точку ввода истребителя в пикирование с таким расчетом, чтобы марка прицеливания лежала над окурком и был получен единственно верный угол атаки. Кроме того, объяснил он, необходимо точно выбрать правильный момент для сброса бомб. Это занятие долгое время поглощало все его внимание, а родичей и жену здорово нервировало.

Летом ты поедешь отдохнуть с женой в Крым. Но при виде Карадага мозг твой помимо воли сам определит наиболее выгодные позиции для пулемета.

А однажды, когда ты окончательно и бесповоротно запутаешься в лабиринте детективного романа, как когда-то в кишлаке Маян-Гулям, тебя потянет на поэзию: достанешь с полки первый попавшийся томик. Окажется Пушкин. На сон грядущий начнешь читать с середины:

¹ По терминологии, принятой среди советских военнослужащих в Афганистане, «ягоды» — люди; «кефир» — дизельное топливо; «стриж» — Су-17; «грач» — Су-25; «веселый» — МиГ-21; «слон» — танк; «чайка» — машина; «молоко» — керосин; «сметана» — бензин; «консервы» — мины; «черный тюльпан» — похоронная служба армии.

..Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Но лишь напорешься на слово «духи», воображение мигом заменит несущихся коней на БТРы, колокольчик — на лязг их гусениц, белеющие равнины — на желтые пески. Ты захлопнешь и отбросишь книгу.

Ты поднакопишь денег, пойдешь в магазин и купишь наконец-то «Зенит». Но, нажав в первый же раз спусковую кнопку новенькой фотокамеры, искренне удивишься, что нет отдачи. И по ночам ты будешь просыпаться с ощущением спускового крючка на указательном пальце.

Но возможно, тебе повезет и месяцев через пять-шесть ты научишься смотреть на окружающее спокойно, без лишних эмоций.

*Июнь 1987 года
Кабул — Москва*

СПРЯТАННАЯ ВОЙНА

Твое имя и подвиги были забыты
Прежде, чем высохли твои кости,
А ложь, убившая тебя, погребена
Под еще более тяжелой ложью.

*Джордж Оруэлл.
Памяти Каталонии*

I

К концу 1988 года большая часть 40-й армии уже покинула Афганистан, но почти пятидесятитысячное войско все еще оставалось там, смиренно ожидая команды на вывод.

Декабрь незаметно перешел в январь, и тот потащился медленно, с ленцой, словно длиннющий товарняк на подходе к конечной станции — с коротенькими просветами-днями между долгими, изматывающими терпение, мерзлыми гулками ночами.

К исходу первой январской недели потянул северный ветер, ударил мороз, в горах выпало еще на четверть снега. Но на кабульских улицах он так и не появился, и ветер от нечего делать гонял проржавевшие консервные банки из солдатских сухпайков, пыль да песок.

Эвакуация нашего Центрального военного госпиталя (ЦВГ) началась 19 декабря, и сегодня, 8 января, там, по слухам, оставались всего три-четыре врача. Завтрашним утренним рейсом они должны были улететь в Ташкент.

Вечером я поехал в госпиталь, чтобы выпросить лекарств: предстояло жить в Афганистане еще месяц с гаком.

Обычно наполненный шумом и суетой, ЦВГ на этот раз поразил зловещей пустотой и остервенением, с которым он хлопал всеми окнами и дверьми. У стелы, бессмысленно устремленной в мглистое небо, в котором, судя по гулу и мигавшим огонькам, было больше транспортных самолетов, чем звезд, какой-то солдат, заломив крутую цену, попытался продать мне десять банок гущенки.

Надпись на стеле, как и пять лет назад, утверждала: «Советско-афганская дружба вечна и нерушима».

Три офицера-афганца в советских бушлатах тащили на тощих спинах, озираясь по сторонам, ржавые кондиционеры, с мясом

выданные из окон покинутых модулей. Время от времени истошно зывали пружины, вырываясь из прогнанных госпитальных матрацев. Со скрипом открылась и закрылась дверь с надписью «СЕСТРА-ХОЗЯЙКА».

В этом кабинете два года назад мне накладывали повязку на колено после неудачного прыжка с вертолета, потом зачем-то делали анализ крови и, не дождавись его результатов, через пару минут объявили, что анализ чист, «как слеза ребенка». Выйдя отсюда после перевязки, я увидел парня на носилках, у которого оторвало обе ноги выше колен. Взгляд его исплаканных глаз прошибал насквозь даже самых бронированных вояк. То был взгляд человека, который знал наперед всю свою и вашу жизнь.

Память моя отчетливо воспроизводила увиденное и услышанное в ЦВГ в годы войны.

Казалось, сотни прошедших через этот госпиталь раненых и больных, выживших и умерших, молчаливой толпой бродили следом за мной по темным опустевшим коридорам.

Вот здесь, у этой самой операционной, я видел в июле 86-го солдата, совсем еще мальчика, у которого снесло осколком снаряда всю нижнюю часть лица. Кто-то додумался перевернуть его на живот, ткнув тем, что осталось от лица, в подушку, чтобы он не захлебнулся кровью.

В госпиталь меня, только что впервые приехавшего в Афганистан, отправил тогда начальник политотдела 40-й армии генерал Щербаков. Он сделал это в ответ на наивную просьбу дать мне борт, чтобы лететь на «боевые» в район Рухи. «Езжай сначала в ЦВГ, поброди там, — сказал он, — и посмотри, как война калечит человека. Остуди свой пыл, а тогда поговорим».

ЦВГ пыл мой не остудил, но помог еще раз убедиться в том, что, видя чужие, действительно тяжкие страдания, свои собственные переживания, до того казавшиеся безысходно тупиковыми, начинаешь воспринимать как сущий пустяк. Глядя на смертельно раненых, чувствуешь, как где-то на самом доньшке подсознания шевелится радостно-подлое: «Ух, не со мной! На этот раз — не со мной!»

...Сейчас я продолжал этот «вечерний обход» в поисках хоть одной живой души, пока не наткнулся на ведущего терапевта, человека средних лет, деловито резавшего на окровавленном табурете кусок мяса в одной из палат.

— Баранина, — вовремя пояснил он. — Начальник психиатрического отделения и я готовимся к прощальному ужину. Милости просим.

Мясо, истекавшее кровью в госпитальной палате, действовало на меня удручающе. Я отказался от приглашения, но не забыл попросить лекарств, которые, как надеялся, никогда мне не понадобятся. В здоровенном железном шкафу остались лишь таблетки седуксена, какие-то неведомые депрессанты и транквилизаторы. Я зачем-то набил ими карманы. Должно быть, из жадности.

Таблетки и впрямь так никогда мне и не пригодились. Их забрал у меня, обменяв на пару банок тушенки, десантник с меланхолически потусторонним взглядом, служивший на 42-й заставе близ Саланга.

Бросив пару «беленьких» в рот, парень пообещал «растянуть балдеж до самой до границы». Мало того что он знал наизусть медицинские названия каждой таблетки (реланиум, элениум, амитриптилин и т. д.), но и именовал каждую их них на своем смачном жаргоне. Помню лишь, что седуксен он прозвал «перпетуум кайф».

В прошлый приезд сюда я познакомился с парнем, лежавшим в психиатрическом отделении ЦВГ и обеспокоенным тем, что у него исчезла тень. Точь-в-точь как в пьесе Шварца, логично, с пафосом в голосе он доказывал, что человек без тени не может, не должен жить. Несколько раз он пытался покончить жизнь самоубийством. Этот случай всплыл в памяти уже в Москве, когда Леня Раевский, «афганец» — студент МГУ, поведал мне замысел своего киносценария, главными героями которого должны были стать ветераны Афганистана, вернувшиеся домой с войны. От всех прочих людей их отличает одно — отсутствие тени. Был тут погребен какой-то страшный смысл, до которого невозможно докопаться на трезвую голову. Вновь подумал тогда о том, что происходившее за стенами госпиталя и было истинным сумасшествием. А «психушка» ЦВГ — лишь место, где люди, потерявшие разум, скрывались от безумия, именуемого войной.

Прежде всего давала сбой психика у тех, кто с самозабвенной жестокостью воевал в составе десантно-штурмовых подразделений. Я знал одного из таких, прозванных здесь «рэмбовиками». Парень служил второй срок в Афганистане. Бросив в стакан с желтой жидкостью таблетку сухого спирта, пять ложек растворимого кофе и вылакав то месиво до дна, он сказал: «Водка — вода. Спирт — горючее. Понимаешь, тут у мужика с головой происходит то же, что у бабы во время аборта: рвутся логические

связи... Пить будешь?» Я отказался: от одного вида этой смеси у меня свело нутро в морской узел, а он, должно быть, посчитал меня придурком, с которым и разговаривать-то без толку, не то что пить.

Начальник психиатрического отделения ЦВГ, пришедший на прощальный ужин, сразу же отказался отвечать на мои вопросы.

Я спросил:

— Боитесь?

Он сказал:

— Разве человека, который видит перед собой лужу и не идет в нее, следует называть трусом? Мне пятьдесят. Я полковник. К чему же портить самому себе жизнь?

Логика его была пуленепробиваемой.

Я вышел во двор.

Солдат опять предложил мне сгущенку: на сей раз цена была ниже, но все равно не по карману командированному в Афганистан журналисту.

Прислонившись спиной к стене, содрогаясь, точно на электрическом стуле, всем своим миниатюрным телом, плакала женщина, одетая в военную форму. Слезы текли из ее глаз, оставляя на обветренных щеках тонкие, белесые от соли бороздки.

— Вы не с пересылки? — спросила она, перемагая судороги в горле.

— Нет, просто журналист, — ответил я и тут же пожалел, что я не с пересылки, потому что женщина разрыдалась пуще прежнего. Губы ее дрожали. Разлетные брови сошлись у переносья. — Я могу вам как-то помочь?

— Да как вы можете помочь в этом дурдоме? — Она по-детски, кулачками потерла мокрые глаза. — Вызвали меня сюда из Мазарей сделать один блатной аборт... Обещали отправить обратно — там все мои вещи остались — и забыли. Сегодня утром ездила на аэродром, погрузили нас всех в транспортники, вот-вот должны были взлететь... — она опять всхлипнула, — ...а потом согнали с борта и начали грузить армейские архивы. Все вещи мои разворовали...

— Прекратите истерику. — Резкий мужской голос раздался из-за моей спины. — И без тебя делов невпроворот.

Это был майор, выскочивший на улицу в одной тельняшке.

Он спросил:

— Вы кто?

Я сказал:

— Журналист.

— Прекратите реветь! — опять рявкнул он, подмигнув мне. — Видишь — журналист, так его и так... Ей-бо, прекрати!

— Да мне вот только сюдашенько печать постави-и-ить, товарищ майор, — жалобно завывала она, — подпиши и на пересылку отправи-и-ить...

Он повернулся ко мне.

— Не обращайтесь на бабу внимания, товарищ журналист. Как все бабы — дурная. Просто нервный срыв. Нештатная ситуация. Люди очень устали. Приезжайте завтра.

Я спросил:

— Но завтра здесь уже никого не будет, верно?

— Тогда не приезжайте завтра! Всего вам! — Он деланно улыбнулся, показав желтые, как дедово домино, зубы.

Майор взял женщину за руку и повел в модуль. На прощание она бросила мне через плечо жалкую улыбку.

Я прихватил эту улыбку с собой. На память.

II

С каждым днем наших войск в Афганистане становилось все меньше. 40-я армия отходила на север, словно море в отлив, и ты, заскакивая днем в безоружное сопольство, чувствовал себя — вместе со всей дипломатической братией — зайцем в лесу, кишащем волками. Теперь мы активно пытались примириться со всем лесом, а волков с недавних пор стали официально величать «вооруженной оппозицией».

Часто вспоминалась песенка, которую любил напевать знакомый парторг полка:

По дороге, по долине ехал полк в одной машине,
Но вдруг вышел серый волк — тогда мы его убедили:
Ты не бойся, старый волк, не щелкай зубами,
Мы кадрированный полк и тебя боимся сами.

Армия уходила, и в какой-то момент у журналистов отобрали давным-давно розданное им оружие — пистолеты «Макарова».

Под опустевшей нагрудной кобурой репортерское сердце забилось чуть быстрее.

Ветеран советского пресс-корпуса в Кабуле Лещинский подбавлял всех тем, что «Макаров» был нужен лишь для того, что-

бы в крайнем случае успеть пустить себе пулю в лоб: жизни бы он все равно не защитил.

— Ничего, — говаривал он, — при мне остались мои клыки!

И демонстрировал внушительный оскал, пожелтевший от здешней воды и сигарет «Мальборо».

По ночам пронзительно, словно нетопырь, кричал мулла: «Алла акбар! Алла акбар!» Раз за ночь ему обязательно удавалось меня разбудить.

Но однажды я проснулся в холодном поту от кошмарного сна. Снилось поле, усеянное трупами. Даже очнувшись, я явственно чувствовал неистребимый фиалковый запах мертвечины. Утром выяснилось, что просто-напросто сломался холодильник: он мелко, лихорадочно дрожал (тоже боялся, сволочь!) в гигантской луже крови, вытекшей из морозилки, которую мой предшественник месяца два назад плотно забил мясом. С тех пор на кухонном линолеуме остался, несмотря на все старания отчистить, отскоблить его, здоровенный кровоподтек.

Всякий раз пято напоминало мне про тот сон, но чаще это делала сама война. Как-то раз я раздобыл у приятеля «Толкователь ночных грез», чтобы разгадать суть видения, но оказалось, что до меня такая дрянь никому никогда не снилась.

— Глюки¹, брат, глюки! Но дальше — хуже, — успокоил меня один наш кабульский старожил.

Иногда облака по небу проносились со скоростью истребителей, хотя ветра не было и в помине. А когда он налетал, обрушиваясь на Кабул всей своей мощью, они вдруг неподвижно зависали, словно разбухшие белые вертолеты — души подбитых за десять лет Ми-8 и Ми-24.

Я часто вспоминал врезавшийся клинком в память визгливый фальцет коренастого майора из баграмской дивизии: «Ни пяди земли здесь нашей нет! Видишь квадрат тени под БТРом? Вот лишь его мы и контролируем». Но под тенью могло быть штук пять мин. Слова майора были красивыми, но разлетелись бы в прах вместе с броней, подорвись на одной из них бэтээр.

Опасность таилась за той горой, пряталась под этим вот камнем...

Я все чаще просыпался с головной болью, потому что даже во сне зубы мои были стиснуты до скрипа.

¹ Глюки — галлюцинации (жаргон).

С восходом солнца, споро пробивавшегося сквозь скорлупу мглы, город светлел, а я храбрел.

Правда, я чувствовал, как каждый новый день отвоевывает метр за метром безопасное пространство моего жилища: стены, казалось, надвигались на меня. «Ни пяди земли здесь нашей нет...»

Сквозь окно, закрытое стальной решеткой, жалюзи, газетами, одеялом и занавеской, пробивался отраженный от сверкающего глетчера утренний солнечный свет.

Я долго бился, пил желудевый напиток «Бодрость» и ехал в представительство какой-нибудь советской организации звонить по городскому телефону — договариваться об очередном интервью с очередным «крупным деятелем местного разлива» — и всякий раз читал на аппарате надпись, от которой неизменно веяло пронизывающим холодом: «Внимание! Враг подслушивает!»

Ни пяди земли... Баграмский майор был прав.

Еще с первого приезда в Афганистан я начал коллекционировать надписи — официальные и не очень — на вертолетах и на БМП, на прикладах АКМ и изнанке шлемов.

На тыльной стороне двери кабульского морга я прочел такую: «Веселись, юноша, в юности своей. Но помни — и это суета!» Ничего подобного я не нашел бы здесь ни в 80-м, ни в 81-м, ни в 82-м. Но с тех пор прошло девять лет. Менялись надписи, менялся и я.

III

Числу к 10 января я почувствовал, что мое кабульское житье подзатынулось, и стал готовиться к поездке на Саланг.

На южных подступах к перевалу намечалась крупная армейская операция. О ней шептались в городе. Официальных заявлений не было, но разговоры и в штабе, и в посольстве, и на журналистских виллах, и в дуканах крутились вокруг этой темы.

Призрак предстоящих боевых действий витал в колком прозрачном воздухе, постепенно обретая плоть в виде штабной нервозности, приготовлений к возможным контрмерам повстанцев — терактам и диверсиям в Кабуле.

На транспортнике Ан-12 ночным рейсом я добрался до Баграма и, выпросив там БТР, покатыл на север. Мин можно было не бояться: мерзлую землю не так-то просто нашпиговать взрывчаткой.

Проскочив баграмский перекресток, где прошлой весной погиб известинский фотокорреспондент Саша Секретарев, мы подбавили скорости.

Дорога, точно шлюха, виляла на поворотах, извивалась меж скал, взлетала и падала.

Напротив меня в транспортере сидел прапорщик с мраморным лицом и серыми губами. Тело его ритмично подергивалось. Похоже, он слушал никем, кроме него, не слышимую музыку и про себя танцевал. Танец начинался в глазах, захватывал губы и волной шел вниз. Плечи вытанцовывали рок-н-ролл, правый указательный палец с маслянистым колечком — видать, парню час-тенюк приходилось стрелять из АКМ — выщелкивал быстрый ритм. Во взгляде была отрешенность, словно на рок-концерте в «Олимпийском».

— Прапорщик! — позвал я.

Он не ответил.

— Прапорщик, слышь меня? — крикнул я.

Он сконцентрировал на мне свой блуждающий взгляд, лишь когда я крепко потряс его за плечо.

— Ты че? — спросил он, не шевеля серыми губами.

— Нормально себя чувствуешь?

— Я себя вообще не чувствую, а ты вот меня нервидуешь. На, послушай пару минут — и отзынь!

Он вытащил крохотные наушники из-под шлемофона и дал мне. Шнур от них вел в карман бушлата, где грелся дешевенький «уокман».

Я надел наушники и перенесся на «Концерт в Китае» Жан-Мишеля Жарра. Пару минут я плавал в волнах электронной музыки. Нажав на кнопку «Стоп», я вновь услышал рев БТРа — этот «тяжелый рок» войны.

— В Кабуле купил? — спросил я.

— Военный трофей, — загадочно улыбнулся он.

Парень служил в Афганистане по второму заходу.

Я спросил:

— Тебе одного раза показалось мало?

Он ответил:

— Понимаешь, старче, обрыдло мне все в Союзе. Иной раз случались приступы любви-тоски по этой Богом, но не мной забытой земле. Каждую ночь мне снился Афганистан, утром я смеялся, днем скулил, а вечером надирался до чертиков. Помню, как-то на очередной вечеринке дамочка средних лет ко мне подседа и

сказала: «Расскажите про войну». Я спросил: «Что вас, мамаша, интересует?» — «Ну, — ответила она, — например, приходилось ли вам убивать людей? Что вы при этом чувствовали?» Я психанул, сорвался, заорал на нее: «Вы понимаете, ЧТО вы меня спрашиваете?! Нет, вы понимаете, о ЧЕМ вы только что меня спросили? Нельзя об ЭТОМ вот так, как вы, спрашивать! Понимаете нельзя-я!» Утром я проснулся с уже готовым решением ехать сюда опять. Ночью той снились московские православные церкви, но с исламской символикой — месяцами на куполах... Гони обратно мои наушники!

Оставшуюся дорогу он ехал, плотно сжав зубы. Его лицо белело лунной в мглистых внутренностях брони.

Темнота растворялась в сверкающем горном воздухе. День становился ночью. Кровоточащее солнце медленно сползло за горизонт, где-то там, у себя в берлоге, отлеживалось, зализывало полученные накануне раны. Но к утру опять выглядывало и с опаской шло к зениту. Словно на жертву. И так каждый день.

Солнцу тоже досталось на этой войне. В него стреляли от нечего делать солдаты. Его проклинали, когда оно светило противнику в спину, а тебе в глаза и слепота не позволяла вести прицельный огонь. На его восход молились мусульмане и наши летчики — когда по ним стреляли из ПЗРК самонаводящимися на тепловой источник зенитными ракетами. И если везло, ракеты уходили к солнцу.

Я как-то подсчитал, что половину всего времени, проведенного в Афганистане, затратил на дорогу, добираясь из одной точки в другую. Дорога эта иногда тянулась по воздуху, часто проходила сквозь просверленные скалы, бежала по земле. Она бывала скучной и страшной, дневной и ночной, покрытой льдами и песками, асфальтом и кровью. Десятки людей составили мне компанию за время перелетов и переездов, которым я давно потерял счет. Многих помню. Иных позабыл.

Все здесь увиденное и услышанное, понятное и нет, испытанное и прочувствованное, задуманное, но не осуществленное, обещанное, но не выполненное, мечтавшееся, но не сбывшееся — все это так или иначе связано дорогой, которая Бог знает откуда и куда ведет. Сколько истин открыли, подарили или невольно поведали мне люди, встретившиеся на Дороге.

Помню парня с едва приметной дырочкой от серьги на розоватой мочке правого уха. Саму серьгу он надевал по ночам, а по

утрам снимал. Странную фамилию носил он — Пепел. Было ему не больше двадцати в то лето. За пару дней до «дембиля» и отлета в Союз я сказал ему, похлопав по плечу: «Ну, брат, теперь жить и жить — на полную катушку!» Пепел изумленно поглядел на меня из своей дали, хотя стоял в двух метрах, и ответил: «Черт побери, да я же весь седой внутри...»

В джелалабадской бригаде встретился мне сержант по прозвищу Мамочка. Он не вышел ростом, и вся та сила, которая должна была пойти в рост, пошла в пронзительность взгляда. Словно мазохист, он радовался тому, что его бросила подруга в Харькове. На мой недоуменный вопрос он ответил коротко, но ясно: «Теперь будет легче воевать... На войне проще, когда человек несчастен. Меньше теряешь». Мамочка прощально улыбнулся и пожелал удачи. Но в глазах его я прочел: «Чтоб ты, гад, сдох со своей безмятежной московской жизнью!»

В Кабуле мне рассказывали про парня, чуть было не попавшего в психиатрическое отделение из-за маниакальной депрессии, в бездну которой вогнала его война. Мысль о самоубийстве медленно, но верно грызла его мозг и, возможно, догрызла, если бы не «счастливый» случай — контузия, в результате которой парень просто-напросто забыл свое прошлое. Он был счастлив, потеряв память. Однополчане по очереди рассказывали ему историю его жизни, но он все время задавал один и тот же вопрос: «Ребята, а чего я делаю в Афганистане?» Но никто не мог дать ему вразумительного ответа.

IV

Прапорщик с «уокманом» соскочил где-то на подступах к чарикарской «зеленке», а мы покатали дальше. Скорость пришлось сбросить — дорога была запружена полковыми тылами.

Окрепший к вечеру морозец схватил лужи, отражавшие покрасневшее небо, и трасса покрылась хрусткой корочкой льда. На глаза попался беспомощно лежавший на обочине БТР с хвостом неведомого зверя на антенне. Под хвостом дрожал от ветра самодельный бумажный флажок, надпись на котором гласила: «Едем домой — не стреляйте!» По дороге между машинами сновали жители окрестных кишлаков — преимущественно одетые в советские армейские бушлаты и вооруженные нашими же автоматами.

— Фирменные «духи», — кивнул на одного из них механик-водитель, когда мы в очередной раз остановились. — Из ахмад-шаховских банд. Но, поскольку «боевых» уже давно не было, и мы, и они придерживаемся дружественного нейтралитета.

К нашему БТРу подбежал бачонок и, озорно блеснув улыбкой, крикнул мне:

— Эй, командор, давай быстрее у... в Москва!

Когда-то русский мат в устах афганских мальчишек невольно коробил меня. Но потом я привык относиться и к этому с юмором. Один из наших советников однажды пошутил: «По крайней мере, хоть ругаться по-нашему мы их научили. И то дело!»

Я спросил бачонка:

— Эй, бача, поедешь со мной в Москву? Давай залезай в машину!

— Нет, командор, Москва — ...!

— Бача, а где хорошо? — вылез из люка черномазый водитель.

— Ахмад Шах — хорошо! А Москва твой — ...!

— Грубиян ты, братец! — улыбнулся водитель.

Бачонок что-то по-своему крикнул и побежал, сверкая голыми щиколотками.

Чарикарская «зеленка» теперь осталась позади и лежала, раскинувшись от горизонта до горизонта черным безмятежным морем. Воздух над ней был серым и прогорклым от сотен печных дымов, тянувшихся ввысь, сплетавшихся там и превращавшихся в акварельные рисунки абстракциониста. Афганцы жгли все, что попадалось под руку: резиновые покрышки, хворост, солярку из трубопровода и даже изношенные дырявые калоши с клеймом «Сделано в СССР».

Неподалеку шумела река, время от времени с отчаянным звоном взрывая толстую корку льда, пенясь вокруг горбатых валунов.

Сидевшие на обочине комендачи¹ в когда-то белых, а теперь ставших серыми овчинных полушубках грели ладони над ведром горячей соляры. Рядом лежал на брюхе танк, зарывшись правой гусеницей в серый сугроб. Метрах в двадцати от него чернела обугленная башня, устремив в небо расквашенную пушку. Я присоединился к сгрудившимся вокруг огня солдатам и, выпив горячего чаю из раскаленной фляги — в моей позвякивали льдинки, — вскоре потопал в направлении КП дивизии.

Силы ее были растянуты на многие десятки километров вдоль дороги. Ушла на север тыловая колонна, но в Кабуле еще остава-

¹ Служащие в подразделениях военной комендатуры (*солдатский жаргон*).

лись два мотострелковых и один артиллерийский полк. Два мотострелковых полка стояли близ городка Джабаль-Уссарадж. Предполагалось, что дивизия будет идти в арьергарде армии на дорожном отрезке от Кабула до Джабала, как наши иной раз именовали этот городок. Около пяти тысяч людей отправятся в Ташкент на воздушных транспортниках Ил-76.

Девять лет войны крепко потрепали дивизию. Наибольшие потери пришлось на 84-й год, когда проводилась изнуряюще длительная Панджшерская операция.

Во время боевых действий против повстанческих отрядов Ахмад Шаха Масуда многие люди померзли в высокогорных снегах, другие подорвались на минах, оставленных в Панджшере еще со времен такой же кампании 82-го года.

Операция «Панджшер-84» проходила нескладно, много было несостыковок, обернувшихся лишними жертвами. За один день в последних числах апреля в одном лишь батальоне дивизия потеряла сразу семьдесят человек. Батальон двигался по Панджшере вдоль реки на юг. По левому берегу шли две наши роты и одна афганская, по правому — одна наша и две афганские. Комбат находился справа. Жара стояла умопомрачительная. Противника не видать. Было принято решение не перенапрягать людей, идти не по тактическому гребню, а вдоль русла, не занимая высот. Но на КП полка передавалась ложная информация. Поэтому командир полка, в свою очередь, докладывал наверх о занятии то одной, то другой господствующей высоты.

Усталость брала свое. Комбат дал команду на перекур. Люди опустили на горячую землю, упершись спинами в РД. Дремотная тишина прерывалась лишь позвякиванием автоматов да чирканьем спичек. Запахло сигаретным дымком. В тот самый момент из трех точек батальон был атакован «духами». Ливень пуль обрушился на солдатские головы, распластывая и кромсая тела, вдавливая их в землю. Комбат рванулся в реку. Успел крикнуть: «Бата-а-лье-е!..» Его мало кто слышал. Комбат сделал еще несколько шатких шагов по пенившейся быстрой речке в сторону левого берега, но нечеловеческой силы удар в лоб вырвал сознание. Комбат повалился в воду, и река понесла на юг красные пряди его крови...

Несчастья в тот роковой апрель шли пулеметной очередью — одно за другим. Несколькими днями раньше «трачи» поднятые с Баграмской авиабазы, двинулись на Панджшер, но ущелье было закрыто и штурмовиков отправили на запасные цели. В районе одной из них вели боевые действия части нашей воздушно-десан-

тной дивизии. Не разглядев толком, что и кто там внизу, они обрушили БШУ¹ на головы своих же солдат.

В тот же месяц вызванные на подмогу вертолетчики, приняв за повстанческий отряд роту нашей мотострелковой бригады, действовавшей неподалеку от того места, где я сейчас находился, нанесли удар НУРСами по ее позиции. Один из офицеров штаба ТуркВО², пытаясь защитить вертолетчиков, свалил всю вину на афганский мотопехотный полк. Но эта деза не прошла, так как в ходе расследования было установлено, что все ранения осколочные, а не пулевые...

Словом, всякое бывало на этой войне, и она отнюдь не ограничивалась лишь победными рапортами, чаще всего (и то лишь с 86-го года) попадавшими в прессу...

— Чаю хотите? Здорово намерзлись? — Начальник политотдела дивизии подполковник Иванов, не дожидаясь ответа, бросил мне в кружку столовую ложку душистого грузинского чая. — Чарикар — это вам не Форт-Беннинг в жарком штате Джорджия. Снимайте бушлат и расстаньтесь наконец со своим автоматом. На сегодняшний вечер война отменяется. Вы с сахаром?

Я много слышал о Николае Васильевиче Иванове от своих друзей, но ранее встречаться с этим человеком мне не доводилось. По оценкам людей, которым приходилось сталкиваться с ним и на «боевых», и в повседневной жизни дивизии, Иванова отличали редкая порядочность, светлый ум, умение смотреть широко и вместе с тем видеть полутона.

Но меня он поразил своей деликатностью. Слово это на первый взгляд как-то не очень вяжется с армейским бытом, но точнее определения не подобрать. Да и язык его, манера говорить, сам голос, спокойный и мягкий, резко выделялись на общем фоне. Известен он был еще и тем, что в свое время отказался от присвоения ему звания полковника: считал, что еще недостойн. А это, согласитесь, ЧП. В хорошем смысле. Полковник, служивший в одной с Ивановым дивизии, но запятнавший руки излишней кровью и отвратительной грязью, говорил мне со злостью (после того, как Николай Васильевич воспрепятствовал его стремительному восхождению на предгорья военного олимпа), что по этому «правдоискателю тоскует дурдом».

¹ БШУ — бомбово-штурмовой удар.

² ТуркВО — Туркестанский военный округ.

— Вам не мешает ваша деликатность? — спросил я Иванова. — Ведь в армии это воспринимается скорее как недостаток, нежели плюс.

— А по-моему, — ответил он, — нам в армии как раз и не хватает вежливости, уважения. Грубостью и хамством дисциплину не поднять. Солдат скорее откликнется на доброту, нежели на злость. А у нас некоторые привыкли черствость называть требовательностью, бездушие — порядком. Я в данном случае имею в виду не только армию, но и общество в целом. Одно от другого не оторвешь. Ведь если посмотреть в корень многих наших армейских ЧП, то легко заметить, что они проистекают не только из разгильдяйства, непрофессионализма, но зачастую именно из дефицита доброты. В том числе и самоубийства...

Да, и мне, так же как и Иванову, не давала покоя мысль, что во время войны наши люди гибли не только от рук повстанцев, но и в результате самоубийств, которые стали страшной приметой армейской жизни.

...Старший лейтенант заметил, что у солдата волосы длиннее, чем положено. Оседлал солдата. Как коня. Стал его стричь. После этого слез с него. Еще раз убедился в том, что длина волос соответствует Уставу. Погрозил солдату указательным пальцем. Пошел к себе в модуль. Солдат посмотрел на себя в зеркало. Взял автомат. Догнал старшего лейтенанта. Застрелил его. Пошупал его пульс. Убедился в том, что старший лейтенант мертв. И после этого покончил с собой.

...Во время физподготовки старший лейтенант сделал резкое замечание старослужащему и объявил наряд вне очереди. Старослужащий воспринял это как оскорбление его «дедовского» достоинства. После физподготовки старослужащий пошел в комнату офицерского модуля, где находился старший лейтенант с товарищами. Солдат остановился у порога. Разжал кулак. Выдернул чеку из гранаты. Швырнул ее в старшего лейтенанта. Промаяхнул. Граната взорвалась над койкой. Офицеры успели выскочить из помещения. Осколки посекали стены. Поняв, что старший лейтенант жив, парень кинул в него вторую гранату. Пока она летела, старший лейтенант успел одним прыжком выбросить свое тело в коридор. Солдат не стал гоняться за ротным. Он вошел в его комнату. Взял с тумбочки ПМ¹. И пустил себе пулю в висок...

¹ ПМ — пистолет «Макарова».

— Пропавшие без вести? — переспросил Иванов. — Конечно, и такое было. Причем не раз. Вот гляньте-ка на эти списки...

Он протянул мне папку с ворохом бумаг. Я начал читать. Фамилии, имена, отчества, номера частей, даты рождения и краткие справки замелькали перед глазами. Минут через пять взгляд мой, точно клин, воткнулся в самую середину пятой страницы:

«...Рядовой Деревляный Тарас Юрьевич. В. Ч. П/П 518884. Наводчик-оператор. 11.09.68 года рождения, город Ходоров Львовской области. Призван 14 ноября 1986 года Яворовским РВК Львовской области. Украинец. Член ВЛКСМ. Отец: Деревляный Юрий Тарасович. Пропал с оружием без вести 2 июля 1987 года...»

— Что с вами? — спросил Иванов.

— Я знаю этого человека.

— Деревляного? — Иванов ослабил ворот на шее.

— Деревляного. Более того — разговаривал с ним.

— В Афганистане?

— В Нью-Йорке.

— Погодите минуту. Я должен позвать офицера особого отдела...

Особист, как я и предполагал, оказался человеком крайне немногословным. Без каких-либо запоминающихся черт лица — в этом, видно, и заключалась его главная особенность. Он разглядывал меня внимательно, и в его глазах ясно читалась смесь любопытства и настороженности. По-моему, он никак не мог определить своего отношения ко мне и потому предпочитал слушать, но не говорить.

— Вы, — спросил Иванов, — виделись с Деревляным до или после объявления амнистии?

— После.

— Я понимаю, что вы устали, — Николай Васильевич бросил полтора кусочка сахара в свою кружку, — но без рассказа об этой встрече я вряд ли смогу отпустить вас спать.

Сотрудник особого отдела достал из нагрудного кармана блокнот и шариковую ручку.

— Хорошо, — согласился я, — но за это вы мне подробно расскажете про вашу жизнь, дивизию и войну. Идет?

Иванов улыбнулся.

— Идет.

Офицер особого отдела что-то пометил в своих записях.

Нью-Йорк плавился под перпендикулярными лучами полуденного солнца. Люди чувствовали себя не лучше, чем бройлеры в электродуховке. Казалось, стонали от изнеможения даже призраки некогда роскошной растительности, что много десятков лет назад, на заре прошлого столетия, оказалась погребенной под улицами и домами гигантского мегаполиса. Сквозь кору асфальта прорастали невидимые дикие каштаны, тутовники и дубы. Горожане прилипли к кондиционерам, тщетно охлаждавшим раскаленный воздух, пропитанный асфальтовыми испарениями и приторными запахами отработанного бензина.

Поэтому Крейг Капетас и я несказанно обрадовались, когда наконец добрались до небольшого (по американским меркам) здания, в котором расположилась правозащитная организация «Дом Свободы». В десять часов утра там должна была начаться пресс-конференция¹ шести бывших советских солдат, когда-то воевавших в Афганистане, но оказавшихся по разным причинам в плену, потом освобожденных и вывезенных в США.

Сопровождавший меня Капетас работал старшим литсотрудником вашингтонского ежемесячника «Регардис», предложившего «Огоньку» осуществить двухнедельный обмен журналистами. «Огонек» дал согласие, и я, превратившись в специального корреспондента «Регардиса», должен был через несколько дней вылететь в Атланту, чтобы написать серию очерков для этого журнала.

В моем нагрудном кармане лежало удостоверение внештатного корреспондента «Регардиса», помогавшее мне в тех случаях, когда не срабатывало огоньковское удостоверение.

В «Доме Свободы» уже суетились репортеры, устанавливая телевизионную аппаратуру и осветительные приборы. Вскоре послышались шаги и в конференц-зал вошли шесть молодых людей — Мансур Алядинов, Игорь Ковальчук, Микола Мовчан, Владимир Ромчук, Хаджимурат Сулейманов и Тарас Деревляный. Пока они занимали места за длинным столом, ломившимся от обилия микрофонов, я успел взять со стенда несколько брошюр, выпущенных издательством «ДС». В одной из них я прочел, что четверо участников конференции совсем недавно

¹ Пресс-конференция состоялась 14 июля 1988 года.

прибыли в Америку, но Мовчан и Ковальчук живут здесь уже несколько лет.

Наше отношение к солдатам и офицерам, попавшим в плен в Афганистане, эволюционировало по мере изменения взглядов на характер самой войны.

И все же на вопрос о том, как относиться к человеку, закончившему войну не 15 февраля 1989 года, а, скажем, в 1982-м и подписавшему свой сепаратный мир, я до сих пор не могу найти однозначного ответа без всяких там «с одной стороны — так, а вот с другой...» Но, быть может, такого ответа вообще нет?

Началась пресс-конференция. Первым выступил Ромчук. Он поблагодарил за предоставление убежища правительство США и лично президента, который помог освободить их из плена. Много хороших слов было сказано в адрес «Дома Свободы», русских и украинских эмигрантских организаций, позаботившихся о пленниках. Особая благодарность была выражена моджахедам. Потом слово взял худенький паренек со светлыми волосами. То был Мовчан.

— Приятно видеть, — сказал он, — что наконец СССР начал беспокоиться о своих людях — я имею в виду объявленную амнистию. Однако в чем ее гарантии? Пока их нет. — Он говорил с сильным украинским акцентом, время от времени употребляя английские слова. — Гласность не достигла того уровня, когда все вопросы без исключения можно было бы обсуждать в открытой прессе. Что будет с нами, если мы вернемся, а в СССР произойдет очередное изменение политики в отношении пленных? Ведь у нас не будет права на независимую защиту, мы не сможем обратиться в прессу, чтобы отстаивать себя и свои дела.

Хотя в СССР в последнее время много пишут о нас, были статьи и о Рыжкове¹, мы не считаем это достаточным. Мы ничего не слышим о наших товарищах, вернувшихся в СССР из Лондона. Из Швейцарии возвратилось около десяти человек, а не двое, участвовавших в московской пресс-конференции...

¹ Бывший советский военнопленный Н. Рыжков, вывезенный в США, по собственному желанию вернулся в СССР еще до объявления амнистии 88-го года. И хотя нашими консульскими работниками в Нью-Йорке ему была гарантирована свобода по возвращении, он, прибыв домой, вскоре оказался в тюрьме. Теперь он на свободе.

Тарас Деревляный начал неуверенно, тихо. Смотрел себе под ноги. Лишь дважды глянул в зал исподлобья.

— Я полностью согласен с тем, что говорилось до меня... («Это, братец, — мысленно сказал я ему, — у тебя осталось от наших комсомольских собраний — не вытравишь!») В амнистию, может быть, я бы и смог поверить, но я живу здесь, в Америке, уже три месяца. И мне тут очень нравится.

От этих слов потянуло откровенным подхалимажем, но каким-то уж очень детским. Я невольно поморщился. Так ведет себя беспризорный щенок, стремясь понравиться человеку, подбравшему его на улице в стылый мокрый день.

— Меня Америка приняла, — продолжал он, вскинув голову и потрянув волосами, — дала мне работу. Я буду учиться. Там, — он почему-то кивнул в дальний угол конференц-зала, — у меня такой возможности не было.

Я опять мысленно спросил его: «Это почему же?!»

— Я не хочу возвращаться домой, — он неожиданно усилил голос. — Как отнесутся ко мне люди, если я вернусь? Чисто психологически... Скажут: удрал, а теперь возвратился! Скажут: он предатель! Мне не нужна амнистия! Я буду жить в Америке! Я отрекаюсь от советского гражданства!

Последние слова он почти выкрикивал.

Вернувшись в гостиницу, я долго не мог заснуть и лежал, уничтожая сигарету за сигаретой, прокручивая в голове события, встречи и разговоры последних дней. Прежде всего — услышанное сегодня от бывших военнопленных.

По-разному относятся в Союзе к тем, кто вернулся домой из плена. Особенно к тем, у кого была промежуточная «остановка» где-нибудь на Западе. Как-то раз, выступая перед ветеранами-«афганцами», я сказал, что нельзя огульно охаивать всех военнопленных, необходимо разбираться в каждом отдельном случае.

Послышался свист. Он был мне понятен.

В другой раз пришлось выступать перед собранием московской творческой интеллигенции, где я высказал ту же мысль. Раздались негодующие крики. Но с другим знаком.

Игорь Морозов, воевавший в Афганистане и написавший теперь уже знаменитую песню «Мы уходим, уходим, уходим...», рассказывал о том, как в самом начале войны его рота получила приказ уничтожить дезертира, убившего при побеге двух советских солдат. «Тот парень, — сказал Морозов, — сейчас ошивает-

ся где-то в Штатах. Если он посмеет сюда вернуться, — Игорь посмотрел на свои руки, — я убью его, невзирая ни на какие амнистии». В мае 89-го на концерте в московском Театре эстрады он повторил те же слова. Зал откликнулся на них овацией.

Все еще слыша те яростные аплодисменты, я провалился в сон. Проснулся под гаубичные глухие выстрелы.

VI

Утром, после первого за несколько дней горячего завтрака в компании подполковника Иванова, я пошел в медпункт переговорить с Мишей Григорьевым — начальником передвижной санитарно-эпидемиологической лаборатории. Он обещал дать мне несколько таблеток для дезинфекции воды.

У входа в медпункт на морозе лежали два трупа. Они были обернуты в фольгу. Чтобы ее не срывал горный ветер, тела погибших перетянули вдобавок несколькими витками бинта. Утреннее солнце играло лучами по фольге. Металлическое сияние не вязалось с ее мрачным предназначением. Серебристые свертки напоминали новогодние хлопушки.

Еще два часа назад сержант Кипер и рядовой Жабраев вместе с лейтенантом Горячевым ехали на машине по дороге Баграм — Джабаль-Уссарадж. Им оставалось всего ничего до КП дивизии, но их МТЛБ¹ попал под перекрестный огонь двух повстанческих отрядов. Пуля прошла насквозь голову водителя Жабраева, машина пошла юзом по льду, перевернулась. Киперу спастись не удалось. Горячева отвезли в Пули-Хумри. Он лежал в тамошнем госпитале без сознания. Врачи надеялись, что выживет.

— Ничего, — сказал Григорьев, — выкарабкается. Организм здоровый.

Горячев не выкарабкался. Он скончался сутками позже, так и не придя в сознание.

— Надеюсь, — Григорьев, прищурившись, кивнул на погибших, — они последние в этой войне.

Но он опять ошибся.

С его братом, тоже военным врачом, я познакомился недавно в Баграме. Всякий раз, бывая в том боевом медсанбате, я вспоми-

¹ МТЛБ — малый тягач, легкий, бронированный.

нал июль 86-го. Тогда я увидел там солдата, у которого вся кожа сгорела в подбитом вертолете. С такими ожогами человек не мог жить, но тот раненый жил. Каждые два часа ему кололи наркотик. Медсестре, не отходившей от него весь день, он говорил, что не жалеет о том, что поехал в Афганистан. Парень дотянул до вечера.

Ночь провел уже в морге.

Жена, которую он оставил в Ленинграде, говорила потом, что «если бы Женька не поехал в Афганистан, он нашел бы какой-нибудь другой способ самоубийства».

Но баграмский Григорьев не знал о таком случае — его тогда еще здесь не было. Мы говорили с ним в передвижной операционной.

— За год через наш медсанбат, — сказал он, — проходили тысячи раненых. Самые «мраки» были в 84-м и 85-м. Если за весь 88-й год мы произвели порядка пяти — десяти ампутаций, то за 85-й — двести шестьдесят четыре. Цифры эти, ясное дело, не учитывают афганских раненых. Конечно, — развел он руками, — тяжело приходилось.

Григорьев распахнул дверь, и в операционную ворвалась струя воздуха с запахом горелой бумаги.

— Это мы письма сжигаем: люди-то, — пояснил Григорьев, — уже уехали в Союз, а почта все идет... Мы вот уходим, а как они, — он кивнул на шедшего по аллее афганского военного летчика, — без нас останутся, не знаю. Не научились они у нас — это трагедия. Показываю на днях их врачу трехзубый крючок, а он понятия не имеет, что это за штуковина... Недавно привезли раненого с проникающим ранением в живот: два отверстия — входное и выходное. Афганский хирург берет обычные черные нитки, какими я штаны себе зашиваю, и начинает штопать отверстия. И все!

Вошел фельдшер, взял с тумбочки целый ворох каких-то склянок и тут же исчез. Его белый халат растаял в темноте.

— Но я, — задумчиво произнес Григорьев, — чист перед афганцами. Чист перед самим собой. Я лечил людей, в меру сил старался их спасти. Вот через несколько недель меня тут не будет. А я не знаю, радоваться мне или плакать. Такое ощущение, будто в Союз еду доживать жизнь. Здесь я выложился до конца. Такого у нас никогда уже не будет. Может, такое и не нужно, не знаю...

Он помолчал минуту. Зачем-то завел часы, хотя последний раз делал это минут тридцать назад.

— Я, — сказал он шепотом, — очень боюсь возвращения. Очень.

В глазах его печаль перемешалась со страхом.

В старости так боятся запаха сырой земли, в детстве — ночной темноты. а в зрелости — неудач.

Джабальский Григорьев в будущее смотрел спокойно. Отвалив целую пригоршню таблеток — каждая размером с пятак, — он на прощание пожелал мне сохранить то, что есть: жизнь.

— Больше ведь нам ничего и не надо, — кинул он.

А я вспомнил Баглан, 1987 год, апрель, воскресенье, шесть часов утра.

Бои шли с девятой на восьмую улицу. Группировка Гаюра сопротивлялась отчаянно. Уже две недели наша дивизия держала ее в непробиваемом кольце, но уничтожить не могла. «Духовский» гранатометчик с расстояния в триста метров прямой наводкой попал в нашего солдата на блоке.

Все, что осталось от человека, уместилось в гильзе от ДШК¹.

Ни одно слово из того длинного набора слов, изобретенных для определения смерти человека, в данном случае не подходило, потому что не о ком и не о чем было сказать: умер, погиб, скончался, отдал Богу душу. Не годился и солдатский жаргон с его «гукнулся», «улетел», «сказал, чтоб довоевывали без него», «взял планку», «ушел в мраки», «дембильнулся досрочно», «ушел в запас»...

VII

Полковник Сергей А...ко отвоевал в Афганистане двадцать один месяц. Долгое время командовал джабальским полком, но осенью 88-го был назначен замкомдива.

Хотя силы дивизии были растянуты вдоль дороги от Кабула почти до перевала Саланг, А...ко по-прежнему находился преимущественно в зоне ответственности своего бывшего полка, потому что знал ее лучше других.

Был А...ко высок ростом, широк в кости. Лет — не больше сорока. На его подбористой фигуре ладно сидела военная форма. Серые глаза зверовато глядели из-под мощных надбровий, припорошенных россыпью пшеничных волос. Волевая линия

¹ ДШК — крупнокалиберный пулемет.

крепкого породистого носа делила остроскулое лицо пополам. Сквозь смуглую кожу тщательно выбритых щек пробивался едва приметный румянец. Золотистая полоска аккуратных усов прикрывала рот, очерченный несколькими сильными короткими штрихами.

— Вот он, человек, на которого должна равняться армия! — шепнул мне кто-то, обдав промерзшее насквозь ухо горячим дыханием.

Я оглянулся, но позади никого не было.

А...ко зло сплюнул окурок, машинально проследив за его стремительным полетом.

— В последний год с «духами» крепко закорешились, — сообщил он негромко, — прямо закадычными друзьями стали. Однако же полагаться на это нельзя. Восток — дело темное и хитрое. Говорят одно, думают второе, делают третье. Так-то. Словом, усиливаем маршрут как можем. На днях пришли два батальона — десантники и мотострелки. Сейчас занимаемся размещением людей на заставах. Тесновато, конечно, но жить и воевать можно. За Северный Саланг я не боюсь: там исмаилиты прочно оседлали маршрут. Тут, на южных подступах к перевалу, посложней. Именно здесь сейчас сосредоточены мощные силы Ахмад Шаха. Одна лишь группировка Басира насчитывает более четырехсот штыков. Они полагают, мы скоро начнем здесь боевые действия. Но я по мере сил успокаиваю и Басира, и прочих командиров. Я сказал им: если вы обеспечите безопасность вывода наших войск через Саланг, мы усиливать маршрут не будем. Я предложил подписать договор, который обязал бы их охранять дорогу от нападений других повстанческих отрядов, пропускать колонны афганских регулярных войск, а нас — воздерживаться от «боевых». И они отказались, заявив, что устное слово мусульманина — закон. В общем, поглядим-посмотрим... Хотите курить?

— У вас какие? — спросил я.

— У нас «Ява», а у вас?

— У нас «Лихерос» — остатки кабульских запасов, — я достал вскрытую пачку.

— Estos cigarros! Madre mia!..¹ Можно взять одну? — спросил подошедший к нам комбат Абрамов.

— Пожалуйста, — ответил я. — Откуда вдруг испанский на подступах к Салангу?

¹ Какие сигареты! Мамочка родная!.. (исп.)

— Как откуда? — усмехнулся Абрамов. — Из Кубы, вестимо! Там тоже пришлось отслужить. А тут двадцатый месяц пошел. Куба — самое светлое пятнышко в жизни... Семьдесят третий — семьдесят пятый... Золотое времечко! Тоже там купались?

— Не довелось, — ответил я. — Просидел как-то целый день в аэропорту: по усам текло, а в рот не попало.

— Гавана-мама! — Абрамов вкусно, глубоко затянулся. — Ладно, братцы, мне пора — надо объехать заставы.

— Батальон Абрамова, — А...ко махнул рукой ему вслед, — растянут на тридцать семь километров по маршруту, семнадцать сторожевых застав, не считая выносных постов. Где-то все время что-то происходит.

Я сказал:

— Пока что здесь, на дороге, — а она стратегическая, — не видать регулярных афганских войск. Дивизия уйдет на север через несколько недель. Кто же будет контролировать трассу?

— В этом вся проблема. — А...ко стряхнул кончиком указательного пальца прилипшие к усам крошки табака. — «Духи» на пушечный выстрел не подпускают к дороге «зеленых»¹.

— Попытаются ли повстанцы занять наши заставы, когда мы уйдем?

— Почем я знаю... — А...ко защебил зубами спичку. — Вообще-то им нет нужды в этом. Они вполне комфортабельно чувствуют себя в своих же кишлаках. Ведь все здешние банды состоят из местного мужского населения. Главари — тоже выходцы из здешних районов.

— Вы имеете в виду Басира? — спросил я.

— Да, — ответил А...ко, — и Басира, и Малагауса и других. Недавно была встреча с Малагаусом. Когда я увидел его, попытался по афганскому обычаю коснуться своей правой щекой его правой щеки — в знак особого расположения. Но он меня остановил. Отвел в сторону от своей охраны и говорит: «Командор, не надо этого делать. Ты ведь подрываешь мой авторитет в глазах бойцов. Мы с тобой живем как соседи — ты у себя на заставе, я — в родном кишлаке. Но никаких сделок у нас с тобой нет». Так и сказал. Гордые, бестии...

По дороге промчался БТР, обрызгав нас с ног до головы грязью.

— Мерзавец! — прошипел А...ко, смахнув брызги с бушлата. — Раскатались, понимаешь...

¹ «Зеленые» — афганские регулярные войска (солдатский жаргон).

— Что собой представляет Басир? — спросил я и отошел на обочину: подпрыгивая на колдобинах, на нас мчал КамАЗ с пустым кузовом.

— Мудрый мужик этот Басир, — А...ко улыбнулся одним уголкем рта. — Народ местный любит его, уважает. И, конечно, боится. На нем всегда американская военная куртка, черные противосолнечные очки. Про Союз знает все. Как-то меня спросил: «Командор, как дела в Армении?»

— Я могу с ним встретиться?

— Исключено. Он обращается лишь с теми, кого уже проверил и кому доверяет, с комбатом Абрамовым и мною. Когда я иду на переговоры с ним, не имею права взять с собой даже нового переводчика. Незнакомое лицо сразу его насторожит, он просто-напросто не явится.

— И все-таки спросите его — вдруг согласится? Скажите Басиру, что мне приходилось встречаться не только с полевыми командирами повстанцев, но и с Гейлани¹.

— Вы — с Гейлани?! — недоверчиво переспросил А...ко. Сигаретка его потухла.

VIII

Сквозь затянутое грязными облаками небо сочился на землю серый свет. Люди обходили принарядившиеся магазины, покупали друг другу подарки, возвращались домой с покупками, обернутыми в пеструю хрусткую бумагу. По вечерам в окнах зажигались елочные огни. В воздухе пахло скорым Рождеством. Музыка предпраздничных дней, которые порой веселее, чем сам праздник, захватила Англию, в такт ей плескалось море в портах, двигались прохожие.

В один из таких дней прибыл в Лондон повидать свою семью лидер Национального исламского фронта Афганистана (НИФА) Саид Ахмад Гейлани.

Фронт был создан в 1978 году. Его штаб-квартира располагалась в Пешаваре, а филиалы партии — в Кветте, Мирамшахе, Чамане и Парачинаре. В состав руководящих органов партии вошло несколько комитетов: военный, по вербовке новых членов,

¹ Гейлани — один из лидеров афганской вооруженной оппозиции, представленной «пешаварской семеркой».

контрразведки, по делам беженцев, культуры, связи и финансовый.

Еще в 78-м НИФА провозгласил своими целями священную войну против «неверных» и иностранной агрессии, свержение существующего режима, установление республиканской системы на основе «ислама и национализма». Фронт известен прочными связями с бывшим королем Афганистана Захир Шахом.

Особенно крепки позиции партии в афганских провинциях Кабул, Нангархар, Партия и Пактика.

Сам Гейлани — он имеет высший духовный титул пира — родился в 1931 году в семье потомственных хазратов-накибов. В юности получил солидное образование, овладел четырьмя языками. Могущество его основано не только на религиозном авторитете или мощных вооруженных силах, но также и на внушительных финансовых средствах, которыми располагает семья.

Вооруженные отряды Гейлани на протяжении девяти лет войны здорово досаждали как правительственным войскам Афганистана, так и нашей 40-й армии¹. Нетрудно было вообразить себе его отношение к СССР и НДПА, но особенно к афганским органам госбезопасности, от рук которых еще в конце 70-х пали многие его личные друзья и соратники.

Размышляя над этим, я вошел в роскошный многоэтажный дом неподалеку от Гайд-парка. В холле легким поклоном меня приветствовал седоголовый портье. Швейцар, от которого пахло дорогим одеколоном «Дракар», проводил меня до лифта. Нажав нужную кнопку, я взлетел наверх.

Ни портье, ни швейцар не обронили ни единого слова, однако казалось, они давно знали меня. Выйдя из лифта, я увидел открытую дверь и вошел в ярко освещенную квартиру.

— Добрый день, — раздался спокойный женский голос за моей спиной, — пожалуйста вот сюда, за мной.

Это сказала Фатима — дочь Гейлани. Раньше я видел ее несколько раз по американскому телевидению. В жизни она была еще краше.

Над широко посаженными глазами распластала тонкие крылья чайка бровей. Когда Фатима говорила, брови едва заметно

¹ И после вывода советских войск из Афганистана группировка Гейлани продолжает вооруженную борьбу против кабульского режима; происходят также стычки с отрядами других оппозиционных группировок.

приподнимались. Черные густые волосы, туго схваченные на затылке, россыпью падали на спину. Через тонкую, с едва уловимой смуглотой кожу просвечивали на висках голубоватые прожилки.

Передо мной стояла молодая женщина, чья родословная, как принято считать, восходила к пророку Магомету.

— Что вы так стоите? — улыбнулось она. — Проходите же, прошу вас, отец ждет.

Гейлани сидел в кресле спиной к входу, держа голову вполборота. Сразу ожег коршунячий взгляд его карих блестящих глаз. Зачесанные назад седые волосы открывали высокий лоб, тронутый тонкими морщинами.

Лидер Национального исламского фронта привстал и дал мне пожать свою широкую теплую руку.

— Присаживайтесь, — сказал он по-английски мягким баритоном. — Я буду говорить на родном языке, а Фатима переведет.

— Спасибо. Как вам угодно, — я сел на диван рядом с его креслом.

— Вы из «Огонька», я знаю это. До вас два советских журналиста беседовали со мной в Пакистане, но то, что было опубликовано, сильно исказило суть беседы.

— Я постараюсь быть максимально точным.

— Посмотрим, — улыбнулся Гейлани. — Честно говоря, я все еще не могу до конца поверить в вашу гласность.

— Хотите чаю? Кофе? — Фатима рукой подозвала служанку в национальной афганской одежде.

Я выбрал кофе, Гейлани — чай.

Комната была просторной. Сквозь пепельные занавески внутрь проникал мягкий свет. На книжных полках я заметил много словарей.

— Мне говорили, что ваш сын тоже сейчас в Лондоне, — сказал я. — Его сегодня можно будет увидеть?

— К сожалению, нет, — ответила Фатима. — Я пыталась найти его, чтобы вы познакомились, но ничего не получилось.

— Дело в том, — пояснил Гейлани, — что в Афганистане сын получил серьезную травму. Он сейчас у врачей. Ему необходимо подлечиться, чтобы вернуться назад. Сожалею, что сейчас его нет с нами.

Я спросил:

— Господин Гейлани, вам самому приходилось бывать в Афганистане за время войны?

— Нет, — он развел руками. — Мои люди там. И этого достаточно. Когда я однажды собрался посетить Афганистан, некоторые религиозные деятели, которым я весьма доверяю, посоветовали мне этого не делать. Если я направлюсь туда, сказали они, это станет сразу же широко известно и поставит район посещения под угрозу обстрелов и боевых действий. К чему бессмысленный риск? Мой сын и мои племянники сражаются в Афганистане. Этого вполне достаточно.

— В Лондон вы прибыли из Пакистана?

— Да, из Пешавара.

— Вы там живете с 78-го года?

— Да. Я был вынужден покинуть Афганистан в октябре того года, вскоре после коммунистического переворота. Однако мы не были довольны ходом дел и до прихода к власти Тараки. Я считаю, что режим Дауда тоже был навязан народу. Я пытался убедить его идти по нашему пути. К сожалению, произошел коммунистический переворот. Сразу же стало ясно, что новый режим враждебен афганскому народу, традициям. Восстание против этого режима было неотвратимо. Передо мной открывались два пути: остаться и разделить участь родных Сабгатуллы Моджаддеди¹ либо покинуть страну, чтобы бороться против режима. Я избрал второй путь.

Вошла служанка с подносом, беззвучно поставила его на журнальный стол. Фатима налила отцу чай. Я хотел было взять кофейник, но Фатима отстранила мою руку.

— Позвольте лучше мне, хорошо? — Она улыбнулась.

— Так что мы начали борьбу еще до вторжения советских войск, — закончил свою мысль Гейлани.

Аромат свежесваренного зеленого чая, переплетаясь с запахом крепкого кофе, заполнил комнату.

— Если вы занимаетесь Афганистаном, — заметил Гейлани, — вам следует переключиться на зеленый чай.

— Но поскольку мы сейчас в Англии, то кофе допустим. Как вы относитесь к бывшему королю Афганистана?

— Мы были очень довольны его правлением. Особенно последним периодом, который вошел в историю под названием «десяти лет демократии». Именно тогда была создана демократичес-

¹ Моджаддеди — один из лидеров афганской вооруженной оппозиции. Принадлежит к ее умеренному крылу. Некоторое время возглавлял так называемое «переходное правительство» Афганистана.

кая конституция и прошли выборы в парламент. Страна развивалась в направлении полноценной демократии. При короле начался законодательный процесс, нацеленный на создание многопартийной системы в Афганистане. Но, как я уже говорил, произошел переворот Дауда. Вы знаете, я убежден в том, что то был первый шаг на пути, который в конечном счете привел к перевороту Тараки и военному вторжению. Очень грустно, что Афганистан постигла такая участь. К демократии всем следовало относиться очень бережно.

— Кого конкретно вы вините в трагедии, которая девять лет подряд убивала Афганистан?

Гейлани задумался, сделал большой глоток чаю. Сказал с легкой дрожью в голосе:

— Мы не столь наивны и злопамятны, чтобы винить советский народ. Ведь мы и понятия не имели о готовящемся решении послать войска в мою страну. Но люди у власти совершили страшную ошибку, приведшую к великой трагедии... Поймите, когда мы позволили нашим офицерам ехать в Советский Союз и учиться у вас в военных академиях¹, это означало, что мы доверяли вашему правительству. Но Советский Союз предал наше доверие. И мы до сих пор страдаем от того предательства, пожиная его горькие плоды.

Гейлани поставил чашку на стол и, чуть сжав губы, долго смотрел на нее. Казалось, он пытался подавить в себе чувства, вызванные нашим разговором.

— Советский солдат, — сказал он после паузы, — оставил о себе скверную память в Афганистане. Ведь наибольшие потери были среди мирного населения. Вы, жалея войска, уклонялись от прямых столкновений на поле боя, но потом расправлялись с крестьянами в кишлаках... Сегодня мне не стыдно благодарить американцев за оказанную нам военную и денежную помощь. Мы были вынуждены принять ее, чтобы защищаться от современной армии. Но пусть все помнят: если кто-то попытается установить свой контроль над Афганистаном, мы будем сражаться с ним, как сражались с вами. Вы хотите курить? Пожалуйста. Не возражаю.

— Фатима, — спросил я, — а вы?

— Конечно, нет. Курите, — отозвалась она.

¹ Речь идет о договоренности между правительствами СССР и Афганистана, позволившей афганским офицерам с середины 50-х годов учиться в советских военных учебных заведениях.

— Матери советских солдат, попавших в плен, уже много лет ждут своих сыновей. Сколько им еще ждать? — обратился я к Гейлани.

— Проблема в том, что большинство пленных моджахеддинов уже расстреляны. — Гейлани опять помолчал. — Если вы скажете, как вернуть им жизнь, я, быть может, смогу ответить на ваш вопрос. Давайте подождем и поглядим, как пойдут дела в Афганистане. Могу вам гарантировать, что вашим солдатам будет сохранена жизнь. Никто сегодня не хочет вымещать на них злобу... Вы должны понять, что произошло страшное надругательство над моей страной. Выросло целое поколение людей, которые ничего, кроме войны, не знают и не видели. Они умеют только воевать. Вспомните знаменитые афганские ковры, которыми славилась моя страна. Еще десять лет назад люди вышивали на них пирамиды и верблюдов. Но сегодня — лишь танки, боевые самолеты и бомбардировщики. Вот что произошло с моей страной! Как много образованных людей — истинных носителей афганской культуры — погибло или покинуло пределы родины. Уехавших надо возвращать, но куда? В полуразрушенную страну? Необходимо отстроить Афганистан, и мы надеемся на помощь. В том числе на вашу. Придется заново приучать людей к миру, к смыслу демократии. А это труд на десятилетия.

Гейлани говорил самозабвенно, глядя поверх меня и Фатимы. Неожиданно он опять перешел на английский.

— Не могу понять и возвращаюсь к этому вопросу опять и опять: как могла великая держава поверить посулам и заверениям нескольких людей? Как она могла пойти у них на поводу, предварительно не взвесив все «за» и «против»? Ведь политика строится не на обещаниях, а на реальной информации. Вон посмотрите-ка на него...

Гейлан указал на мальчика лет пятнадцати, тихо вошедшего в комнату. Одет он был в просторную, почти до колен рубашку и широкие, тонкой светлой материи штаны. Когда мальчик подошел ближе, я увидел, что лицо его изуродовано.

— У него, — Фатима чуть потеснилась на диване, дав мальчику возможность сесть, — уничтожена вся семья.

— Но вы, — Гейлани встал, — вряд ли сможете ему объяснить, ради каких таких идеалов это было нужно...

Вчетвером — мальчик, Гейлани, Фатима и я — мы медленно направились к выходу.

— Вы... — Гейлани вскинул вверх глаза, словно следя за полетом удаляющейся бабочки. — Вы... пришли к нам в тяжелый для

нас час. Это так. Но ведь каждый час на земле — горький или счастливый — велик по-своему. Прощайте.

Я вышел на улицу и медленно побрел вдоль Гайд-парка, чувствуя в теле усталость, как после бега на длинную дистанцию. Вроде бы ничего особенного не произошло. Просто я почувствовал, что постарел еще на один год своей жизни.

...А вечер плавно, словно черный зонтик, опускался на Лондон.

IX

— Всего вам! — сказал я и крепко пожал руку А...ко.

— Да мы расстанемся ненадолго, — он спрятал в усах улыбку, — еще на Саланге повидаемся.

Механик-водитель утопил акселератор, и наш БТР с ревом попер в гору. Часов через пять, если не помешают заторы, мы планировали быть на Саланге.

Броня уверенно карабкалась по льду все выше и выше. Облака, еще два часа назад казавшиеся недостижимыми, теперь безмятежно лежали слева и справа от нас. Январское солнце едва пробивалось сквозь них. Снег теперь был везде — лежал на дороге, кружился в воздухе, засыпал скалы, пролезал за шиворот, старательно залеплял триплексы машин, бесконечной извилистой линией тянувшихся к перевалу. Миллионы снежных тонн молчаливо лежали на горных кручах, грозя лавинами и обвалами уходящей на север армии.

Солдаты ехали, облепив сверху своими телами боевые машины и бронетранспортеры, забитые всякой всячиной. Они кутались в одеяла, защищались от ветра матрацами, по самый нос натягивали бежевые шерстяные шапочки. Из-за сорокапроцентной нехватки кислорода люди всю работу делали легкими, но дышаться не могли. Мощно ревели двигатели грузовых машин, однако с каждой новой сотней метров подъема скорость безнадежно падала. Зажигалки и спички не хотели гореть, и приходилось изводить по полкоробка на одну сигарету. От четырехкилометровой высоты слегка кружилась голова, ноги были ватными.

Слева и справа от дорожного серпантина проплывали сторожевые заставы. Многие из них были обнесены рядами колючей проволоки с вплетенными в них порожними консервными банка-

ми. Когда налетал ветер, банки резко позвякивали. А эхо разносило этот консервный перезвон далеко окрест.

Время от времени мы тормозили у очередной заставы, нам давали перекусить и выпить водки. Она горячила кровь, поднимала настроение и глушила чувство опасности, без которого ехать по тем местам было легче: казалось, ты сбрасывал с плеч целую тонну груза. На иных заставах предлагали посмотреть видеофильм с Брюсом Ли или Сильвестром Сталлоне в главной роли. Начало боевика ты видел на одной заставе, продолжение — на второй, а концовку — на следующей.

Порой мелькали голые деревья, торчавшие из каменистой земли, точно костлявые руки мертвецов с растопыренными застывшими пальцами. Высоко в горах едва виднелись сквозь пургу выносные посты, затерявшиеся в снегах и одиночестве. Странные названия были у них : «Ласточкино гнездо», «Марс», «Луна», «Жемчуг» или «Мечта». Чем романтичнее название, тем удаленней и выше пост.

Солнце незаметно превратилось в луну. Она белела круглой пробоиной на черном щите неба. Надо было искать место для ночлега.

— Видите вон те огоньки? — крикнул мне механик-водитель. Глянув в триплекс, я кивнул.

— Это 53-я застава. Там можно заночевать. А я двину дальше — к туннелю, — он надавил на педаль, и машина пошла бойчее.

Минут через пять мы распрощались, и я, спрыгнув с бронетранспортера, пошел по узкой тропинке в сторону едва мерцавших огней.

Застава утопала среди снегов в седловине между горами, невидимые пики которых растворялись в темноте. Гул КамАЗов, тянувшихся на север, смолк, и я почувствовал, как на землю плавно опускается тишина. В небе неподвижно висели осветительные бомбы, издали напоминавшие светлячков.

Застава было по-военному чумаза, и когда я открыл скрипучую дверь, на меня пахнуло сладковатой прелью. В углу темного коридора трещала рация. Близ нее на табурете сидел дневальный. Он грел черные от копоти ладони над консервной банкой горячей солярки. Тени и блики света гонялись друг за другом по стенам коридора.

— Вам кого? — спросил дневальный, подняв на меня воспаленные глаза.

— Кого-нибудь из офицеров, — ответил я.

— Комбат Ушаков вон там — за дверь, — дневальный пошевелил над огнем промерзшими пальцами.

В этот момент распахнулась дверь, и я увидел человека средних лет — рычагастого, тощего, с измученным лицом. От всей его громадной, чуть сутулой фигуры, от впалых щек, ранних морщин, от глаз с желтоватыми белками веяло многомесячной хронической усталостью.

— У-у-ушаков, — заикаясь, представился он.

Я назвал его и сказал, что ищу место для ночлега.

— Милости п-п-прошу, — он слегка посторонился и дал мне пройти в комнату.

— Так вы тот самый знаменитый Ушаков? — спросил я, усаживаясь на скрипучую койку.

— Знаменитый не знаменитый, н-но Ушаков, — ответил он, присев на противоположную койку. — А вы тот самый журналист, который опозорил десантников?

— В каком смысле?

— В п-прямом, — он подбросил несколько лучинок в «буржуйку», шипевшую рядом. — Ведь это вы описали засадные действия, в которых участвовали джелалабадские десантники, обутые не в горные ботинки, как полагается, а в кроссовки.

Я сразу же вспомнил разгневанное письмо одного майора из Руки, полученное мною год назад в Москве. Когда я вскрыл конверт, оттуда пахло гарью, порохом, войной.

— Ваше письмо было самым злым из всей почты, которую я получил после публикации повести про Афганистан¹. Тогда вы были майором. Поздравляю с очередной звездочкой. Честно говоря, я не очень понял вашу критику. Ведь кроссовки, пакистанские спальники, «духовские» фляги — все это было правдой.

— Я вам вот что скажу, — Ушаков ударил ладонью по табурету. — У нормального командира солдаты одеты по Уставу, а вы показали банду расхлебаев, нацепивших на себя все трофейное барахло. Ведь это стыд и с-срам!

— Конечно, стыд и срам, — ответил я.

— Но вы этим срамом в-в-восторгались! — Ушаков разволновался и никак не мог прикурить сигарету.

— Вам померещилось, — сказал я и подумал: «Ну и влип же я. Теперь придется всю ночь выслушивать нравоучения».

¹ Имеется в виду повесть «Встретимся у трех журавлей».

Ушаков взял со стола гребень, расчесал рыжие усы, а затем по-гусарски подкрутил кончики. Это процедура чуть успокоила его.

— В армии и так полно разного дерьма, — он выпустил из рта струю дыма. — И ничего его пропагандировать... Ладно, не берите в голову. Это я так. Кто старое и-помянет...

Он глубоко затынулся, а когда выдохнул, я не увидел дыма.

— Есть хотите? И-проголодались небось с дороги. Сейчас сварганим что-нибудь. — Он встал, хрустнул суставами затекших ног и скрылся за дверью.

Батальон Ушакова прибыл из Рухи на Саланг в сентябре 88-го. Он входил в состав полка, который потом стал известен как «рухинский». Полк был одним из самых боевых в Афганистане. На его долю выпало немало тяжелейших сражений и еще более обстрелов. Передислокация на Саланг, где в последние месяцы было относительно спокойно, казалась мотострелкам лирическим отступлением после Рухи. Местечко это имело славу самой гиблой и опасной точки в стране. Даже полет туда и обратно воспринимался иными штабистами и проверяющими как героизм. Ушаков вместе с однополчанами провоевал там два года.

Прибыв на южные подступы к перевалу, батальон занял пять застав вдоль дороги Кабул — Саланг и выставил три выносных поста в горах. Сам Ушаков расположился на 53-й, где стояла минометная батарея старшего лейтенанта Юры Климова.

Так что с сентября 88-го оба комбата жили вместе. Ушаковскому батальону была определена зона ответственности в двадцать километров — вплоть до 42-й заставы, которую занимали десантники-востротинцы¹

— Я и сам люто есть х-хочу, — сказал выросший в дверном проеме Ушаков. В его правой руке шипела сковородка, брызгаясь во все стороны обжигающим свиным жиром. — Харчи под завязку войны у нас маленько оскудели. Потребляем остатки запасов: т-тушенка, консервированная картошка, репчатый лук, рже да сгущенка. Недавно «духи»² подарили б-барана. Наш повар-узбек мастерски разделал его. Так что иногда мы и попировать горазды. Накладывайте себе побольше. Это ужин. Сегодня нам больше не светит ничего.

¹ Командиром их полка был Герой Советского Союза полковник Валерий Востротин.

² Иной раз «духами» называли и мирных афганцев.

Ушаков прикрыл глаза, вдохнул сизый пар, поднимавшийся от сковороды, улыбнулся и отвалил мне в миску царскую порцию.

Я внимательно посмотрел на него. Чем-то он походил на страну, в которой родился: огромный, доверчивый, не помнящий обид, веселый и грустный одновременно. Хорошие были у него глаза — он как бы хмуро сиял ими. Голос был глуховат, насквозь прокурен. Красно-коричневая кожа обтягивала скуластое лицо. И, хотя шел ему лишь тридцать седьмой год, сквозь поредевшие светлые волосы просвечивали по бокам высокого, с сильными надбровьями лба бледные залысины. Всем своим обликом Ушаков напоминал усатых русских солдат на старых полотнах с изображением баталий 1812 года.

Когда я разговаривал с ним, мне казалось, что он родился, уже зная то, чему я учился по книгам. И хотя с самого начала он дал мне понять, что журналистов не очень-то любит, все равно я разглядел, вернее, почувствовал в нем сквозь эту неприязнь редкую на войне доброту к незнакомому человеку.

— Б-беден тот, — сказал Ушаков, бросив в кружку пару кусков сахара, — кто видит снег только белым, море синим, а траву зеленой. Весь смысл жизни в сочетании и смешении цветов. И журналист это тоже должен понимать. Иначе про эту в-войну писать нельзя. Иначе — фальшь и ложь... Сколько мне приходилось читать о сражениях, которых в помине не было, а о реальных боях — молчок. Скольких трусов мы провозгласили героями, а и впрямь храбро воевавших людей газеты игнорировали. «Чижик»¹ ходит весь в орденах, а солдат...

Ушаков махнул рукой. Через мгновение язык пламени в печке метнулся в сторону.

— Вот случай был, — комбат поставил вылизанную хлебом сковородку на пол, — на заставе. Пошел один боец в к-кусты по н-нужде. В этот миг ударила безоткатка и заставу накрыло. Все погибли. Но тот, в кустах, выжил. Случай был подан позже наверх так, будто парень один отстреливался в окружении и победил.

— И что же? — спросил я.

— Героем сделали. Другой эпизод. Ротный вез на БТРе проверяющего из Союза. Подъехали к персиковой роще. Проверяющий сказал: «Эх, вот бы персиков набрать домой!» Рот-

¹ Чижик — штабист.

ный оказался смышленным: остановил машину, прыгнул, но неудачно — на мину. Оторвало обе ноги. Проверяющий, чувствуя свою вину, сделал все, чтобы ротного представили к Герою... Ты не думай, я не з-завидую. Боже меня упаси. Я п-просто хочу сказать, что Герой Советского Союза — это святое. Понял меня?

Я кивнул.

За окном рычал дизельный движок, качая на заставу электричество. Где-то в горах ухнула гаубица Д-30 — оконное стекло всосало в комнату, потом отпустило. Над крышей пронеслась мина, завывая, как певица в периферийной опере.

— Знаешь, как в Союзе определять — кто действительно во-евал т-тут, а кто по штабам прятался? — вдруг спросил Ушаков.

Он снял с печи чайник, плеснул кипяток в кружки и сам же ответил на поставленный вопрос:

— Кто девкам заливает м-мозги про свои подвиги по самую ватерлинию, тот и свиста пули не слышал. Настоящий ветеран будет помалкивать о войне. Эй, дневальный, поди сюда.

Через несколько секунд открылась дверь и на пороге появился солдат в замызганном бушлате. К парню прочно приклеилось прозвище Челентано. Иначе никто на заставе его не звал.

— Солдат, — Ушаков протянул ему чайник, — принеси-ка нам еще воды.

Челентано исчез, не сказав ни единого слова: он был узбеком и по-русски говорил хуже афганца.

— В одной из моих рот, — Ушаков улыбнулся, — узбеки решили сколотить свою мафию и начали терроризировать русское меньшинство. Ну, я был вынужден продемонстрировать им ответный русский террор. Я этих дел не люблю.

За окном раздалась глухая автоматная очередь.

— Какой-нибудь часовой, — прокомментировал Ушаков, — разрядил магазин в собственную тень. Ничего, бы-бывает. Воевать осталось четыре недели — н-нервы н-не выдерживают.

— А я думал, тревога.

— Н-нет, — опять ухмыльнулся комбат.

Он поглядел на часы. Почесал затылок предложил:

— Уже ча-час ночи. Может, соснем чуток? Возражений нет?

Я отрицательно покачал головой.

— Добро. Значит, спать, — сказал он и с крехтом повалился

на койку. — Я не раздеваюсь — за ночь двадцать р-раз успеют поднять. Замаешься натягивать форму. Тебе тоже не советую.

Я бросил горные ботинки и вытянулся на своей койке. Она что-то промурлыкала подо мной.

— Ты н-не обращай внимания, — предупредил комбат, — если я во сне буду материться. М-можешь меня разбудить, когда начну крыть всех и вся десятиэтажным...

Я улыбнулся в ответ и выключил свет.

Громяхая сапогами, в комнату вошел дневальный и поставил на печь чайник. Мокрое его днище умиротворенно зашипело.

— Не забудь, — Ушаков отодрал от подушки голову и поглядел на солдата, — подбросить через час углей в огонь. Не то мы корреспондента за-заморозим. Давай, ступай к себе.

Ушаков опять уронил голову на подушку. Минут через пять я услышал спокойное дыхание комбата. Охристый огонь едва освещал его лицо, и было заметно, что он дремлет с полузакрытыми, взведенными вверх глазами. Из-под век поблескивала нездоровая желтизна белков. На разгладившемся лбу лежала мокрая от пота прядь волос.

Х

Ушаков получил подполковника совсем недавно, хотя документы послали досрочно — еще два года назад. Дело было в Рухе: один из его новеньких лейтенантов самовольно поехал менять БМП на блоке и подорвался на mine — по неопытности решил обойтись без саперов. После этого Ушакову завернули представление и на орден, и на звание.

Звонки полевого телефона вернули меня из прошлого в настоящее. Прежде чем я успел разомкнуть отяжелевшие веки, Ушаков уже кричал в трубку своим глухим басом:

— Алло, «Перевал»! Алло, «Перевал»! Как слышишь?.. «Перевал», дай мне «Курьера»!.. Да!.. Н-на т-трассе никаких происшествий! Все идет нормально!

Через мгновение он устало бросил трубку на рычаг и пробормотал:

— Вот так целую ночь...

— Но ведь все равно легче, чем в Рухе?

— В каком-то смысле, конечно, легче. Правда, тут не знаешь, чего ждать. Боюсь, в последние дни здесь, в Саланге, фирменная

вешалка¹ начнется. Наверняка «духи» будут бить нам в хвост... Вся охота сп-пать пропала... В Рухе они обстреливали нас почти каждый день. Начальники летать к нам боялись. А когда все-таки наведывались, ничем хорошим это не кончалось. Уезжали обратно з-злющими-презлющими. Во-первых, потому, что машин мы им не давали: каждая была задействована. Водки и бакшиша² тоже не давали. Ведь непосредственного контакта с дуканщиками у нас не было, кроме того, мы установили сухой закон. Вот из-за этого многие начальники уезжали недовольными и полк был на плохом счету. А наш командир, человек п-порядочный, честный, на партсобраниях постоять за себя не умел. Или не х-хотел. Я ему всегда шептал на ухо: «Давай, к-командир, на амбразуру!» А он вечно сидит, отмалчивается. Так что приходилось мне лаяться с начальниками.

— Не боялись? — скорее подумал, чем спросил я.

— А чего мне их бояться? — угадал мой вопрос комбат. — Я считаю: нормальному, здоровому человеку вообще нечего бояться. Вот уволят меня из армии — пойду уголь добывать. И заработаю, кстати, больше. Мои руки везде пригодятся... П-предки наши, не имея ничего, вона какую одну шестую оседлали. Мне друзья говорят: «Не сносить тебе, Ушаков, г-головой!» А я отвечаю: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют».

— Но ведь послали?

— Да, послали, — тихо засмеялся Ушаков. — Ну, т-так дальше Афганистана не пошлют. Настоящий армейский трудяга всегда в тени, а по-подонок, умеющий звонко щелкать каблуками, генерала в задницу поцеловать, а потом облизнуться, этот бойко скачет вверх. Ста-тарая история...

Ушаков подошел к «буржуйке», бросил в ее огненную пасть несколько углей и щепок. Сырое дерево уютно зашипело, и в комнате стало светлей. Ушаков выпрямился на длинных тощих ногах и, морщина блестящий лоб, направился в свой угол.

— Какая ни есть армия, — Ушаков сел, упершись острыми локтями в узкие колени, — а я, видно, по своей воле ее не брошу. Хотя, конечно, много всякой чепухи... Служил тут у нас командиром отдельного реактивного дивизиона армейского подчинения один неплохой человек — мужик он б-был крутой, п-принципиальный. И дорого она ему обходилась — принци-

¹ В е ш а л к а — кровопролитное месиво (*жсаргон*).

² Б а к ш и ш — подарки, подношения начальству (одно из значений).

пиальность-то. А у его предшественника карьера шла как по маслу, тот все умел — и хорошенько баньку растопить, и девочек вовремя организовать, и бакшиш ненавязчиво подсунуть какому-нибудь начальнику. Даже самому захудалому. Ну а тот, про кого я т-толкую, всего этого не умел. Не желал уметь. Он, бывало, возмущался: «Товарищи начальники, на какие шиши я вам водку ставить б-буду?! Своих д-денег мне жалко — в Союзе осталась семья. А воровать не стану. Не заставляйте». Словом, начались у него проверки, неприятности, пятое-десятое. Съели его. Пришел он ко мне с понижением — заместителем по вооружению... Мой зам по тылу тоже ссыльный. Раньше с-служил в одном из «придворных» полков, но честность, как говорят французы, ф-фраера сгубила: п-получил пинок под зад и оказался у меня.

Я глянул на комбата: глаза его лихорадочно, словно в горячке, сверкали. Казалось, они-то и освещали комнатку. Левая бровь изогнулась крутой дугой и мелко дрожала. Ушаков облизнул пересохшие белесые губы.

— Чуть южнее, — сказал он, — служит комбат А. Ни одной зарплаты не получил: все переводит в Союз на счет «Б»¹. Но тут отоварился капитально. К-как? Да очень п-просто. Списывал имущество как боевые потери, а сам продавал его Басиру. Печально все это. С-солдат видит такое и тут же пример берет. А начнешь со всем этим воевать, скажут: сумасшедший, в психушку его! Я там уже насиделся. Больше н-нет охоты.

Первый раз Ушаков угодил в армейскую психиатрическую клинику в апреле 71-го года, когда учился в киевском ВОКУ (18 суток), второй раз — в мае 83-го, когда служил на Кубе (10 суток). Третий раз — в конце 85-го года в Калининграде (47 суток). В Киеве Ушаков повздорил с преподавательницей, в других случаях — с начальством.

— На Кубе, — усмехнулся себе в усы Ушаков, — им не понравилась моя фраза о том, что армия должна заниматься не показухой, а делом. Я всегда считал: если в части порядок, а солдат готов отдать жизнь за Родину, значит, командир с-свое дело знает. И ничего его отвлекать идиотскими проверками. Конечно, я тогда вспылал... Ясно дело, ок-казался в дурдоме. Начали врачи выяснять мое умственное развитие: не может же нормальный че-

¹ Счет в валютном банке для внешней торговли.

ловек брякнуть такое начальству! Сказали, чтобы з-заполнил анкету. Умора, честное слово, что в ней было. Один вопрос дурней другого, например: чем отличается столичный город от периферийного? Чем отличается лошадь от трактора? Самолет — от птицы?.. Как нормальному ч-человеку ответить на них? Скажешь, лошадь ржет, а трактор урчит, птичка машет крылышками, а самолет нет — назовут дуриком.

Оконце начало медленно светлеть, словно экран древнего телевизора после нажатия кнопки. Потом на стекле проступил легкий румянец — солнце лениво начинало свое восхождение.

Левая щека комбата, обращенная к окну, тоже порозовела, а правая половина лица, отсеченная крупным носом, была черной, как невидимая сторона луны.

— Или, — продолжал Ушаков, — все эти вопросы типа: «Если бы у меня была нормальная половая жизнь, то...?» Я сказал комиссии: «Как мне отвечать на него, если я себя ущемленным в половом плане не чувствую и от бабы меня за уши не оторвешь?!»

— И что же врачи? — не удержался я.

— А что они? Рассмеялись и отпустили... Понимаешь, психушка — отличный способ для начальства избавиться от ЧП в части.

Комбат раскрыл уже распечатанную пачку сигарет. Все они были аккуратно уложены фильтрами вниз — попытка солдата перехитрить афганскую инфекцию: в рот берешь кончик, не тронутый грязными пальцами.

— Курнем? — предложил он, подняв на меня прижмуренные в усталой улыбке глаза. Куцые, выжженные солнцем ресницы едва приметно подрагивали.

Дверь скрипнула, чуть приоткрылась. В образовавшейся черной щели я увидел аккуратно подстриженную голову с картечными маленькими глазами.

— Товарищ подполковник, разрешите войти?

Ушаков бросил в сторону говорившего грузный взгляд, сказал:

— Заходи, С-славк.

Это был старший лейтенант Адлюков — небольшого росточка, совсем еще мальчик. Черные волосы, слегка курчавившиеся на висках, подчеркивали бледность его девичьего лица.

— Наливай себе чай, кури, отдыхай, — глухо пробурчал Ушаков.

Адлюков только что, в пять утра, спустился с секрета «Роза».

«Роза» не вышел на связь в условленное время, и Славке пришлось ночью карабкаться в горы. Предварительно он дал три одиночных выстрела из АК, ожидая в ответ, как было условлено, два одиночных, но их не последовало. Больше часа они с сапером шли вверх по глубокому снегу лишь для того, чтобы выяснить: на высокогорном посту сели аккумуляторы.

Он пристроился рядом со мной и начал снимать резиновые чулки от ОЗК¹. Из них посыпались на дощатый пол слежавшиеся комья снега. Потом налил в кружку горячего чаю, обнял ее ладонями и долго смотрел в остывшую черную воду.

Адлюков потерял родителей еще в раннем детстве. Его приютила тетка, но Славка, когда подрос, вдруг почему-то закомплексовал и, не желая быть обузой, после восьмого класса подался в суворовское училище. Затем учился в Тбилисском артиллерийском и, наконец, оказался в Афганистане.

— Так что психушка, — Ушаков вернулся спустя десять минут к тому, на чем мы остановились, — это зачастую палочка-выручалочка для командира. К примеру, ударил солдат офицера. Его надо судить, а это ЧП. Но если в полку ЧП и есть осужденный, то командиру не перепрыгнуть на следующую должность. Следовательно, происшествие оформляют как сдвиг по фазе — и все. Рассуждают так: разве может нормальный солдат ударить офицера?! Нет, не может. Значит, псих.

За время службы в армии Ушакову трижды предлагали поступить в Академию имени Фрунзе. Но он отбрыкивался как мог.

— Первый раз, дай Бог памяти, — он внимательно посмотрел на косой потолок, сложенный из пробитых труб, словно там была написана история его жизни, — агитировали поступать в 81-м. Я тогда был назначен начальником штаба батальона. Конечно, почетно походить на старости лет в штанах с лампасами: умрешь — на лафете тебя прокатят, отсалютуют... Но, понимаешь, у меня прикрытия сверху нет, а без него задолбит начальство и хватит инфаркт в пятьдесят лет. Так что в-выше батальона я п-прыгать не желаю. Чтобы идти дальше в гору, надо быть либо циником и не принимать ничего близко к сердцу, либо блатным. А я ни тот и ни другой.

Уже совсем рассвело. Комбат, глянув в окно, улыбнулся.

— Кончились белые ночи, начались черные дни. Кто всех главней, тот себя не жалеет!

¹ ОЗК — общевойсковой защитный комплект.

Он бросил на колени вафельное полотенце, обмакнул кисточку в кипяток и принялся взбивать пену на щеках, мурлыкая какую-то песенку.

Ушаков шумно соскребал щетину и пену со впалых щек. Перехватив мой пристальный взгляд, сказал:

— Изучаешь? Изучай... — Хлопья пены слетали с его губ. — Я из поморов. А поморы никогда крепостными не были.

В комнату вошел батальонный фельдшер, человек лет сорока, с худым лицом, острым носом и водянистыми точками глаз.

— Присаживайся, Петро! — Ушаков указал безопаской на свою койку. Мельком обшарив его глазами, комбат спросил: — Ты че т-так приделся, военизированный доктор? Ты че бутсы с шипами натянул? А автомат к чему?

— Шипы, чтоб не скользить, а автомат, чтоб было чем отстреливаться, — чуть обиделся фельдшер.

— Ну, т-ты, Петро, юморист: ты ж только и ходишь, что между сортиром да столовой, — где тебе скользить?! И автомат брось, не с-смеши людей: коли начнется, мы тебя прикроем... А если серьезно, сок-колики мои, то берегите себя, лишний раз не высывайтесь. Осталось совсем ничего, и обидно б-будет, если вдруг что случится в последний день... Вот пересечем границу, оставляю я в расположении двух прапорщиков, что у меня на пьянке попались, а все остальные рванут в лучший термезский кабак: будем праздновать не победу, не поражение, а выход... Странная была война: входили, когда цвел застой, а выходили в эпоху бешенства правды-матки.

Ушаков начисто вытер полотенцем посвежевшее после бритья лицо. Прислушавшись к громким шагам за дверь, сказал:

— Полковник Якубовский приехал. Только он так громыхает. Братцы, в-встрепенулись!

Якубовский вошел в комнату, и сразу в ней стало тесней. Был он велик ростом, розовощек. Казалось, вместе с ним на заставу влетела вьюга.

— Ух, холодно там! — улыбаясь, зашумел Якубовский. Повернувшись к Адлюкову, сказал: — Эй, воробушек, организуй-ка мне чаю.

Славка, вытянувшийся у моей койки, с дрожью в голосе отчеканил:

— Товарищ полковник, я не воробушек. Я человек!

Ушаков спрятал смеющиеся глаза.

Якубовский громко захохотал, потрепал Адлюкова по голове.

— Ладно, брат, не обижайся. Просто я продрог, пока ехал к вам с Саланга. А ты ершист!

Быстро-быстро застучав по доскам пола сапожками, Адлюков пошел на кухню.

Якубовский расспросил Ушакова об обстановке на трассе, потер бурое лицо руками и, не дождавшись чаю, ушел. Через пару минут глухо взревел двигатель его БТРа.

— Ураган, а не мужик! — Ушаков восторженно кивнул на дверь, за которой скрылся Якубовский. — Если пересечем границу, я бы, будь моя воля, дал солдатам по полкружки водки, взводным — по кружке, ротным — по две, а комбатам — по три. Эх, бабий ты смех!

Адлюков толкнул бедром дверь, вошел, держа в руках чайник и дрова.

— Дневальный! — крикнул комбат, сложив руки раструбом у рта. — Дневальный!

Не получив ответа, он накинуд на плечи бушлат и выбежал в коридор.

— Ты не очень-то, — обратился ко мне Адлюков, — верь Ушакову про водку. Комбат — заядлый трезвенник. Прибыл на нашу заставу и личным приказом установил сухой закон. Помню, еще сказал: «Будем теперь воевать без водки и без женщин...»

— Вот именно — без женщин! — подхватил последние слова Адлюкова ворвавшийся в комнату комбат. — Это относилось не только к женатым, но и к холостякам.

— А к холостякам-то почему? — не понял я.

— Потому, — огрызнулся Ушаков, — что здесь порядочных женщин нет. Семейным же запретил, исходя из элементарной логики: если тебя жена там ждет, почему же ты ее не ждешь?!

— Словом, — улыбнулся Адлюков, — отношения между батареей и батальоном тогда, в сентябре, напряглись. Кто-то даже осмелился сказать товарищу подполковнику: «Вы не лезьте в чужой монастырь со своим уставом. Люди жили себе — дайте же им дожить нормально до 15 февраля¹».

— Я тогда ответил, — Ушаков стряхнул с бровей снежинки, — будут так жить — не доживут!

Когда батальон Ушакова стоял в Рухе, командир полка предложил однажды всем офицерам сброситься по десять чеков на

¹ 15 февраля должен был завершиться вывод советских войск из Афганистана.

подарки женщинам к 8 марта. Комбат отказался наотрез. «Тебе чеков жалко?!» — удивился командир полка. «Нет, — ответил Ушаков, — просто я не вижу тут ни одной женщины, здесь только б...!» Он достал из кармана десятичечковую бумажку и разорвал ее на мелкие кусочки. Командир полка развел руками: «Аполитично ты, комбат, рассуждаешь...»

Появившись в Рухе, Ушаков сказал полковым дамам: «До меня солдат и офицеров доили, а я не дам!»

Судя по всему, Ушаков не очень-то любил женское племя. И были на то у него свои причины.

Еще в Союзе, вернувшись однажды с полигона, «застал не свои ноги» в своей постели рядом с женой. Ушаков, не долго думая, вытащил пистолет из кобуры и заставил того шустрого малого — владельца ног — сесть нагишом за стол и написать объяснительную записку, которую заверил печатью начальник политотдела, вызванный на место преступления. Состоялся суд. Женщина-судья предложила Ушакову не торопиться с голословными обвинениями. «Это, — сказала она, — скорее всего, навет». Вот тогда Ушаков положил на стол объяснительную записку с полковой печатью. Давая развод, судья заявила, что много видела за время своей карьеры, но только не это.

С тех пор Ушаков не женился. Не было ни желания, ни везения.

Правда, летом в Союзе повстречал на юге женщину с редким именем Таисия, Тая. Глянул на нее, даже про войну забыл.

— Та-и-си-я, Та-еч-ка, Тай-ка, — повторил нараспев комбат и задумчиво поглядел на потухшую сигарету.

— Видно, — предположил Славка, — вас, товарищ подполковник, кто-то крепко вспоминает.

— Если кто и вспоминает, — улыбнулся Ушаков, показывая прокопченное на сигаретном дыму серебро клыков, — так это черт в могиле.

XI

Часам к девяти утра ветер нагнал туч, небо помутнело, с новой силой поднялась метель.

Я вышел на дорогу и зашагал в сторону 50-й заставы. Бронетранспортеры и боевые машины пехоты бесконечным пунктиром тянулись на север. Шли они медленно. Снежная поземка звонко

била по броне. Солдаты от нечего делать курили сигарету за сигаретой, поднося их к синим губам мерзлыми пальцами. Пройдя метров пятьсот, я нагнал бодро шагавшего лейтенанта. Он опустил на лицо шерстяную шапочку с двумя самодельными дырками для глаз, поверх натянул брезентовый капюшон. Два конца обледеневшей веревки, схваченной под подбородком в узел, хлестали его по щекам. Шли мы долго, изредка перебрасываясь короткими фразами. Близилась 50-я застава. Там лавиной снесло с дороги БТР, и лейтенант хотел ускорить работу солдат, с раннего утра раскапывавших машину. В ней находились механик-водитель и секретарь комитета комсомола полка. Оба они отделались легкими ушибами, но с момента аварии прошло несколько часов, и ребята здорово намерзлись.

Ветер все крепчал, норовя столкнуть нас на обочину.

— Вот ведь метет, стерва! — ругнулся лейтенант в адрес вьюги. — И кто это вздумал выводить войска в феврале?! Сколько техники уже погребили...

Он сдвинул вязаную шапочку, показав широколобое лицо с глубоко посаженными черными глазами.

— Как Россия войну ведет, — лейтенант провел ладонью по заиндевевшим бровям и ресницам, — так зима лютая. Не пойму только, кому больше не везет — «духам» или нам. Им-то ведь тоже несладко приходится... Все тропы в горах позавалило снегом, связь между отрядами нарушена... Ты с ушаковской заставы?

— Да.

— А где же сам комбат?

— Поехал к чайхане. Часовой доложил ему, что три десантника трясут там дукан. Он помчался разбираться, прихватив командира роты Зауличного. Десантникам понравились гонконговская парфюмерия и магнитофонные кассеты.

— Десантура свое дело знает! — улыбнулся лейтенант.

Пройдя еще метров семьсот, мы увидели человек пять солдат и капитана, демонтировавших самодельный памятник на обочине дороги. Год тому назад здесь погиб механик-водитель бронетранспортера, и однополчане поставили в память о нем железную пирамиду с пятиконечной звездой на вершине.

— Уж месяца три, как поступил приказ от Громова, — объяснил лейтенант, — вывозить всю советскую символику, снимать с дорог памятники павшим... Чтобы, когда армия уйдет, «духи» не издевались, не глумились над памятью.

Двое солдат лопатками и монтировкой долбили промерзшую, захрясшую от зимы и времени землю, тшась выковырять из нее проржавевшее железо. Рядом нервно урчал КамАЗ. Кузов его был забит чахлыми плакатами с радостными призывами и лозунгами.

Капитан, то и дело переступавший с ноги на ногу от холода, вытащил из кузова почерневший тесаный шест с приколоченным к нему фанерным щитом и, надломив его ударом сапога, бросил в вянувший костер. Пламя принялось прожорливо облизывать сухую древесину, с треском корежить многослойный фанерный лист, гласивший, что «...эм — наше знамя!» (кусок щита был отколот).

Я сел на корточках, протянул руки к костру. Лейтенант уперся ногой в полыхавшее бревно, от толстой подошвы с шипением потянулись вверх струйки дыма.

— Ух, благодать какая, — промурлыкал он. — Я уж думал, пальцы на ногах отвалятся... В Союзе и то теплей.

— Давно вернулся? — Я прикурил от лучины.

— С неделю.

— Отпуск?

— Сопровождал «двухсотый груз»¹.

— Куда?

— Под Ташкент.

— Домой успел съездить?

— Да. Дали четырнадцать суток. Но долго проторчал в Баграме — самолеты не сажались из-за погоды. Потом добрались-таки до Кабула — перед самым Новым годом. В тамошнем морге холодильники, как на мясокомбинате. Сидели несколько дней подряд в обшарпанной комнатухе инфекционного госпиталя рядом с моргом, где и встретили Новый год. Труп положили в цинк, запаяли. Цинк — в деревянный гроб, а его и фуражку — в транспортировочный ящик. В цинке оставили окошко — труп не был изуродован.

Лейтенант несколько минут помолчал, следя глазами за хаотичным танцем огня. Пододвинул левый сапог ближе к костру — правый был окутан прогорклым сырым дымком.

— Говорят, — медленно продолжил он, тасуя в голове недавнее прошлое, — как встретишь Новый год, таким он и будет. Я встретил в кабульском морге. Не успел вернуться сюда из Ташкента, получил похоронку из Союза — брата в драке убили...

¹ Кодовое обозначение цинкового гроба с телом погибшего.

Лейтенант отчаянно глянул навстречу ветру и тут же зажмурился от попавших в глаза колких снежинок.

— Я, — сказал он, — на войне выжил, а он там не смог. Так-то...

— Ездил далеко от Ташкента?

— Нет. Прилетел, передал военкому чемоданчик-«дипломат» солдата, свидетельство о смерти, справку о денежной компенсации, закрытый военный билет. Военком поехал сообщать родителям, прихватив с собой «скорую»: у отца сердце шалило... Мать на похоронах выла. Отец рвал на себе остатки волос: «Как допустили?! Как допустили?!» На меня смотрел, словно я сына его убил. Родня обступила, что-то на своем быстро-быстро говорили... Я спросил военкома: что им надо? Спрашивают, ответил он, зачем черный груз привез. Он меня побыстрее в аэропорт отвез: бывали случаи, когда сопровождавших забрасывали камнями... Обстановка накаленная. Только что показали «Маленькую Веру» — народ побил окна в кинотеатре. А тут еще этот гроб...

Несколько афганцев с автоматами подошли к костру, стали выменивать у солдат таблетки стрептоцида на сигареты.

— Фирменные «духи», — лейтенант с улыбкой глянул на них.

— А есть риск, что эти самые «духи» вдруг откроют огонь?

— Да нет, — махнул он рукой, — по всей дороге идет массовое братание в виде торговли. Воевать ни у кого нет охоты...

Памятник все не давался. Один из солдат предложил подорвать его, но капитан категорически отказался. Он приказал водителю развернуть машину и ковырнуть железную пирамиду бампером.

Памятник сопротивлялся, словно под землей в него вцепился мертвыми руками убитый механик-водитель. Горькую тоску нагонял вид этой битвы.

Бампер прошел в нескольких сантиметрах над звездой.

— Ну что ты тянешь?! — орал в мегафон капитан. — Наезжай! Цепляй его осью!

КамАЗ медленно наехал на пирамиду, металл отчаянно заскрежетал. Когда машина отошла, я опять увидел памятник: он чуть покосился, но не упал. Погнутая звезда валялась рядом.

— Давай еще! Ну? — кричал в мегафон капитан, стараясь переорать рев двигателя.

«Давай еще! Ну?» — вторило ему эхо в горах.

Один из солдат разбежался и обеими ногами прыгнул на пирамиду.

Та выстояла, металлически охнув.

— Ну, это ни к чему, — сказал лейтенант. — Ногами не надо. Капитан зло глянул в нашу сторону.

КамАЗ развернулся и зашел по новой. Через минуту все было кончено — памятник лежал поверженный.

Солдат проиграл опять.

Лейтенант и я двинулись дальше. Оставалось еще тысячи две метров до того места, где утром сошла лавина и снесло бронетранспортер. Дорога была забита тылами баграмской дивизии. Машины стояли впритык друг к другу. Двигатели работали. Лед и асфальт под ногами мелко дрожали. Выхлопная гарь, мешаясь с пургой, клубилась над дорогой. Дышать было нечем. Лейтенант опустил на нос шерстяную вязанку. Я достал из бушлата грязный платок, сложил его вчетверо и прижал ко рту, используя как противогаз. Прячась от удушливых выхлопов, мы всякий раз перебежали на ту сторону дороги, откуда дул ветер. Солнце из последних сил пробивалось сквозь небесную мглу, вьюгу и гарь, словно сознание человека, получившего сильную контузию.

— Вчера пропал без вести солдат! — крикнул лейтенант, когда мы приблизились к сползшей с гор лавине.

— Где?

— По ту сторону Саланга. Близ озера!

«...близ озера!» — повторило эхо.

— Говорят, ушел вместе с собакой! — крикнул лейтенант.

Я мысленно попытался воссоздать образ пропавшего без вести, представить, что могло с ним случиться.

Незаметно для себя опять перенесся в Нью-Йорк, в «Дом Свободы», на встрече с бывшими советскими военнопленными...

ХII

— ...Хорошо. О'кей! — сказал Микола Мовчан и сбросил джинсовую куртку с узких, как женская вешалка, плеч, повесил ее на спинку стула, закурил длинную черную сигарету. Капельки пота в его жидких светлых волосах блестками вспыхивали на свету. — Ты хочешь знать историю моей жизни? Слушай же.

Родился я в Лазорянке, возле Житомира. Маленькая такая деревушка, знаешь? Ничего, коли не слыхал, не в ней дело... Однако там прошло мое детство. В город первый раз поехал, когда мне стукнуло восемь лет. Школу не любил. Да и сейчас не люблю.

Скука. Чаще всего вспоминаю деревню, дорогу, деревья, дом. Мой любимый каштан. Я на нем всегда прятался. Вот говорю с тобой и вижу дорогу из моей деревни в город. Вижу себя, идущего по ней в последний раз. На уроках я читал книги. В деревне нелегко было достать их, но моя тетка работала в школьной библиотеке. Помню, в «Спартаке» не хватало половины страниц.

Я понятия не имел, чем буду заниматься в жизни. Родился в 63-м году. Активным пионером, тем более комсомольцем никогда не был. Друзья детства? Сейчас, пожалуй, и не вспомню: с тех пор, как я покинул дом и ушел в армию, прошло шесть лет. Шесть очень долгих лет. Очень долгих. В Ашхабаде в части сказали, что нас бросят в Афганистан.

Я не испугался: верил прессе, красочно расписывавшей, как мы там НЕ воюем. Шел 82-й год. Но в ашхабадском военном госпитале случайно увидел раненых из Афганистана и понял, что там идет война. Что там даже стреляют. Родителям поначалу ничего не сказал, но потом все-таки написал. Помню, успокаивал их, что буду кушать арбузы и им присылать.

Отец мне сказал: «Сын, служи и слушайся». Отец — тракторист. Мать — доярка. Но я не послушался.

На столике, за которым мы сидели, не было пепельницы. Мовчан соорудил ее из пустой сигаретной пачки и стряхнул туда пепел. Тонкими указательными пальцами он потер скулы.

— ...Фамилия солдата Стариков, — уточнил лейтенант, вернув меня из Нью-Йорка на Саланг.

Несколько минут мы шли молча.

— А где служил этот Мовчан? — спросил лейтенант.

Мовчан закурил сигарету, положил руки на стол, сплетя пальцы. Сказал:

— В Афгане я служил в Газни. Осень и зима 82-го. Зима и весна 83-го. В начале лета я перешел...

Я служил до ухода в мотострелковой части. В расположении была довольно спокойная жизнь. Но на операциях все обстояло иначе. О нашей армии ничего плохого сказать не могу. Но то, что происходило за пределами полка, было ужасно. Нигде мы не видели дружественных афганцев. Одни враги. Даже афганская армия не была дружественной. Мы точно знали, что на всей территории провинции лишь одна деревня более или менее нормально относится к нашему присутствию. Когда пропагандисты выезжа-

ли агитировать, так сказать, за Советскую власть, то брали с собой роту и танки. Поговаривали, что в 81-м обстановка было лучше. Уж не знаю.

Я служил сержантом. Но не в боевых подразделениях. Обычно полк высылал на войну один батальон и разведроту. Но меня в них не было. Я прослужил около шести месяцев и ушел. Я перебежал рано утром. На рассвете. Мне просто повезло.

Мне все казалось, что я смотрю фильм про себя. Это ощущение усилилось, когда оказался среди повстанцев. Странно, я не заметил злости в их глазах. Они видели, как я бежал, и помогли спрятаться, когда советский вертолет начал искать меня, обшаривать местность, кишлаки.

Желание уйти укреплялось постепенно. Вначале было чувство отчаяния и неуверенности в правоте нашего дела. Все вокруг враги. Помню страшную злость к повстанцам, ведь погибало много наших. Хотелось мстить.

Потом появились сомнения в целях и методах интерпомощи. Для себя я ничего не мог решить. Знал лишь, как отвечать на политзанятия: мы воюем с американской агрессией и паками¹. Я себя спрашивал: почему же мы заминировали все подходы к расположению полка? Почему целимся в каждого афганца из пулемета? Почему убиваем тех, кому пришли на помощь?

Когда на mine подорвался крестьянин, никто не отвез его в санчасть. Все стояли и наслаждались видом его смерти. Офицер сказал: это враг — пусть помучается.

Это уже «мраки». Темно. Я не послушался отца. Ушел на рассвете.

Это моя жизнь. Теперь — Америка. Другая жизнь. Фильм. Да, фильм...

Утром, когда решил уйти, долго смотрел на поле. Было тихо. Очень. Я стоял и смотрел. Мышцы ног напряглись помимо моей воли. Я замер. Посмотрел в рассвет и побежал. Когда я оглянулся, полк был далеко позади. Через поле. Афганцы, работавшие на нем, помогли мне спрятаться. Я видел, как поднялись вертолеты. Они видели, как я бежал, и все поняли.

Дня через два мы покинули кишлак и пошли в горы. Долго шли, пока не оказались в повстанческом отряде. Повстанцы смотрели на меня с любопытством, без злобы. В их руках были лишь древние буры — еще со времен британского нашествия. Другого

¹ Паки — пакистанцы (*солдатский жаргон*).

оружия в 83-м у них не было. Представляешь, кремниевые буры — против танков, вертолетов и самолетов. Это ведь правда. Оказалось, я попал в группу Саяфа. Они по-хорошему обращались со мной. Сначала я не понимал ни бум-бум... Позже появился человек, говорящий по-русски: он учился в Союзе, служил офицером, потом дезертировал из афганской армии.

— ...Саяф до сих пор воюет в Афганистане — сказал задумчиво лейтенант, — нашему батальону не раз приходилось скрещивать с ним шпаги. Отчаянный вояка, ничего не скажешь...

Мовчан погладил ладонью поверхность стола, взял еще одну сигарету, щелкнул электронной зажигалкой.

— Саяф, — Мовчан затянулся, — спросил меня, почему я ушел. Я сказал, что мне не нравится эта война, что я не хочу убивать афганцев. Саяф ответил, что его люди тоже не хотят воевать, но должны отстаивать независимость страны. Иначе борьба миллионов афганцев, живших раньше на этой земле, будет сведена на нет. Нельзя обесмысливать жизнь и пролитую кровь предков.

Я жил в отряде год. Передвигался по стране вместе с повстанцами. Тогда-то я увидел и понял, что это такое — афганское сопротивление. Когда мы приходили в деревню, нас с радостью встречали все: и стар и млад. Дети тащили еду. Женщины — одежду. Мое отношение к войне сложилось и приняло форму убеждения именно в тот год. Я понял, что вся наша... то есть советская, пропаганда насчет войны в Афганистане — ложь от начала и до конца.

Стал учить язык афганцев и постепенно неплохо освоил его. Я готов был сделать все, чтобы искупить свою вину перед ними, хотя не по своей воле пришел в их страну.

Приехав в Штаты в 84-м, я оказался одним из первых советских солдат здесь. Техническую сторону того, как я сюда попал, у меня нет желания обсуждать. Это может помешать другим военнопленным перебраться в Америку.

Я оказался здесь из-за того, что меня изначально обманули, послав воевать в Афганистан. Я не хочу, чтобы когда-нибудь мир судил меня, как судит преступников второй мировой войны.

Знаю, что в СССР сейчас начинают плохо говорить о ребятах, воевавших в Афгане... Заговорили, когда стало безопасно говорить и критиковать войну... Раньше надо было.

Я пытался завязать переписку с родными, но потом они сообщили, что у них начались проблемы. Я перестал писать. Не хочу, чтобы они страдали из-за меня. Это не их вина. Они хотели, чтобы я служил и слушался. Но я не внял их совету. Это моя жизнь. И если она сломана, то не родители виноваты в этом.

Мовчан не смог сдержать дрожь в голосе. Глубоко вдохнул прокуренный воздух.

Лейтенант слушал меня, словно ребенок сказочника. Глаза его были по-детски расширены.

— ... Когда я бежал из расположения через поле, — опять заговорил Мовчан, — я бежал не в Америку. Я не собирался сюда. Даже не думал об этом.

Я бежал не с Украины. Я бежал от войны. В США я приехал без особенной радости. Но у меня не было иного выхода. Я... Сейчас мне кажется, что дороги обратно у меня нет.

— ... Ну, это он зря, — сказал лейтенант, дослушав мой рассказ.

— Мовчан никогда не вернется, — ответил я. — Не чувствовал бы за собой вины, возвратился бы. Впрочем, каждый человек должен жить там, где хочет. Иначе — рабство.

— Он вернется. Он помнит каштан и деревенскую дорогу. Она выведет его. Вот увидишь. Просто он еще раз должен встать во весь рост и побежать. Как тогда. Буксируйте!

Солдат соскочил с БТРа и снял трос. Водитель сдал чуть назад. Солдат бросил трос в обрыв, где колесами вверх беспомощно лежала уже раскопанная машина. Людям пришлось снять с нее пятиметровый слой снега.

Солдат внизу поймал конец троса и надел его на скобу сметенного лавиной бронетранспортера.

Лейтенант сказал, чтобы для страховки зацепили вторым тросом и привязали к МТЛБ.

Со страховочным тросом возились минут десять. Он был слишком коротким, и МТЛБ, обдавая всех синими выхлопами, подъехал к самому краю обрыва.

— Теперь достанет! — крикнул солдат внизу, помахав рукой.

Лейтенант отколупнул монтировкой камень от скалы, подложил его под левую гусеницу тягача, вогнал острием в лед.

Взревели движки двух бронетранспортеров и МТЛБ. Вторая броня подталкивала первую сзади глухими ударами.

Лейтенант что-то кричал, стараясь перемочь рев машин и собственный ор.

Солдат внизу тоже кричал. Я это понял по его открывавшемуся и закрывавшемуся рту.

БТР, лежавший колесами вверх, дернулся и рывками пополз по почти отвесной стороне обрыва, оставляя за собой плотно утрамбованный след шириной метра в два.

Тягач всюду крутил гусеницы. Они скользили, выбрасывая изпод себя осколки льда. Под одну из них солдат бросил свой бушлат и получил его обратно через секунду с противоположной стороны в виде рваных лохмотьев.

Он что-то крикнул и истерически засмеялся.

Смеха его я не слышал.

Сержант-узбек начал толкать руками второй бронетранспортер, но лейтенант точным ударом кулака отбросил его.

Парни, которых откопали, теперь грелись в БТРе неподалеку. Один из них высунул голову из люка, нервно крутил ею в все стороны.

Минут через пятнадцать упавший с обрыва бронетранспортер уже лежал на дороге. Столько же времени прошло, пока его поставили на колеса.

Лейтенант, работая яростно легкими и выпуская из порозовевших ноздрей клубы пара, подошел ко мне и показал свои ладони.

Они были изодраны в кровь.

— Ты сейчас куда? — спросил я.

— Повезу тех двух в Пули-Хумри. Поедешь?

— Да. А оттуда в Найбабад.

Мы сели в бронетранспортер, еще тридцать минут назад лежавший в пропасти. Двигатель не заводился, стартер визжал вхолостую. Подъехал тягач и пару раз ударил нас сзади.

— Пошел! — обрадованно крикнул водитель.

Лейтенант закрыл люк над головой, зажег синюю лампочку и полез за сухпайком.

Мир сжался до размеров БТР.

— Нам ехать часа три. Наговоримся всласть, — сказал он, протягивая мне жестяную банку консервированного компота. — С Мовчаном все ясно. А как другие? Ты уговаривал их вернуться домой?

- Нет.
- Почему?
- Это их личное дело.
- Они поняли, как ты к ним относишься?
- Честно говоря, я и сам до сих пор не определил, как отношусь.
- «Афганцы» их не любят.
- Знаю.
- А что же с другими? — опять спросил лейтенант.
- С другими?

XIII

Рокот бронетранспортера сменился урчанием кондиционера. Теперь на мне вместо военной формы были выцветшая майка и вылинявшие от многократной стирки небесно-голубые джинсы.

Напротив за круглым столиком сидел Игорь Ковальчук. Взгляд его был спокоен. Незаметно менялось выражение лица, напоминая то древнеримского диктатора, то крестьянина-баска. Как и Мовчан, он беспрестанно сосал сигареты. Ворочал налитыми кровью глазами. Казалось, я слышал, как она тяжело и ритмично стучит его висках.

— Я харьковчанин, — он выдавил улыбку на пухлые губы, но тут же стер ее тыльной стороной ладони. — Родился в 60-м.

— Мы одноклассники, — заметил я.

— Замечательно, — сказал он. — Как и все молодые люди, я имел множество увлечений, но больше всего любил поэзию, спортивную стрельбу, историю, музыку и, конечно, девушек. Так вот, с первыми тремя увлечениями у меня не было проблем. А вот за музыку и девушек мне часто доставалось — меня учили, внушали, выговаривали...

С девушками было сложнее всего — эта проблема доходила до скандалов и в школе, и дома. На каждом родительском собрании моим родителям говорили, что они должны удержать сына от развращения. Меня стыдили, говорили, как мне не стыдно в такие молодые годы не ночевать дома, спать с девушками. Я взрывался и кричал: «Мне теперь 17 лет, и мне нельзя спать с девушкой, потому что я еще молодой, а когда я буду седой и старый скажут: надо же, такой старый, за бабами бегает!» Весь класс сме-

ялся, а учительница злилась, грозясь каждый день позвонить моей матери.

Итак, в 1978 году я окончил десять классов средней школы № 90 города Харькова. Получил паспорт, освоил профессию электромеханика по самолетам и пошел работать на авиационный завод. Дни летели за работой, вечера — за поэзией и стрельбой, я узнавал новых людей, переживал удачи, падения, любовь и рифмовал свои строчки. Я видел наш однообразный, инкубаторный люд, воспитанный партией. Так прошло два года, и властная рука системы вклинилась в мою жизнь, разорвала однотонный цвет моего существования и направила меня в армию.

На призывном пункте нас было 160 спортивных, умеющих стрелять ребят. Я был 120-м по счету команды № 80 особого назначения.

Попрощавшись с родителями, сестрой и друзьями, весной 1980 года я покинул свой родной и любимый город, забрав с собой воспоминания, поэзию и умение стрелять.

Поезд уносил нас на юг. Мы проводили время за картами и водкой. Так прошло 12 дней утомительного путешествия, и мы оказались в Туркменистане, в грязном провинциальном городишке, где находилась часть, в расположение которой весной 1980-го я прибыл вместе со своими товарищами.

Начались тяжелые дни физической подготовки. На каждые десять новобранцев было два сержанта, которые учили нас всему: нападению, обороне, работе штыком и прикладом и, конечно же, стрельбе. Со стрельбой у меня было отлично, но вот с физической подготовкой было сложнее.

Через два с половиной месяца мы приняли присягу. Нас всех построили и объявили, что на нашу долю выпала большая честь и партия доверяет нам выполнить наш интернациональный долг в Афганистане. Мы должны будем помочь афганскому народу удержать завоевания Апрельской революции и защитить его от кровожадного американского империализма, который вторгся на территорию дружественного нам Афганистана, ставя тем самым под угрозу наши южные рубежи.

В течение двух дней мы были расформированы, 160 человек разлетелись по земле Афгана.

Я и двенадцать моих друзей прибыли в расположение разведдесантного подразделения, позывной «Ромашка», которое находилось в 25 километрах к югу от города Мазари-Шариф...

— ... Через полтора часа мы будем в Мазарях, — ухмыльнулся лейтенант. — Чай хочешь?

— Давай.

Он бросил мне холодную флягу.

— Пакистанская?

— Ага, — ответил он.

Лейтенант сапогом расплющил пустую банку от компота, приоткрыл люк и выбросил ее на обочину уносившейся дороги.

... Ковальчук зачем-то расстегнул и опять застегнул ворот рубашки. Пригладил волосы на голове, защебил указательным и большим пальцем прямую переносицу, закрыл глаза. Помолчав с минуту, продолжил:

— В расположение 7-й роты я попал после обеда. Капитан Руденко посмотрел на нас и торжественно объявил: «Вот, братва, теперь вы есть мясо, натуральное мясо, предназначенное для шакалов. Запомните мои слова: вы должны стать волками или умереть — одно из двух. Не понюхав крови, не сможешь жить, не сможешь бегать, тебя загрызут!» Потом капитан позвал старшину и приказал выдать нам оружие. Слова ротного командира впились в мой мозг волчьими клыками. Ничего не понимая, я думал: почему он такой злой, что мы ему сделали, за что он на нас набросился?

Но уже через месяц я был хуже его.

Получив должность разведдесантника, заслужив доверие старших ребят похабными шуточками, я чувствовал, как меня засасывает огромный кровавый водоворот, в котором я теряю способность думать. Только работаю штыком и прикладом. Скоро я потерял своего друга Олега. Потом был Витя. Его последние слова были: «Ты знаешь, Гарик, прожить мы могли бы по-другому».

Я терял контроль над собой, кричал сквозь слезы, поливая землю пулеметным огнем.

Так прошло шесть месяцев службы. Я стал как все: закрывал глаза павшим товарищам без дрожи в руках, курил наркотики. Кисло-сладкий запах крови уже не выворачивал мои внутренности тошнотой, при стрельбе в упор не зажмурился.

В январе 1981-го я понял слова ротного командира. Превратился в заедаемого вшами матерого волка. Мне было присвоено звание ефрейтора, три месяца спустя — звание младшего сержанта и должность оператора-наводчика.

Я не знал, чего я хочу. За все время службы под мой пулемет не попал ни один американец. Просыпался и снова думал: почему бы властям не сказать нам всю правду?

По вечерам я выл с тоски, а утром смеялся.

Несколько эпизодов из жизни там стали для меня поворотными.

Дело было в полку в Мазари-Шариф. Шестая горнострелковая рота. Служили в ней три неразлучных дружка: один парень по фамилии Панченко, второй — киевлянин, третий — с Алтая. Фамилии этих двоих не помню. Как-то раз они здорово напились браги. Захотелось им «гаша» и барана. Пошли в соседний кишлак. На дороге повстречали старика. Ну, они бухие!... Словом, хрясь его по голове, аж у автомата цевье отскочило. Правда, они этого не заметили. Деда в кусты затащили и пошли дальше. Добрались до кишлака, зашли в дом. Там женщина. Начали ее насиловать, та — орать. Выскочила сестра. Молодцам не оставалось ничего другого, как заколоть тех баб. Зашли в следующий дом. Там дети. Солдаты открыли по ним огонь из АК. Всех уложили, а одному удалось скрыться. Панченко потом на суде говорил, что по пьяни не заметил пацана, потому, дескать, и не удалось его прикончить. Потом зашли в дуکان. Взяли целый мешок гашиша, прихватили барана. Возвратились в часть. Панченко обнаружил, что на автомате нет цевья, а на цевье ведь стоит номер автомата... Потопали обратно. Деда доби́ли, чтобы не крякал. Нашли в кустах цевье. Опять вернулись.

Утром строят роту. Выходит спасшийся мальчуган. Следом за ним — ротный, замполит и особист. Парень обошел строй и указал пальцем на Славку. Панченко и Славка — словно братья-близнецы. Славка не выдержал, крикнул: «Вон Панченко, он убивал, пускай и расплачивается!» Панченко вышел из строя. Пацан завизжал: «Она! Она в меня стрелял!»

Суд был в Пули-Хумри². Длился шесть месяцев — показательный. Потом осужденных отвезли в Термез. Перед отъездом они сказали, что будут писать письмо Брежневу, просить о помиловании. Пока подследственные сидели в Пули-Хумри, им ребята с полка регулярно героин и опиум давали. Шприц достали раньше. Долбились ежедневно. На пятый месяц они закололись до чертиков —

¹ Бухие — пьяные (жаргон).

² Панченко был приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение.

ходить не могли, их водили. На суде Панченко сказал: «Когда на операциях я по вашему приказу двадцать человек в день на тот свет отправлял, вы говорили — молодец! Отличник боевой подготовки! На доску почета!.. А когда я жрать захотел — хорошо, надо было я тогда, пьяным был, — и пошел за бараном, потому что продовольствия не было, убил таких же людей, что и всегда убивал, но на сей раз не по вашему приказу, вы меня судить вздумали?!» Суд заявил, что Панченко извергает антисоветскую пропаганду... Ротный тогда пришел к нам и сказал: «Вот видите, братва, три дурака попались. Делайте, что хотите, но не попадайтесь!»

— ... Не верю, что ротный так сказал. — Лейтенант сплюнул в люк. — Не верю, и basta!

— В рассказе Ковальчука я обнаружил достаточно логических несостыковок, — заметил я. — Однако меня интересует не столько мера правдивости его рассказа, сколько образ мышления этого человека. Конечно, и он, и Мовчан, и другие дезертиры старались оправдать свое бегство в моих, но, главное, все-таки в своих глазах. На меня им было плевать. Они знали, что мы вряд ли еще когда-нибудь свидимся.

— Кто их разберет... — задумчиво произнес лейтенант и положил ноги на сиденье. — А Ковальчук считает, что он благородней Панченко?

— По-моему, нет.

Я взял флягу, гревшуюся у воздуховода, и сделал большой глоток крепкого чаю.

... Ковальчук налил в пластиковый стаканчик «коку» и, лихо запрокинув голову, осушил его до дна. Словно стопку водки.

— Сколько раз, — сказал он, — мне самому приходилось делать то же самое. Просто-напросто Панченко попался, а другие — нет.

Ковальчук покрутил сигаретку в крепких, мозолистых пальцах с обгрызенными ногтями. Понюхал ее, закурил.

— Как-то, — вспомнил он, — у нас скопилось три битых БТРа. Надо было отправить их в Союз. По этому поводу начальство заставило нас три дня корячиться, отвинчивать днище. Туда надо было барахло засунуть, чтобы в Союзе сдать. Контрабанда. Ведь никто на границе не будет дрючиться со шпангоутами, смотреть, что везут. Проверяющий подмахивает бумагу, а не хочет — его покупают.

От нас два солдата ездили в Союз, сопровождали. Чтобы они держали рот на замке, офицеры разрешили им пару недель дома поболтаться... Половину барахла солдаты унесли тогда с собой: думаешь, офицер помнит, что везет? Сколько за годы войны наркотиков и оружия в Союз было переправлено — подумать страшно...

После гашиша — крутой кайф. Правда, следом — зверский аппетит. Вот тогда-то и прешь за бараном в кишлак. Можно хорошо отключиться, если накуришься и напьешься одновременно. Но вот чем гашиш плох: если в твоей голове застряла какая-то проблема, она начинает тебя убивать, сводить с ума. Я дурил, бесился от гашиша. Начинал опять и опять думать о войне, о том, кто же следующий в этой б... роте?!

На операцию лучше всего идти обкуренным¹ — звереешь. После водки или сухого спирта, разбавленного в воде, ты все свое тело чувствуешь, а после наркотика — вроде как обезболиваешь себя, вообще перестаешь что-либо чувствовать. Только вот потом приходишь и падаешь. Словно где-то внутри завод кончился. И каждая мышца болит. А на «боевых» — куришь и бегаешь. Куришь и бегаешь, как чумной. Гашиш глушит эмоции, сглаживает нервные срывы. А их полно. Особенно в начале.

Видишь, как приятель в кишлаке ногой дверь вышибает. А оттуда — смуглая тощая рука с серпом. Р-ра-раз по брюху — все кишки на земле. А приятель стоит, смотрит и поверить не может, что это не во сне. Ты видишь такое — тебе плевать, что и кто там в доме. Ты туда «лимонку» — одну, другую. Бум-м! Крыша взлетела. Когда ты накурился, не замечаешь, что устал. Носишься козлом по горам и кишлакам без остановки.

Ковальчук достал из кармана синий платок и вытер им вспотевший лоб. Капельки пота катились от висков вниз по щекам. Правый уголок рта чуть дрожал.

— Потерял я себя там, — сказал он упавшим голосом. — Потерял... Потом еще случай был... Хотя погоди, дай стих прочитаю.

Он откинулся на спинку стула, глянул вверх, словно было там начертано что-то видимое ему одному. И начал тихим низким голосом:

¹ Обкуриться — выкурить сигарету с наркотиками.

Дорога,
Колесом раздавлена душа...
Нервы,
Банку водки пропускаю.
Кошмар,
Куски судьбы.
Я девочку в белом вспоминаю.
Рамадан.
Она так молода,
Через дорогу, словно лебедь, проплывала.
Рывок, толчок —
Кровавая слеза мне на сердце
По триплексу спадала.
И только пульс
Налитых кровью глаз.
Свою сестру на место той я ставил.
И снова крик,
Скрипели тормоза,
Тянули жилы,
Ад мне напевали...

Несколько мгновений он сидел молча, опустив глаза.

— Так вот, стихи я написал после одного случая, — сказал Ковальчук. — Сопровождали мы группу артистов, которые неожиданно свалились на наши головы. Мы только что провели недельную операцию в переулках Айбака и приехали в расположение, чтобы выспаться. А тут на тебе! Звонит начальник штаба и говорит: «Слышь, ребята, артисты приехали выступать перед афганскими коммунистами, так надо их до Джаркундука подкинуть, да и вам интереснее с бабами проехаться». Хорошо, сделаем. Сели по машинам. Выехали на дорогу. БМП, соприкоснувшись стальными зубчатыми гусеницами с асфальтом, взревела, выбросила клубы черного дыма и набрала скорость.

В десантном отделении машины находились молодая певица, прапорщик и я. Прапорщик все приставал к девушке с дурацкими шутками, показывал ей свой пистолет, рассказывал про свои похождения. Я же поглядывал на нее редко, только когда отрывался от прицела. Она сидела за пультом лазерного оператора, и получалось так, что мы встречались глазами. И вот в один момент она мне говорит: «У тебя красивые глаза. Я бы хотела иметь такие, давай поменяемся». — «Слышишь, девушка, оставь меня, если я оторвусь от прицела, то ты и я окажемся на том свете, поняла?» — ответил я ей. Прапор все продолжал рассказывать о том,

какой он великий вояка. Вдруг она сказала: «Пошел ты вон!» Водитель услышал это, обернулся и, скаля зубы, крикнул прапору: «Молодец, баба! Как она тебе врезала!» Зазевавшийся водитель не сумел удержать машину. Она пошла юзом прямо на обочину дороги, где стояли ребятишки — девочка двенадцати лет и мальчик. Было ему лет семь, не больше. Мальчик выскочил из-под гусеницы, а девочка не успела. Ее широко открытые черные глаза смотрели мне прямо в прицел. Я заорал: «Коля, вправо!» Но было уже поздно. Левый бок машины слегка качнуло — девочку намотало на гусеницу. Я видел сквозь триплекс пустоту. Все еще слышал крик девочки. Прапор рыпнулся к рации: «Ромашка!» «Ромашка!» В ответ заорал капитан: «Приедешь, я вам всем... дам!» У машины номера были замазаны грязью ее не запомнили.

Когда мы подъехали к месту, певица, увидев кровь на броне, спросила: «Ой, что это!» Прапор стал объяснять. Певица стояла, кивала головой, приговаривала: «Да, понимаю... Что поделаешь... Война есть война...» Повернулась и пошла петь свои дурацкие песни.

А я сидел на башне машины с Колей, курил гашиш, проклиная себя, певицу и прапорщика.

Ковальчук скрестил руки на груди и выпусти мне в лицо струю дыма.

— Два года, — сказал он, — я выполнял все приказы, которые мне давались. Потом подумал: не могу я так жить больше!!! Не могу жить в этом обмане! Господи, думал я, ведь он меня будет преследовать всю оставшуюся жизнь. Я постараюсь, конечно, залить ложь водкой. Но найти себя не смогу. Даже написать о пережитом не смогу. Ведь тогда, в 80-м году, замполит говорил, что по возвращении из Афгана мы не имеем права рассказывать про войну.

Я решил уйти, когда мне оставалось всего десять дней до отъезда, когда, собственно, все бумаги и документы уже были у меня на руках. Я написал последнее письмо домой, собрал всю свою амуницию, взял оружие и ушел.

В кишлаке неподалеку меня приютили партизаны. Мы сидели и пили чай. В какой-то момент я спиной понял, что кишлак окружают наши. Меня схватили, вернули на кундузскую гауптвахту. Началось четырехмесячное следствие.

31 июля 1982 года я попытался уйти опять. Пошел в сортир, отодрал доску от стены, пролез в дыру и рванул. На этот раз я

победил. Четыре долгих года провел в повстанческом отряде. Теперь я здесь. Все.

Ковальчук сидел молча, устало опустив голову. Я ждал несколько секунд, перехватил тяжелый взгляд Ковальчука, посмотрел на него в упор: глаза — в глаза.

— А теперь, — попросил я, — попытайся объяснить мне свой уход как можно более компактно. В двух-трех предложениях

Он долго глядел на меня, не моргая, словно вдаль.

— Я понял, — медленно сказал Ковальчук, — что не смогу смотреть в глаза матерей погибших в Афганистане солдат. Поэтому я ушел. И на этот раз окончательно.

— Интересный тип, — задумчиво произнес лейтенант. — Только вот никак не пойму, почему он не смог бы смотреть в глаза матерей. Не вижу логики.

— Я тоже.

XIV

Ранние сумерки омрачили небо над Пули-Хумри. Ветер долго гонялся за тучами, словно собака за голубями во дворе. Разогнав их и решив, что на сегодня хватит, он улегся и теперь лишь изредка скулил где-то далеко в горах.

Очень долго было не видно ни одной звезды, но вот наконец, разливая вокруг себя мягкий зеленый свет, зажглась одна. Снега здесь не было — он остался на Саланге. Под ногами сыто чавкала грязь.

— Если хочешь жить в грязи, поезжай в Пули-Хумри, — сказал с недоброй угрюмостью лейтенант, спрыгнув с бронетранспортера и поводя по сторонам мутным взглядом.

Он плюнул в ладонь, стряхнул серые брызги с бушлата.

— Приехали? — зачем-то спросил я, хотя прекрасно знал ответ.

Механик-водитель взял тряпку и принялся счищать ею грязь с того места на броне, где был номер машины.

— Иди вон в том направлении, — лейтенант указал на контуры далекого модуля. — Там штаб полка. А мы двинем к медикам.

Из-за каменной ограды появилась миниатюрная женская фигурка. Она выскользнула из ворот, нагнулась, взяла что-то в руки и пошла обратно.

— Фьюи-ить! — присвистнул лейтенант. — А я думал, всех баб уже отправили.

Улыбка застыла на его лице. Несколько мгновений он молча стоял, провожая женщину мечтательным взглядом. Вдруг заговорил стихами:

Красивое имя-отчество
Для подвига и для ночи.
Помощница и обуза —
Со всех уголков Союза.
Приехали, чтоб сражаться,
Приехали, чтоб развлекаться.
Связисты, врачи и старшины —
Пред вами ломались мужчины...

Лейтенант, выдержав паузу, спросил:

— Слышал такие стишата?

Я кивнул.

Фигурка почти растворилась в темноте. Женщина шла по яркой лунной дорожке, лежавшей в мокрой грязи, словно полоска сильно измятой фольги.

— Ну, Бог даст, свидимся. Пока! — Придерживая рукой шапку, лейтенант побежал туда, где ночь прятала второй бронетранспортер.

Он скрылся, а я вдруг понял, что так и не спросил его имени.

Показав на КПП удостоверение, я зашагал по лунной дорожке и вскоре нагнал миниатюрную женщину, что вдохновила лейтенанта на чтение стихов.

— Простите, где штаб полка? — спросил я.

Женщина обернулась, показав лунно-бледное лицо.

— Вон там, — медленно ответила она, указав рукой на запад. — Но в штабе сейчас только дежурный.

Она была красива, вызывающе красива.

— Вы откуда? — поинтересовалась она.

— С Саланга

— Я иду в столовую. Есть хотите?

— До смерти. Вы официантка?

Она кивнула, чуть заметно улыбнувшись.

Столовая встретила нас гулкой пустотой. Холодно горели лампы дневного света. Женщина ушла на кухню, долго гремела посудой, хлопала дверьми. Появилась минут через десять с алюминиевым чайником и тарелкой лапши в маленьких смуглых руках.

— Вот, — сказала она, присев на стул рядом. — Прямо с пылу.

— Вы давно здесь?

— Кажется, всю жизнь.

— Надоело?

— И да, и нет.

— «Да» понятно. А почему «нет»?

— В Союз страшновато возвращаться, — сказала она, подперев кулачком подбородок. — Я, собственно, и уехала-то от проблем: семейных, денежных, сами знаете...

— Как же вас муж отпустил? — спросил я, подлив в кружку горячего чая.

— Понимаете, так я устала от нашей с ним бедности, от долгов, что однажды не выдержала и сказала ему: «Ты бы, Коль, съездил на Север. Подзаработал, а?»

— А он?

— А он наотрез отказался... — Какая-то детская растерянность проступила в ее серых глазах и застыла в них. — Тогда я сказала, прекрасно понимая, что он не позволит: «Если ты не хочешь, я сама поеду и привезу денег».

Женщина нервно постучала вишневыми ногтями по столу и добавила:

— Но он ничего не возразил. Просто повернулся на другой бок. Даже не поинтересовался, куда.

Она достала из правого кармана бушлата пачку папирос «Беломорканал», долго распечатывала ее. Закурила.

— Но подзаработать не удалось, — женщина выпустила тонкую струйку дыма, он ударился о поверхность стола и медленно растекся по ней, обволакивая, словно утренний туман, две кружки и опустевшую тарелку. — В прошлом году здесь взорвались армейские склады, все накопленное добро сгорело. Потому-то наш полк и называют «погорельцами»...

От ее лица исходил едва ощутимый сладковатый запах пудры, легких ландышевых духов. Поежившись от налетевшего сквозняка, женщина обняла себя за плечи.

— Всяко тут было, — задумчиво сказала она. — Последний месяц повадился ходить к нам в часть один афганский майор. На днях он мне вдруг заявил: «Ханум¹, я тебя женюсь!» — «Аллах с тобой! — говорю ему. — Я замужем». А он: «Женюсь — все!» Потом поняла: он этого добивается, чтобы уехать со мной в Союз.

¹ Ханум — женщина (*дари*).

Бойтся оставаться один на один с «духами»... И смех, и грех, ей-Богу...

Ночь я провел в летном модуле неподалеку от столовой. Крысы нагло, с отчаянным весельем пиروвали под дощатым полом, не давая спать. Проворочавшись часа полтора на скрипучей койке, я закурил.

За тонкой стенкой офицеры допоздна смотрели видеомагнитофон, и время от времени раздавался их громовой смех. Скоро все звуки стихли и в комнатку, перегороженную пополам парашютной материей, вернулся ее хозяин, старший лейтенант Вареник. Он сел на стул и долго матерился по поводу того, что «соляру отправляют в первую очередь, а летчиков — во вторую». Вареник зло ударил роскошным ботинком на шнуровке и «молнии» по электроплитке, но успел поймать слетевшую с нее кастрюлю. Потом достал из-под своей койки чемодан и принялся запикивать в него бесконечный свадебно-белый парашют.

— Это зачем? — поинтересовался я.

— Устрою тент на садовом участке, — огрызнулся он.

Часа в четыре начала бить безоткатка. В такт ей вздыхал целлофан на окне, позвякивали танковые колеса, которыми были обнесены стены летного модуля, — самодельная защита от реактивных снарядов.

Я опять лег, но скоро почувствовал, как мне на лицо падают капли ржавой воды из кондиционера. Пришлось лечь головой в противоположную сторону.

Промаявшись всю ночь напролет, я под утро забылся в нервном, неглубоком сне.

Снилась бесконечная взлетно-посадочная полоса, уходившая за горизонт, взлетавшие и садившиеся истребители-бомбардировщики. От их рева даже во сне ломило в висках.

...Сколько часов я провел на наших авиабазах в Афганистане под яростным солнцем Баграма и Джелалабада, Шиндада и Кундуза, Кандагара и Герата? Сейчас уже не подсчитать. Острым саднящим клинком врезались в память 39 минут и 42 секунды боевого вылета на МиГ-23 в июне 86-го. Тогда, три с лишним года назад, полет вызвал во мне пьянящее чувство странного восторга: представьте, что вы катаетесь со сверхзвуковой скоростью на адских «американских горках». Но прошло время и вместе с ним восторг. Образовалась серая, холодная пустота, постепенно наполнившаяся непонятной смесью тоски и вины. Мы летали четверкой на северо-восток, к границе с Пакиста-

ном, прячась в рельефе гор от паковских радиолокационных станций. Подполковник Карлов и я шли в «спарке», под крыльями которой не было ни одной «пятисотки». И хотя наш МиГ не бомбил сегодня, от этого не было легче. Вернувшись на авиабазу в Баграм, я лег на койку в комнате отдыха летного состава и долго слушал, как жалобно пиликает афганский сверчок. Эти слабые повторяющиеся звуки усиливали тоску. Несопоставимость МиГа и сверчка раскалывала сознание, словно попытка понять бесконечность.

Последний или, как говорили наши в Афганистане, крайний раз я был на баграмской авиабазе неделю назад, в самом начале января. Жил в модуле прямо у ВПП и не мог спать, потому что штурмовики давали форсаж над моей крышей и головой. Познакомился с бравым военным летчиком, ходившим вразвалочку, руки в карманы роскошной, вкусно пахнущей кожаной куртки. Как-то раз сидели мы с ним в ЦБУ¹ — просторной темной комнате, едва освещенной многочисленными приборами. На стенках были изображены наши боевые самолеты и самолеты вероятного противника, висели карта-решение командира полка на отражение воздушного нападения, карта группировки ВВС и ПВО вероятного противника на ТВД², ТТХ³ своих и чужих самолетов. В дальнем углу красовались опознавательные знаки истребителей-бомбардировщиков Афганистана, Пакистана, Ирана, Китая и Индии.

— У каждого из наших летчиков, — сказал Антон, хлопнув рукой по развернутой на столе карте, — сильно развито чувство профессионального самолюбия. Так что он стремится нанести точный удар, попасть именно туда, куда ему было приказано. Даже если это кишлак, в котором, кроме мятежников, возможно, есть и мирные. Раз взлетел, значит, надо точно нанести БШУ. Лично у меня такая позиция. Я запретил себе ощущать что-либо во время бомбардировок. Все свои личные чувства и сомнения следует оставлять на аэродроме. Или держать при себе. Если действовать иначе, неизбежно возникает вопрос: для чего мы здесь?

Я посмотрел на стену и прочитал: «Г-16» — экипаж один человек; практический потолок — 18 тысяч метров; максимальная скорость — 1400—2100; максимальная перегрузка — 7—8 единиц.

¹ ЦБУ — центр боевого управления.

² ТВД — театр военных действий.

³ ТТХ — тактико-технические характеристики.

Вооружение: пушка «Вулкан», бомбы, НУРС». Потом подумал: неужели этот человек испугался журналиста? Или история, рассказанная мне про него, ложь?

Суть ее заключалась в следующем: несколько месяцев назад он в паре с ведомым пошел на север наносить БШУ по кишлаку, где засела банда. Через несколько секунд после сброса бомб ведомый крикнул в СПУ¹: «Кажись, промазали...» Оба штурмовика сделали противоракетный маневр, спрятались в облаках, развернулись, но пошли не на кишлак, а домой — в Баграм. Лишь на подлете ведомый дождался ответа: «Ну и слава Богу, что промазали».

В июне 86-го, находясь здесь же, в Баграме, я, помнится, подсел к одному мальчиковатому летчику. Из кармана его бежевых летних брюк наивно торчала огоньковская книжечка повестей Экзюпери. Взгляд светлых, как небеса, глаз был мрачным. Потерянно кривились ранние горизонтальные морщинки на тонкой коже лба. Я открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос, но меня придержал стоявший рядом подполковник. «Оставь парня, — посоветовал он, — не бери у него интервью. Это наш пацифист. Любит, понимаешь, думать».

Баграмская авиация работала денно и нощно. В среднем она сбрасывала за сутки около 200 тонн боеприпасов. Бывало и больше. Например, в период обеспечения операции «Магистраль»². Тогда ежедневный расход боеприпасов достигал 400 тонн.

Непросто жилось баграмским летчикам. Они рисковали не только в воздухе, но и на земле. Обстрелы РСами участились со второй половины августа 88-го. Особенно тяжело пришлось 13 ноября и 26 декабря.

По другую сторону аэродрома обосновались афганские летчики. Им тоже приходилось несладко. Особенно если учесть, что недели через две вся советская авиация должна была подняться и уйти в Союз, оставив их наедине с оппозицией.

— Национальное примирение — что это? Почему? — спрашивали они, разводя сухими коричневыми руками. — Почему примиряемся с врагом? С врагом дерутся!

¹ СПУ — самолетное переговорное устройство.

² «Магистраль» — кодовое название армейской операции 1988 года, позволившей выбить со стратегической дороги на г. Хост отряды вооруженной оппозиции и доставить в ранее блокадный город провизию и боеприпасы. Операцией руководил генерал-лейтенант Б. В. Громов.

Двадцатисемилетний майор Амин медленно встал из-за стола, и все затихли.

— Я, — сказал он и утопил тонкие пальцы в густой бороде, — начальник ОТП¹ полка. Шесть лет назад окончил летное училище в Союзе. За пять лет я налетал тысячу пятьсот часов. Ты мне можешь верить. Я солдат Халька. Объясни, почему мы врага раньше звали бандитом, потом басмачом, потом террористом, затем экстремистом, дальше — непримиримым, а сейчас — оппозицией? Но ведь с оппозицией не воюют!

В глазах его вспыхнули два вопросительных знака.

— А кадровый политика?! — Он встал со стула, быстро и нервно заходил по комнате. — Почему так много продажных людей командуют нами? Прислали вдруг в Баграм человека и дали ему МиГ. А он перелетел в Пакистан. Почему нам его дали? Я всегда знал, что он предатель. Он всегда промахивался, не попадал по кишлаку, хотя всем известно было: там банда сидит... Но нас убеждали, говорили, что он революционер. Почему так?

Он подошел к карте, висевшей на стене, и прислонился к ней тощей, узкой спиной.

— Вы уходите! — выкрикнул он. — Мы все равно будем воевать. Но, если нам опять плохо, вы придете помогать афганский друг?

Амин помолчал, а потом подошел совсем близко ко мне, спросил:

— Придете?!

От этого вопроса холодок пробежал по спине.

Поздно вечером того же дня я вылетел из Пули-Хумри на паре вертушек в Найбабад.

XV

Погода была паршивой. Вертолет мотало и трясло, словно грузовик на проселочной дороге, зубы отчаянно выстукивали чечетку.

Рядом со мной летел прокурор из бывшего Кундузского гарнизона — человек с аккуратными черными усиками, быстрыми внимательными глазами и слегка скошенным по кончику носом.

¹ ОТП — огневая и тактическая подготовка.

Из одного кармана он достал портативный фонарик, их другого — мятый нераспечатанный почтовый конверт. Наведя на него луч жидкого света, чертыхнулся:

— Сучьи сыны! Прокурорам не доверяют... Опять! — В голосе его слышалась тихая, сдавленная злоба. — Полюбуйтесь-ка...

Прокурор протянул мне конверт с жирным штемпелем: «Поступило со следами вскрытия. Оператор УФПС¹».

— А вот предыдущее — от жены, — он сунул руку под ремень подвесной парашютной системы, крестом обхватившей его грудь, и достал из кармана пожухлый конверт.

Я разглядел на нем другой штемпель: «Поступило в грязном виде. Оператор №...»

— Как-то я не вытерпел, — опять заговорил прокурор, стараясь встретиться со мной глазами, — вызвал фельда и отчитал его: «Что за хамство?! Я же прокурор, полковник, в конце концов!»

— А что фельд? — спросил я, возвращая конверт.

— Говорит, что не он читает, а спецслужба в Алма-Ате... Вы, кстати, вооружены?

— Только этими двумя, — ответил я и показал два кулака. — А вы?

— Есесно! — лукаво улыбнулся прокурор и похлопал по кобуре. В ней лежал пистолет «Стечкина». — И вон еще, — он кивнул на сиденье.

Там трясся новенький автомат с подствольным гранатометом. Чуть позже я разглядел на полковнике нагрудник, плотно набитый магазинами для АК и гранатами.

— Вы самый вооруженный человек в Афганистане, — заметил я. — Мне страшно сидеть с вами.

— Не смейтесь, мало ли что!

— Лететь долго. Расскажите-ка какое-нибудь интересное дело, которым вам пришлось заниматься.

— Боюсь, — махнул он рукой, — я вас разочарую. Не дают нам заниматься крупными рыбами. Разрешают — лишь мелочевой. Все сделано для того, чтобы не подпустить прокурора к настоящим преступлениям, к мафии.

— Что вы называете мелочевой?

— К примеру, несколько лет назад поступило распоряжение бросить все силы на выискивание, извините за выражение, «неза-

¹ УФПС — Управление фельдъегерской почтовой связи.

конных» бань в частях и подразделениях, жестоко карать тех, кто их построил. Понимаете, нас отвлекают этой мелочью. А ежели иной раз возьмешь рыбину на крючок, так звонить начинают аж из Москвы, приказывают прекратить дело...

— Я в Кабуле познакомился с одним прокурором. По-моему, он целую неделю занимался тем, что допрашивал солдатика, решившего заработать себе на медаль.

— Самострел, что ли?

— Да. Парень оттянул кожу на животе и выстрелил через бронжилет... А дезертирами или пропавшими без вести вы не занимаетесь?

— Как не занимаемся! — восторженно воскликнул полковник. — Конечно, занимаемся.

Я отодвинул шторку и глянул в иллюминатор. Казалось, небо и земля поменялись местами. Все пространство внизу было усыпано тысячами маленьких звезд, слабо мерцавших в ночи. Над головой же клубилась крошечная тьма.

— Скорее всего, это Рабатак, — предположил полковник.

— А не Айбак?

— Может быть. Когда прилетим, я дам вам кассету с допросом одного из дезертиров.

— Сухаревская амнистия на него не распространяется?

— Пока Указа Президиума Верховного Совета¹ не было, нас она, если честно, мало волнует, — полковник улыбнулся и подмигнул мне. — Политика политикой. А солдат в узде держать надо. Так-то.

— Что сейчас с Целуевским? — спросил я.

— Это тот, что вернулся прошлой осенью из США?

— Да.

— Его дело прекращено. Парень попал в психиатрическую лечебницу. Хотите чаю? У меня хороший, индийский...

— Хотите чаю? У меня хороший, индийский... — Маргарита Сергеевна Переслени, маленькая, прежде времени состарившаяся женщина, разгладила выдавшую виды скатерку на круглом столе и пошла неверной походкой на кухню в дальний конец коммуналки.

В этой московской квартире стойко пахло бедой и одиночеством. Жалобно скрипели половицы под старческими ногами ее

¹ Указ был принят позднее — в декабре 1989 года.

обитателей. Холодно, в такт громыхавшим на дороге грузовикам позвякивали замызганные оконные стекла.

Юрий Сергеевич Кузнецов, брат Маргариты Сергеевны, прикрыв за ней дверь, опять сел в кресло и закурил папиросу. Сморщив кожу на переносье, сказал почти шепотом:

— Знаете, сохнет она по ему. Истосковалась вконец. Я гляжу на сестру — у меня, у старика, сердце закипает. Последнюю рубаху отдам, только бы увидеть ее улыбку. Хоть разок...

Глаза его слезились. Но вместо того чтобы вытереть их, он снял массивные очки и протер краем выпущенной рубахи толстые линзы.

— Учился он в школе № 83, — Юрий Сергеевич опять надел очки, ударил по ним пальцем, чтобы переносица лучше вошла в паз. — Знаете, тут неподалеку восемнадцатый троллейбус, остановка «Школа»... Окончив восьмилетку, пошел в ПТУ. Потом работал на заводе «Салют». 11 мая 83-го Алешку забрали в армию. С тех пор ни она, ни я его не видели.

Я услышал шаги Маргариты Сергеевны. Остановившись, она поставила звякнувший крышкой чайник на пол, открыла дверь, опять нагнулась, взяла чайник, тихо вошла в комнату.

— Когда мы прощались на вокзале, — брат помог сестре расставить чашки на столе, — бабушка Алешки навзрыд плакала.

— Двух других внуков провожала спокойно, — сказала Маргарита Сергеевна, доставая из рассохшегося буфета песочное печенье, — а Алексея моего — с ревом. Словно предчувствовала беду.

— Отбыл Алексей шесть месяцев в ашхабадской учебке, — по-стариковски вздохнул Юрий Сергеевич, — потом — Кабул. Потом — часть где-то в горах. Потом...

— Потом, — подхватила Маргарита Сергеевна, — 26 января 84-го года из Краснопресненского военкомата сообщили, что сын мой, Алексей Владимирович Переслени, пропал в Афганистане без вести.

Она закрыла лицо штопаным-перештопаным фартуком и сидела так несколько минут без звука и движения.

Юрий Сергеевич приставил указательный палец к губам.

— Тс-с-с...

За окном темнело. Августовский дождливый день шел на убыль, уступая место теплой, душной ночи.

— Замаялась она, — сказал, помолчав, Юрий Сергеевич. — С

утра до ночи работает в «Узбекистане», выпекает чебуреки. Там духота, крики, пьяные...

Женщина отняла фартук от глаз, посмотрела на меня внимательно-жалко. Спросила чуть севшим голосом:

— Скажите, вы из КГБ?

— Нет, — улыбнулся я. — Из «Огонька».

— Из журнала? — оживился брат.

— Из него самого.

— Так когда вы уезжаете в Америку? — Юрий Сергеевич встал с кресла и сел к столу. Отломив кусочек печенья, он макнул его в чай.

— Завтра. Очень хочу повидать вашего сына, но, к сожалению, у меня нет его адреса.

— Какой он, Алешка, теперь? — задумчиво произнес Юрий Сергеевич и подул в чашку.

— Возмужал, крупнее стал, — горделиво сказала Маргарита Сергеевна. — Вот его фотка. Он мне недавно прислал. Правда, малость подурнел с лица. Уж не мальчик. Любашка, дочь моя, едва признала брата.

Она подошла к комоду, достала картонную коробку. Бережно обняв ее руками, поднесла к столу.

— Видите, — она протянула мне несколько писем и цветную фотографию, — это мой Алексей... На фоне собственной машины и гаража в Сан-Франциско...

— Разбогател Алешка! — мотнул головой Юрий Сергеевич.

Чего было в этом движении больше — гордости ли осуждения, я не понял.

— Если желаете, — улыбнулась Маргарита Сергеевна, — прочтите письмо. Там, кстати, адрес и телефон указаны...

Я взял из ее слегка дрожавшей, покрытой ранними пигментными пятнышками руки белый разлинованный лист бумаги с тремя фабричными дырочками на полях.

Бумага прохудилась на сгибах. Была она исписана еще не устоявшимся, школьным почерком. Я начал читать:

«Здравствуйте, дорогие мои мама и Любашка!

Получил от вас письмо. Был очень, очень рад. Наконец-то за три года первый раз. Я очень рад, что все живы и здоровы. Любашку на фотографии я не узнал. Так изменилась. Стала красавицей. А ты, мама, похудела. А в общем, выглядишь, как 11 мая 1983 года. Рад слышать, что бабушки живы и здоровы.

Я работаю все так же поваром. Уже многому научился. Очень люблю свою специальность. Такое ощущение, что я был рожден стать поваром. Готовлю французскую, итальянскую, китайскую, американскую кухни. Немало, правда? Я жалею, что я не с вами, а то бы не дал Любе идти работать в 16 лет. У меня есть немножко опыта за плечами, и я советовал бы ей пойти в институт. Она неглупая, а образование откроет ей широкий путь в жизнь.

Ну, а в общем, она уже не малая. Голова есть на плечах, и не глупая. Пусть делает так, как считает нужным. Да, деревушку нашу жаль. Долго-долго я вспоминал дни, проведенные там. Но чему быть, того не миновать. Хорошо, что у бабушки все нормально. Да, кстати, почему ты не написала, как бабушка Саша? Что с ней? Вот я не ожидал, что Мишка так быстро женится. Интересно, я знаю ее или нет? Пусть напишет. Да, как Игорь Ореховский — помогает вам? Что с ним? Ну, пока и все. Вроде больше нечего писать, да и я не любитель расписывать драматические романы.

Живу я в Сан-Франциско. Все хорошо. Есть огромная квартира, гараж, машина. О чем мечтаю, мама? Наверное, ты должна знать это не хуже меня. Америка, мама, это не моя родина. И этим все сказано.

Может быть, настанет время и все мы встретимся.

Ну, пишите — не забывайте. И присылайте хоть по одной фотографии всех родных и близких. А также фото отца.

Ну, всех люблю и помню.

P.S. Жду Ирины адрес!

Алеша.

Посылаю фото».

В конце письма указаны его телефон и адрес. Я переписал их.

— Кто такая Ирина? — спросил я, отдавая конверт и письмо.

— Девочка его, невеста, — ответила Маргарита Сергеевна, сдерживая слезы. — Они встретились когда-то.

— Он спросил ее адрес, — сказал я.

— Адреса у меня нет, — развела она руками. — Но телефон ее передайте Алеше.

Маргарита Сергеевна, надев очки, открыла истрепанную телефонную книжку на букву «И», протянула ее мне.

— Пока вы читали Лешкино письмишко, — просительно улыбнулся Юрий Сергеевич, — я настроил ему ответ. Захватите?

По оконному карнизу ковылял сизый голубь с розоватыми ободками вокруг строгих глаз.

— Знаете, — неуверенно начал Юрий Сергеевич, — вы с Алексеем поаккуратней. Он парень нервный.

— А что такое? — спросил я.

— Детство у него трудное было, — пояснил Юрий Сергеевич. — Ритина семья жила бедно. Муж любил выпить. Крепко бил ее. Даже когда она беременная была. Алешка рос, видел все это, сначала плакал, потом замкнулся в себе. Когда Лешке десять стукнуло, отец его сгорел.

— Как?

— Оголенный провод, — Юрий Сергеевич поставил чашку на блюдце, — высокое напряжение. Бывает...

— Он часто пишет вам? — спросил я Маргариту Сергеевну.

— Не очень, — сразу же отозвалась она. — Но иногда звонит. Последний раз я бросила трубку.

Она положила руки на острые колени и беззвучно заплакала, ткнувшись подбородком в грудь. Было в этой позе такое отчаяние, такое бессилие перед судьбой, что я невольно обнял ее за вздрагивающие узкие плечи.

— Тс-с-сс! — опять зашипел брат на другой стороне стола и поманил меня рукой.

Я сел ближе к нему.

— Понимаете, — шепотом объяснил он, — мы с Ритой думаем, что звонит нам из Америки человек, говорит голосом Алексея... Но это не Алексей.

— Кто же он, этот человек? — вторя Юрию Сергеевичу, шепотом спросил я.

Он пригнул голову к столу, почти касаясь его подбородком, сказал, обдав меня горячим дыханием:

— Видимо, из американской разведки...

— Но почему вы думаете, что это не ваш племянник? — рискнул поинтересоваться я.

— Понимаете, — ответил Юрий Сергеевич, — он говорил с каким-то едва заметным акцентом. Но Рита сразу же уловила его. Это во-первых...

— А во-вторых?

— Во-вторых, — уже чуть громче, уверенней сказал он, — в одном из писем Алексей поздравил мать с... Пасхой! Но ведь наш

Алексей никогда и в церкви-то не бывал! Тут американцы, конечно, допустили ляп, непрофессионально сработали... Это невооруженным глазом видно.

Маргарита Сергеевна успокоилась. Она упрямо смотрела в окно. По ее лицу пробегали слабые блики света.

— И письма не его, — упавшим голосом сказала она. — Все написаны под диктовку. Я своего Алешку-то как-нибудь знаю. Не его письма.

— Честно говоря. — признался я, — не могу понять до конца вашу логику.

— Логика простая, — попытался объяснить брат. — После смерти отца Лешка остался единственным мужчиной в доме. Матери помогал во всем. Иной раз о друзьях забудет, но Риту — никогда... Вот он пишет, у него теперь машина, гараж, дом... Да если б наш Алешка был, он себе бы отказал, но матери помог. Ведь знает, в какой нищете она живет!

— Как же ему вам из Сан-Франциско-то помочь? — опять не понял я.

— Денег бы выслал! — отрезал Юрий Сергеевич.

— В почтовом конверте?

— В почтовом конверте! — подтвердил он. Немножко подумал и опять поманил меня пальцем. — Есть верный способ проверить, Алешка это или же его двойник-агент. Алексей в детстве посадил дерево рядом с нашим деревенским домом. Спросите того человека при встрече, что это было за дерево. А потом сообщите нам, вот мы и проверим...

— Хорошо... Скажите, когда вы получили первое письмо от Алексея? — спросил я.

— Давно. — Маргарита Сергеевна продолжала смотреть в окно.

Юрий Сергеевич барабанил пальцами по столу.

— Можно посмотреть? — спросил я.

— У нас его нет, — ответил Юрий Сергеевич, глядя перед собой.

— Где же оно? — не унимался я.

— В КГБ, — сказала Маргарита Сергеевна. — Я сама отнесла его в КГБ, в тот же день когда получила.

— Зачем? — спросил я, чувствуя, как вянет мой голос.

— Эх, молодой человек, — посмотрел мне в глаза Юрий Сергеевич. — Были бы вы моим сверстником, испытали б то, что пришлось мне, не задавали бы этих вопросов...

Маргарита Сергеевна подлила себе в чашку воды из остывшего чайника.

— Хотите подогрею? — предложила она.

— Спасибо, — поблагодарил я. — Мне уже пора... Скажите, это русская фамилия — Пе-ре-сле-ни?

— Почему вы спрашиваете? — В глазах брата появилась настороженность.

— Любопытства ради. Впрочем, если не хотите, не отвечайте...

— Нет, почему же? — Юрий Сергеевич встал из-за стола и, упершись в него пальцами, глядя на сестру, объяснил: — Я думаю, что корни итальянские. Но, во-первых, это было все давно. А во-вторых, фамилию Переслени носил Ритин муж. А он, как вы знаете, уже лет пятнадцать назад отошел в лучший мир...

— Может быть, вы передадите Алексею что-нибудь на память из дома? — Рита Сергеевна опять обняла картонную коробку, прижав ее к груди.

— Пожалуйста, — согласился я. — А что именно?

— Можно расческу... — Она принялась торопливо перебирать бумаги, документы и вещи, лежавшие в коробке. — Нет, расческу я оставлю себе... Она еще пахнет Алешиными волосами... Вот, если хотите, его профсоюзный билет, а?

— Давайте, — я взял зеленую книжечку из ее рук. — Алексею, если наша встреча состоится, будет приятно поддержать его.

— Вот тут есть фотография, — показала Маргарита Сергеевна. — Алеше на ней всего лет пятнадцать...

— ... Так что вы взяли с собой в Сан-Франциско: профсоюзный билет, письмо от дяди и телефон любимой девушки? — спросил прокурор, демонстрируя профессиональную память и умение слушать.

— Да, — ответил я. — И еще текст сухаревской амнистии.

— А любимой девушке вы позвонили?

— Конечно. Но ее не оказалось дома: Ирина отдыхала где-то на юге.

— Ну, не томите, — улыбнулся прокурор, — что же было в Сан-Франциско?

— Знаете, — сказал я, — это мне надо вас расспрашивать, а не вам меня. Я же журналист. Вот уеду с пустым блокнотом, а виноваты будете вы.

— У журналистов, прокуроров, следователей и разведчиков, — заметил он, — есть одна общая черта.

— Это какая же?

— Все они душу готовы запродать ради интересной информации.

XVI

Солнце взлетало над Сан-Франциско быстро-быстро, словно желтый воздушный шар. И уже часам к девяти утра город был до краев залит воскресным солнечным половодьем.

На западной его окраине шумел океан, тщательно вылизывая бежевые пляжи. Соленый ветер сквозняком носился по аккуратным улочкам, шумел в пальмовых листьях, гладил теплой ладонью лица людей. Сан-Франциско показался праздником после удушливых будней Нью-Йорка.

Схватив в аэропорту такси, минут через тридцать я оказался в центре города, на 16-й авеню. Сбросив скорость до пятнадцати миль, ветхий «додж» плавно заскользил по ней. Водитель нажал на тормоз напротив дома № 1221, и автомобиль легонечко качнуло, словно на волне. Я расплатился и вылез из машины, чувствуя, как яростно стучат маленькие молоточки в висках. Взгляд мой магнитом притянуло окно на втором этаже компактного особняка. В его обрамлении я увидел бледное лицо и два внимательных, настороженных глаза.

Молоточки заколотили еще отчаянней. Холодной ладонью я вытер с затылка теплый пот. Медленно поднялся по ступеням на второй этаж. Позвонил. Дверь открылась без скрипа. Я увидел то же лицо и те же голубые, ломающие встречный взгляд глаза.

— Здравствуйте, — сказал я на всякий случай по-английски, не будучи уверен, что передо мной Переслени. — Вы Алексей?

— Да, — ответил он и зачем-то провел ребром ладони по белевым, в проталинках усам.

Я представился и протянул ему руку. Его пожатие было слабым, неуверенным.

Из комнаты вышел Микола Мовчан.

— Хай, — сказал он и улыбнулся.

— Привет! — поздоровался я, но на сей раз по-русски. — Какими судьбами на Западном побережье?

— Путешествую, — ответил он, пожав плечами.

Судя по этому беззаботному жесту, можно было подумать, что он здесь проводит каждое утро, а вечером возвращается на Восток.

— Почему с Миколой ты говоришь по-русски, а со мной по-английски? — спросил Переслени. В голосе его сквозила смесь осторожности и обиды.

— Потому что с ним мы уже знакомы, — ответил я. — А тебя, Алексей, я знал лишь по фотографии. Боялся ошибиться.

— Проходи в ливинг-рум¹, — пригласил он, открывая массивную, кофейного цвета дверь.

Гостиная оказалась просторной светлой комнатой с камином, диваном и журнальным столиком. У широкого окна курил сигаретку чернявый крепыш лет двадцати в потертых джинсах и нейлоновой куртке. Он поздоровался со мной, сунул в магнитофон кассету и прислонился спиной к белой стене. Через секунду запел Розенбаум:

Лиговка, Лиговка, Лиговка!
Ты мой родительский дом.
Лиговка, Лиговка, Лиговка!
Мы еще с тобой попоем...

— Пущай поет, — сказал крепыш. — Разряжает атмосферу.

— Мое появление сильно накалило ее? — спросил я.

Мовчан дружелюбно улыбнулся. Крепыш, который, как выяснилось, работал каменщиком-строителем здесь же, в Сан-Франциско, сдвинул и без того сросшиеся черные брови.

У камина стоял книжный шкаф, уставленный книгами на русском языке. Судя по названиям, почти все они были посвящены разным периодам российской истории. Взгляд упал на бежевую брошюрку «Николай II — враг масонов № 1».

— Долго будешь в Сан-Франциско? — спросил Мовчан.

— Нет, — ответил я. — Думаю улететь одним из сегодняшних вечерних рейсов.

— Думаешь или улетишь? — не унимался он, вперившись в меня тяжелым взглядом.

— Улечу, — сказал я.

Мовчан и чернявый крепыш заметно успокоились.

Послушав песенку, Мовчан хлопнул в ладоши и резко встал с дивана.

¹ Гостиная (англ.)

— Ну, — сказал он, — нам пора. Дела, понимаешь...

— Понимаю, — согласился я.

— Ну, прощай! — Мовчан протянул руку.

Через минуту хлопнула входная дверь.

Переслени вернулся в комнату, поменял кассету в магнитофоне. Уменьшая громкость, спросил:

— Что же тебя все-таки интересует?

— Твоя жизнь, — ответил я.

— Как видишь, — он иронически удовлетворенно обвел глазами свою квартиру, — живем — хлеб жуем. — И засмеялся, румянея в скулах.

— Да, — согласился я, — квартирка и впрямь недурная. А где же гараж с машиной?

— Сейчас, видишь ли, их нет... — уклончиво ответил Алексей. — А откуда тебе известно об этом?

— Рита Сергеевна показала фотографию, где ты стоишь на фоне машины и гаража. В письме ты тоже, если помнишь, об этом писал.

— Как мама? — вдруг спросил он, глядя в окно, нервно кусая ноготь.

— Юрий Сергеевич сказал, что за последнее время она сильно содала. Я был у них перед отлетом из Москвы.

— Бедная моя мама... — Переслени подошел вплотную к окну, положив на стекло ладони, прильнув к нему щекой. Постоял так с минуту, резко повернулся. — Садись на диван, — сказал он. — У нас времени мало: скоро Ленка придет, не даст нормально поговорить.

— Жена твоя? — спросил я, вспомнив про Ирину.

— Подруга... — махнул рукой. — Жена... Какая разница, так, живем вместе. Потом поглядим-посмотрим.

— Это все ты читаешь? — спросил я, кивнув на полки.

— Ленкина библиотека. — Он вскрыл банку содовой. Разлил воду по стаканчикам. — Но я тоже листаю. Интересно все это. В Союзе ничего подобного у меня не было. Само-, так сказать, образовываюсь... Ну, спрашивай, валяй!

— Как приняла тебя Америка и как принял ее ты?

Переслени потер пальцами лоб, что-то вспоминая.

— Прилетел я сюда осоловелый... — начал он. — Сам понимаешь. Плен. Дорога. Нервы... Сперва привезли нас в Нью-Йорк. Странно, знаешь, было ходить незнакомому среди незнакомых... Интересно, таинственно. Я бродил, заглядывал в окна, витрины,

в лица... сильно подействовал на меня этот сияющий город. Сознание как будто подернулось отупляющей пеленой.

Он ногтем мизинца скovyрнул табачную крошку с переносицы, выпил еще воды, закурил.

— Ходил я по Нью-Йорку, — продолжал он, — и не знал, что делать: благодарить судьбу или проклинать... Благодарить — потому что меня вытащили из плена. Проклинать — потому что я оказался отрезанным от своего прошлого... Словом, привезли нас в Нью-Йорк и спросили: «Ребята, хотите в магазин — такой магазин, какого вы никогда в своей жизни не видели». Мы сказали: «Валяйте, ведите!» Привели. Заходим в огромный магазин-супермаркет. Все залито электрическим светом. Потолки от продуктов трещат. Нас фотографируют, на магнитофон наши реплики записывают. Потом спрашивают: «Ребята, какое у вас впечатление от Америки?» Я ответил: «Ваши женщины умопомрачительно красивы, но русские еще лучше!» Они как-то кисло улыбнулись. Понимаешь, я столько лет — не дней, а лет! — женщин нормальных не видел, что обалдел именно от них, а не от количества жратвы. Война и плен отбили нормальные юношеские чувства: просыпаясь утром в Афганистане, я думал не о женском теле, а о смерти, о том, сколько мне осталось жить — два часа, сутки, год?

Мягкой походкой он прошелся по комнате. Вставил другую кассету в магнитофон. Розенбаума сменила Пугачева. «Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты...» — пела Алла в доме № 1221 на 16-й авеню Сан-Франциско.

— Аме-ерика... — задумчиво произнес Переслени и хрустнул мослаками пальцев. — А что Америка?! Америка тебе дает оппортьюнити¹. Америка дает тебе пристанище. Америка учит тебя жить...

Он опять сел на диван и вдруг заплакал. Как ребенок — отчаянно, навзрыд. Он не стеснялся своих слез.

— Когда тебя бросают одного, — он смотрел на носки своих кроссовок, перехватывая рукой капельки слез, — ты как птица среди океана. Ты ищешь берег. Так вот и я... Попробуй пристань... Слава Богу, я пристал хоть к этому берегу. Слава Богу... Ты видишь, я начинаю потихоньку обживатьсь. Вот это гнездо наспех с Ленкой свили... Получаю я достаточно.

¹ Возможность (англ.).

Он несколько мгновений помолчал, отбросил волосы со лба, опять повторил:

— Все-таки достаточно... Но никогда ты не вырвешь из сердца то, что было в тебя вложено, — твою ро-ди-ну... Куда бы тебя ни забросило. В тебя это вло-же-но.

Переслени оттянул майку на плече, вытер ею красные глаза. Нитка клейкой слюны повисла на губе.

— Что для меня Америка?! — невозможная судороги в груди и горле, спросил он сам себя тусклым неровным голосом. — Бул шит!¹ Америка — бул шит, прости меня за это выражение... Хочешь, будем говорить по-английски? Я уже умею!

Он предложил это тоже как-то по-детски, словно приглашая меня поиграть с ним.

— Не хочу, — почему-то ответил я тогда.

— Факинг Америка², — голос его чуть сел. — Ай ноу ай доунт лайк зис шит³. Но ай лайк американ пипл...⁴ Факинг шит! Б...! После посещения магазина нас спросили: «Ребята, куда вы хотите ехать?» Я сразу же выпалил: «В Калифорнию!» Меня спросили: «Почему в Калифорнию?!» — «Да потому, что я другого штата в вашей Америке просто не знаю!» — ответил я. Ну, словом, отправили меня в Сан-Франциско. Я приехал сюда. Здесь один мужчина меня встретил. В его доме я прожил несколько месяцев. Он же помог мне устроиться на работу. И вот стал я грузчиком. Грузил мебель, развозил ее, получал хорошие деньги. Мне все это очень нравилось. Но потом...

Зажмурившись, он зажал кончиками мизинцев виски, словно борясь с головной болью.

«Кто, не знаю, распускает слухи зря, — продолжала свой сольный концерт Пугачева, — что живу я без печали, без забот...»

Визгнула, резко затормозив, машина на дороге.

— ... Но потом, — Переслени медленно опустил руки на колени, — я связался с наркоманами. Начал наркотики принимать. Мне стало лень работать грузчиком, бросил свою работу...

Я глянул на тыльную сторону его левого локтя, но не увидел ничего, кроме голубого ручейка вены.

¹ Дерьмо! (англ.)

² Чертова Америка (англ.)

³ Я знаю, что не люблю это дерьмо (англ.)

⁴ Я люблю американцев... (англ.)

— Как ты связался с ними?

— Не важно как... Все равно это дрянь, гадость, дерьмо, падаль, которую надо давить ногтем, как вошь!

— Что было дальше?

— Дальше я устроился работать портным, но одновременно стал учиться чинить компьютеры. И мне все это удавалось... Я хорошо освоил электронику. Я и сейчас могу починить какой-нибудь компьютер, честное слово!.. Хочешь выпить? А то как-то пакостно на душе...

— Не откажусь.

— Тогда давай смотаемся в супермаркет. Это пять минут...

В магазине Переслени долго шарил глазами по полкам, пока взгляд его не воткнулся в пузатую литровую бутылку водки. Шевеля губами и бровями, он читал надпись на этикетке.

— Финская... — удовлетворенно постановил Переслени. — Все-таки рядом с Россией. Теперь — огурчики!

Строгим взором обвел он взвод стеклянных банок на нижней полке. Выбрал одну, лихо подбросил ее пару раз.

— Почти что с Рижского рынка!

Я расплатился с кассиршей.

Минут через десять мы уже поднимались на второй этаж дома № 1221.

Вытащив несколько сосисок из холодильника, Алексей бросил их на раскаленную, политую кукурузным маслом сковороду. Обжарив их с одного бока, он автоматическим, привычным движением подбросил сосиски в воздух, и они легли необжаренной стороной аккуратным рядком.

Когда мы сели за журнальный столик, он произнес, вонзив посерьезневший взгляд в стену:

— Давай выпьем за судьбу России. Чтоб ей везло в будущем столетии. Поехали...

Алексей опрокинул стаканчик в рот. Выпил одним глотком.

— Хорошо! — неожиданно перешел он на фальцет. Подумал. Скрестил сильные, чуть пухлые руки на груди. Заговорил обычным голом: — Темная штука — судьба... Когда мне было лет семнадцать-восемнадцать, я был влюблен в Юрия Владимировича Андропова. Хотелось пойти в школу КГБ, служить потом в его охране личным телохранителем. Я очень любил этого человека. Помнишь, как он с Мавзолея выступал в день брежневских похорон? Холодно было, снег шел. Все члены Политбюро стояли в шляпах и шапках, а он один — с открытой головой. Ветер воро-

шил его седые волосы. Говорил Андропов проникновенно, честно. Ведь очень долго никто у нас так с Мавзолея не выступал... Он был сильным человеком: заставил страну работать во время рабочего дня. Я очень гордился, что Андропов стал Генеральным секретарем...

Переслени откинулся на спинку стула, сунул руки в карманы джинсов, мечтательно улыбнулся.

— Но судьба, — нахмурился он, — распорядилась иначе. Меня не спросила, бросила в Афганистан. Я был сержантом. В моем подразделении служили два казаха. Они ненавидели меня уже за одно то, что я москвич. Били по-черному. До потери сознания и чувства боли. И приговаривали: «Служила тут до тебя одна русский — тоже с Москвы. Мы его перевоспитывай, как и тебя, потому что дурак, скотина! До тебя русский скотина ушла к душманам. Мы тебя перевоспитывай, ты тоже уйдешь!» Гнев их был страшен, а ярость — свирепа. Казалось, они хотели отомстить мне за все страдания своего народа. Я кричал: «За что, гады, бьете?» Они смеялись в ответ и били сильнее. Сапогами, кулаками... В пах, в живот, по голове. У-х-х-х! Вспоминать больно!

Переслени зажмурился. Вытер лицо ладонями, словно оно было мокрым.

— Они ненавидели меня еще до того, как встретили. Может, в этом и заключалось их жизненное предназначение. Ведь, если бы не они, я не ушел бы из части и мы с тобой здесь водку не пили... Мысль о том, чтобы уйти, подсознательно прорастала в моей голове во время и после побоев. Сами казахи вбивали ее в мои мозги, из которых они вытряхнули все, кроме этой спасительной мечты. Избитый, я ложился на пол, залезал под койку, чтобы не мозолить им глаза, и мечтал об уходе. Я мечтал сладострастно, с упоением. Моя мечта была моей мезтью казахам и судьбе. Я хотел жить только для того, чтобы когда-нибудь им отомстить. Другой цели у меня не было. В свою мечту я вкладывал все свое воображение и вдохновение, все, что во мне было. И даже то, чего не было. Я улыбался, когда мечтал. Эх, горек мой мед!

Мы встали и молча поглядели друг другу в глаза. Я слышал свое и его дыхание. Рот Переслени кривился змейкой.

— Третий тост! — сказал он.

Выпили мы за пятнадцать тысяч погибших в Афганистане.

— Словом, я ушел, — Переслени скользнул кончиком пальца по краю стола, — вернее, убежал после очередного боя в ви-

ноградник, забыв автомат в части. Так что «духи» взяли меня безоружного, тепленького. Они, кстати, тоже круто лупили меня — за то, что сдался в плен без АК... Уже через несколько дней я молил Бога и командование 40-й армии: «Миленькие, освободите меня из плена! Я воевал за вас и еще хоть пять лет воевать буду!» Но никто не освобождал. Мой Бог не слышал меня, и афганцы хотели заставить меня поклоняться их Богу — Аллаху. А это жестокий бог...

Он щелкнул пальцем по выключателю — в столовой зажегся свет, и я опять увидел мутно-серые слезы на его лице. Переслени продолжал:

— Я убежал из части не для того, чтобы перейти на сторону повстанцев. Я, веришь — нет, хотел пешком добраться до Италии. Считал, что там у меня есть родня. Думал, разыщу. В детстве, когда спрашивал мать, почему наша фамилия не Петров, не Иванов и даже не Тютюкин, она отвечала мне, что, видно, какой-нибудь прадедушка мой был итальянцем. С тех пор образ итальянского прадедушки с каждым годом все больше обретал реальность в моей голове. Я хотел спрятаться в его замке, где-нибудь в Неаполе от тех двух казахов... Но вместо Италии я попал в плен.

Переслени улыбнулся одними глазами, беззвучно зашевелил губами. Вернувшись из Неаполя в Сан-Франциско, а отсюда перенесаясь в Афганистан, он сказал:

— Там, в Афгане, встречал других русских пленных. Некоторые были совсем детьми... Как же можно было надевать на них военную форму, кирзовые сапоги посылать в Афганистан?! Как вообще можно детей-несмышленишек отправлять на войну? Это же прес-туп-ле-ни-е! Пусть воюют тридцати-сорокалетние — тоже, конечно, идиотизм, однако понять можно. Но не обманутые дети. Ведь нас же обманули и превратили в детский мясной фарш... Я-то хоть выбрался из него, а те, за которых мы пили, они-то нет! Теперь я расплачиваюсь за вторично дарованную мне жизнь. Расплачиваюсь одиночеством...

В Афганистане, — сказал Алексей после паузы, — я видел, как люди боролись друг с другом за будущее страны. Десятки стран сегодня борются за будущность мира. Я же предпочел, попав в Америку, уйти в семинарию и бороться с бесами только за самого себя. Каждый должен следовать за Богом в меру своего разумения. Там я понял, как далеко христианство от Христа, а коммунизм — от коммунистической мечты... Россия сегодня стоит на

пороге новой веры или философии — называй как хочешь. Мир прошел уже через религию Бога-Отца. Он познал религию Бога-Сына. Настал черед религии Бога — Духа Святого. Верю, что она выйдет из России.

Мысль его металась из стороны в сторону, словно птица по комнате. Говорил он быстро, глотая слова, изредка облизывая сухие губы. Глаза горячечно блестели.

За окном сверкнуло, словно кто-то сфотографировал нас при помощи вспышки. Через несколько мгновений где-то на западе Сан-Франциско ухнула гаубица.

— Как услышу гром, — Переслени прикрыл окно, — сразу же перед глазами Афганистан.

Пошел дождь, и несколько брызг упало мне за шиворот.

— Завтра на работу? — спросил я.

— Да, — ответил он. — Встану, как обычно, в шесть утра. Дорога занимает сорок минут — хожу пешком. К семи должен быть на месте.

— Где?

— В ресторане «На все времена» — «Фор ол сизенс». Я ведь повар. Очень люблю готовить. Мои хозяева — неплохие люди...

Почему-то резануло словосочетание «мои хозяева». Быть может, потому, что никогда за двадцать семь лет своей жизни я не произносил этих слов. (Моим хозяином был не конкретный человек, а система.)

Переслени вернулся из кухни с кофейником в руках. Присев на диван, он стал разливать дымящийся кофе по чашкам.

— ... Мне нравится работать у них, — продолжил он, потягивая кофе, — но я и сам хочу быть шефом. Я уже почти шеф. Поверь мне! Если бы я сейчас был в СССР, уже давно был бы шефом. И это не пустые мечты. У меня есть знания и хватка. Я пробьюсь, увидишь! Приезжай через пять лет — я буду всесильным миллионером. Сейчас необходимо поднакопить денег, тогда можно будет самому открыть ресторанчик. А потом — целую сеть, а?

— Я искренне желаю тебе успеха.

— Ведь как хорошо, что мама в детстве научила меня готовить! Какая она у меня умница!.. Так что я заработаю. Обязательно заработаю много денег. Уже сейчас у меня приличная зарплата.

— Алексей, мне пора.

— Погоди, довезу тебя.

Я достал из кармана письмо и положил его на стол.

— Это от дяди, — сказал я.

Он ловким движением вскрыл конверт, принялся читать. Глаза его забежали из стороны в сторону. Я сделал несколько больших глотков кофе, теперь уже остывшего и не обжигającego рот. Алексей сложил письмо, скользнул ногтем по сгибу.

— Что-то, — медленно и хмуро сказал он, — дядя стал шибко политикой увлекаться. Газеты, понимаешь, цитирует... Скажи честно, ему надиктовали?

— Юрий Сергеевич писал то, что ты сейчас прочитал, при мне. И никто не заставлял его это делать.

Я протянул Переслени бумажку, на которой шариковой ручкой был написан телефон Ирины.

— Ты в своем письме к матери просил сообщить адрес Ирины, но Маргарита Сергеевна адреса не помнит. Она дала мне вот этот телефон. Я звонил, но не застал Ирину дома — она где-то отдыхала.

— Тебе дали этот телефон в КГБ, — холодно постановил Переслени. — Я-то уж знаю. Ты сам-то капитан или уже майора получил?

— Вот это да! — хлопнул себя по щеке прокурор, когда мы подходили к КПП. — Запугали же, черти, парня! Значит, так и спросил — капитан ты или уже майор?!

— Так и спросил, — улыбнулся я.

— А ты сообщил ему, что его родная мать полагает, будто он пишет ей письма под диктовку ЦРУ? — спросил прокурор.

— Нет, — ответил я. — Сын и мать доведены шпиономанией почти до помешательства. К чему было подбрасывать дрова и в без того польхавший костер?

— Зря, — сказал прокурор. — Следовало сообщить... Так что же ты все-таки ему ответил?

— Если один человек убежден в том, что второй человек — верблюд, второму бывает очень трудно доказать обратное, — ответил я.

Переслени поглядел на меня исподлобья.

— Впрочем, — сказал он, — мне все равно, кто ты — гэбист или журналист. В любом случае приятно поговорить с человеком, приехавшим оттуда.

— Если не хочешь брать телефон, давай его обратно.

Он ничего не ответил, но бумажку с телефоном поглубже упрятал в карман.

Тут я вспомнил, что должен еще передать Переслени его старенький профсоюзный билет. Выложив его, сказал:

— Это тебе на память. Маргарита Сергеевна просили передать.

Алексей раскрыл книжицу и, глянув на фотографию, рассмеялся.

— Какой же я здесь дурак! Ах, дурак! И ничего еще не знаю о том, что случится со мной всего через год... Бедный, глупый мальчик...

... На пути в аэропорт мы заехали в сан-францисскую православную церковь. Она одиноко стояла последи огромного шумного города. Омытая вечерним, еще моросившим дождем. Окутанная туманом и темнотой. Внутри было тепло и сладковато пахло топленным воском.

Переслени подошел ближе к алтарю, и я краем глаза увидел, как зашевелились его губы...

— И крестом святым... Пречистая... Пресвятая... раба Божия... упование мое...

О чем просил Переслени Бога в тот теплый августовский вечер под шум дождя и потрескивание свечей? Услышал ли Господь его молитву? А если да, то как рассудил?

Приблизительно через две недели после моей поездки к Переслени в Генеральное консульство СССР в Сан-Франциско позвонил человек, назвавшийся Алексеем. Он просил о встрече. Сказал, что находится в закрытой для советских людей зоне Сизтла. Однако дело было в пятницу вечером и консульские работники уже собрались расходиться по домам. Человеку, назвавшемуся Алексеем, предложили связаться с консульством в понедельник утром.

Но он больше не позвонил.

Ирина недавно вышла замуж. По-прежнему живет в Москве и, как говорят, брак ее счастливый. Но иногда — раз или два в год, — когда странная тоска опускается на сердце, она подходит к телефону и, убедившись, что поблизости никого нет, звонит Маргарите Сергеевне. Они обмениваются новостями, долго разговаривают, вспоминая былое, и прощаются до следующего Ирениного звонка. Повесив трубку, Маргарита Сергеевна достает из комода картонную коробку и, беззвучно — чтобы не потрево-

жить соседей — плача, перебирает вещи, оставшиеся от Алексея: расческу, комсомольский билет, носовой платок... Ирина же спешно прячет в сумочку книжку, где записан телефон женщины, которой не суждено было стать ее свекровью, и идет хлопотать по хозяйству.

XVII

На центральном направлении вывода войск, в районе Южного Саланга, шла подготовка к последним боевым действиям против Ахмад Шаха. Но здесь, в Найбабаде, что затерялся среди бескрайних пустынных песков, в семидесяти километрах от советской границы, война, казалось, уже закончилась. О ней напоминали лишь бесконечные колонны боевой и транспортной техники, уныло тянувшиеся с юга на север, к Хайратону.

Близ этого глинобитного городка, в расположении мотострелковой дивизии начальник штаба 40-й армии генерал-майор Соколов разместил запасной армейский командный пункт. Дней за десять до пересечения границы последним советским подразделением сюда, как предполагалось, должен был переместиться командующий армией генерал-лейтенант Громов. На всякий случай оборудовали отдельный модуль для руководителя Оперативной группы Министерства обороны, все еще находившегося в Кабуле. Солдаты так и окрестили его — «домик Варенникова».

В расположении дивизии гасли последние огни. Ночной мороз схватил редкие лужи — они подернулись прозрачной корочкой льда.

Прокурор распрощался со мной близ штаба дивизии и растворился в темноте, похрустывая башмаками по мерзлой воде.

За стеной с колючей проволокой опустились на ночлег приподнявшиеся вертолеты. Вскоре пустыня поглотила и их глухое урчание.

Командир дивизии Рузляев сидел в своем кабинете за поздней кружкой чая.

Он был коренаст, широкоплеч и, казалось, сколочен на века. Прозрачно-голубые глаза на вышелушенном солнцем и ветрами лице зло посверкивали по сторонам. Движения — точные, быстрые. Он лукаво улыбнулся, прячась за фиолетовым дымом сигаретки.

Закончив десять лет назад бронетанковую академию, Рузляев был назначен начальником штаба танкового полка в Сибирский военный округ. Потом командовал МСП¹, а в 83-м Рузляев принял дивизию у полковника Шеховцова и с тех пор командовал ею. Сначала в Кундузе, а теперь вот в Найбабаде.

— С Шеховцовым мы познакомились в апреле 87-го, — вспомнил я, — когда он проводил операцию по уничтожению группировки Гаюра.

— В Багланах? — прищурился Рузляев.

— Да. И, хотя Гаюр был окружен с всех сторон нашими и афганскими подразделениями, блоки стояли через каждые двадцать пять — тридцать метров, ему удалось уйти. Он еще воюет?

— Воюет, тудить его мать! — чертыхнулся Рузляев. — Тогда, весной 87-го, Шеховцов и впрямь взял его в кулак. Казалось, не уйдет. Но Гаюр всех перехитрил. Одни убеждены, что он, переодевшись в женскую одежду, просочился сквозь окружение, другие — что подкупил царандоевцев и те вывезли его на бронетранспортерах. Их-то никто не проверял. Словом, предательство... И по сей день Багланы — большое место у нас. Я уже вывел оттуда полк — теперь он в Союзе, а Гаюр с Шамсом опять активизировались.

Улыбку смыло с его лица. Рузляев заметно посуровел.

Последние дни потрепали комдиву нервы. У родонового озера, близ 8-й заставы, пропал рядовой Стариков, в пули-хумрийском полку из-за пожара сгорели партбилеты и часть документов. Много забот доставляли десантники, двигавшиеся по дороге на север.

— Ох, уж эти мне «рэмбовики»! — Рузляев кивнул на черное окно, откуда доносился приглушенный рев боевой техники. — Гонора много, а дела мало! На днях встретил одного их прапора — вдупеля пьяный, а из карманов афошки торчат. И не десятки — тысячи! Так что не соскучишься. А тут еще Карп и Игнатенко...

11 января в 10.20 утра оперативный дежурный доложил комдиву, что повстанцы захватили УАЗ с двумя нашими военнослужащими. Рузляев бросился проверять. Выяснил, что двух людей и одной машины недосчитался полк связи. Оказалось, прапор-

¹ МСП — мотострелковый полк.

щик Павел Игнатенко и сержант Андрей Карп, взяв УАЗ, отправились в Ташкурган продать сгущенку, масло и несколько банок тушенки, украденных с продовольственного склада, но были обстреляны боевиками из банды Резока и взяты в плен.

Не долго думая, силами разведбата и разведроты Рузляев со всех сторон обложил повстанческий отряд, создал группировку артиллерии и несколько раз обстрелял партизанский КП. Черные вспышки разрывов месили землю, сотрясая все вокруг. Гарью наполнился воздух, и серый дым, словно туман, поплыл над песками пустыни.

Вскоре Резок прислал письмо Рузляеву, в котором просил прекратить залпы артиллерии и обещал вернуть Карпа и Игнатенко в обмен на 100 миллионов афгани и 50 пленных моджахеддинов. Чуть позже он передал комдиву через посланца список людей, которых требовал освободить.

За несколько дней Рузляев раздобыл 500 тысяч афгани и договорился с местными властями об освобождении из тюрем 21 моджахеддина.

Однажды утром он получил записку от Игнатенко:

«Находимся в кишлаке Кур. Ранены в ногу я и водитель. Первую медицинскую помощь нам оказали. Если можно, не стреляйте.

Игнатенко».

Рузляев написал ответ;

«Карп и Игнатенко!

Напишите ваше состояние, здоровье. Ежедневно к 16.00 через старейшин присылайте мне записки с ответами на поставленные вопросы.

Рузляев».

Ответную записку опять прислал прапорщик:

«Здоровье удовлетворительное. Держаться еще можно. Сколько надо, столько и будем держаться. Отношения стабилизируются. Лекарства нам надо.

14.20.

Игнатенко.

P.S. Больше писать не дают!»

Через день старейшины передали новое послание от Резока:

«Командир советской дивизии Рузляев!

Два ваших человека — Паша и Андрей — у меня. Их состояние очень плохое. Пока не освободите моджахеддинов, я их не отдам. Переписку запрещаю.

Когда моджахеды будут готовы, я сам укажу место встречи и обмена.

Резок».

Положив в сундучок 500 тысяч афгани, усадив в БПМ освобожденных партизан, Рузляев и начальник штаба армии Соколов двинулись 17-го утром в Ташкурган, где на мосту через реку Саманган должен был состояться обмен военнопленными. Весь район был оцеплен силами дивизии. В это же время подразделения МГБ под командованием полковника Хамида перекрыли кишлачные улицы вдоль реки.

Солнце стояло высоко над Ташкурганом. Воздух был прозрачным и холодным.

Было решено менять одного нашего на десять партизан.

Прибыв на место, Соколов и Рузляев внимательно осмотрели противоположный берег Самангана, оцетинившийся пулеметами и гранатометами. Резок стоял рядом с Карпом и Игнатенко. Женщина, одетая в европейскую одежду, снимала на видеокамеру сцену прощания командира отряда с военнопленными.

Дивизионные боевые машины заглушили движки. Их черные, тускло поблескивавшие на солнце пушки напряженно смотрели на ту сторону реки.

Боевики Резока подвели Карпа к мосту. К нему, только с другого конца, двинулись десять партизан в сопровождении рузляевских бойцов. Обе группы медленно пошли навстречу друг другу. Мост слегка зашатался. Слышны были лишь шаги да шум реки внизу.

Поравнявшись с теми, на кого его обменивали, Карп на секунду остановился, глянул им в глаза, потом на Рузляева и, превозмогая боль в ноге, побежал утиной рысью к своим.

С Игнатенко было сложнее. Ни с того ни с сего Резок вдруг отказался его менять. Рузляев про себя чертыхнулся. Соколов продолжал внимательно вглядываться в противоположный берег. Резок кругами ходил вокруг прапорщика, размахивая руками, что-то говорил.

С момента перехода Карпа через мост стрелки часов отсчитали пятьдесят минут.

Неожиданно Резок обнял Игнатенко и легонько толкнул его в спину. Через двадцать минут обмен был завершен.

Рузляев переправил на тот берег сундучок с деньгами и четыре автомата в придачу. Еще раз оглянувшись, посмотрел на Резока. Тот — на него. Стояли так с минуту. Потом развернулись и пошли в разные стороны от серой реки Саманган. Рузляев — на север, Резок — на юг.

— Карпом и Игнатенко, — сказал Рузляев, пробивая острым взглядом сигаретную дымовую завесу, — я занимался с 11 до 17 января. Резок оказался порядочным парнем — не склонял наших к измене, в Пакистан не отправлял.

Он прошелся по комнате, выключил телевизор. Подлив себе и мне крепкого рубинового чаю, сказал:

— Освободишь, бывало, солдата из «духовского» плена, а потом думаешь: а стоило ли? Однажды точно так же выменял я одного нашего, а он на меня — ушат грязи. «Ушел, — говорит, — я от вашей Советской власти. Ничего хорошего она мне не дала...»

Рузляев потрогал пальцами адамово яблоко, словно хотел убедиться, на месте ли оно. Несколько раз кашлянул, подошел к столу и тяжело опустился на стул.

Припомнились мне тут слова одного толстощекого майора из Пули-Хумри. Прессу он ненавидел люто, куда больше, чем «духов». Уставившись на меня черными, в любой момент готовыми открыть пулеметный огонь глазами, он процедил: «Странно, что вы из Казбека героя войны не сделали. Видно, не добрались еще...» Майор сплюнул и прожег в снегу черную дырку.

Казбек Худалов, выпускник Орджоникидзевского командного училища, перейдя на сторону повстанцев, сформировал отряд из десяти — двенадцати таджиков дезертиров и начал активные боевые действия против афганских правительственных войск и подразделений 40-й армии, обстреливал выносные посты и заставы. Изменники иной раз переодевались в советскую форму. Хитрость эта порой вводила в заблуждение даже бывалых солдат. Осенью 88-го года отряд Казбека действовал в районе баграмского перекрестка, обстреливая афганские посты, но зимой след его затерялся где-то в горах Панджшера.

...Рузляев выкуривал сигареты до самого фильтра — признак бережливого хозяина. Вот сейчас огонек почти касался его жел-

тых от никотина пальцев. Убедившись в том, что окурок не длиннее сантиметра, он его затушил правой рукой, а левой принялся распечатывать новенькую пачку.

— Война, — сказал Рузляев, — подошла к своему логическому концу. Сейчас принято ругать ее, поносить. Вместе с войной ругают и армию. А это опасно. Нельзя сваливать все грехи на военных. Если так будет продолжаться и впредь, возникни вновь какая-то опасная ситуация, армия воевать не пойдет... Это я могу обещать... Ну, пора спать. У меня в 4.20 утра первый доклад.

XVIII

Ночь я провел в вагончике на «Липской улице» — так солдаты окрестили асфальтированную дорожку, близ которой жил начальник политического отдела дивизии полковник Липский.

Небо над вагончиком было затянуто маскировочной сеткой, и ночью она шумела, словно лес.

Утром потянул теплый южный ветер. Он нагнал тучи и свел на нет мои шансы вылететь в Кабул. После разведки погоды стало ясно, что во всем виноват циклон, зародившийся где-то над Персидским заливом и теперь медленно передвигавшийся в северо-восточном направлении. Казалось, он решил облететь все войны на планете: Ближний Восток, Афганистан... Куда дальше? От сухого южного ветра, насыщенного запахами войны, волосы начинали сечься, кожа на лице — шелушиться, нервы — сдавать, а мозг — вянуть.

Всю первую половину дня я провел в Хайратоне, куда ездил от нечего делать в компании самого неразговорчивого капитана из всех капитанов, которых приходилось встречать. За три часа дороги туда и обратно он не проронил ни слова. Лишь один раз круто обматерил ваишника¹, не желавшего ставить печать на путевке водителя. В Хайратон мы мотались за углем для полка связи, но приехали с пустыми руками, потому что склад был наглухо закрыт.

Воротившись в Найбабад, я пошел к начальнику штаба армии Соколову просить вертушку до Кабула.

— Если ветер не уляжется, — сказал он, скептически глянув на небо из окна своего кабинета, — вертушки не пойдут.

¹ Ваишник — сотрудник военной автоинспекции (ВАИ) (разг.).

Наши кабульские журналисты Соколова знали мало. Известно было, что он сын бывшего министра обороны С. Л. Соколова, освобожденного от своих обязанностей весной 87-го года после того, как западногерманский летчик-любитель Руст беспрепятственно пересек нашу границу и приземлился на Красной площади. Знакомые офицеры мне говорили, что Соколов-младший — человек талантливый, дельный, простой в обращении.

Попал Соколов в Афганистан под конец войны, сменив генерала Гречкова, и сразу же схватил весь классический афганский боекомплект инфекционных болезней — гепатит и прочая. Из госпиталя вышел осунувшимся, ослабевшим. Громов вскоре после того отправил его в Найбабад.

Соколов говорил приятным баском, тихо, но уверенно. На худом лице часто вырисовывалась улыбка, располагавшая к откровенному разговору.

Одет он был в пятнистую эксперименталку. Невиданной белизны подворотничок подчеркивал смуглость лица. Было ему чуть за сорок.

— Когда вы приехали в Афганистан, — спросил я его, — долго осваивались?

— По опыту, — улыбнулся он в ответ, — могу сказать, что весь первый год вникаешь в дела, на второй год уже чувствуешь себя уверенно, а на третий можно съездить разок-другой на охоту. Курите? Пожалуйста...

Он протянул мне пачку сигарет.

— 40-я армия, — сказал я, — судя по всему, самая курящая на свете. Дымят все — начиная с командующего и кончая рядовым. Единственное, по-моему, исключение — генерал армии Варенников.

— Война, что поделаешь?

Разговор наш метался от темы к теме: сигареты, Генеральный штаб, боевая техника, Афганистан, дети, семья, судьба армии...

— Я, — Соколов вскинул глаза вверх, — с детства мечтал стать военным, хотел идти по стопам отца. Но он был против: армия в конце 50-х была не в почете, как раз тогда началось сокращение Вооруженных Сил... Но я попер всем назло. Пройшел путь от лейтенанта до генерала. Сейчас сын мой тоже мечтает об армии, но она нынче опять не в почете. Газеты высмеивают воинскую славу, патриотизм, даже мужество человека... Тяжко все это читать. Наши военные переживают трудную

пору. Много у нас проблем. Женатых людей среди младшего офицерского состава сегодня значительно больше, чем в годы моей молодости, нужны квартиры, а их нет. Зачастую в армию приходят не те люди, которых нам хотелось бы иметь, много больных — физически и психически. Все чаще встречаются наркоманы, потенциальные и реальные уголовники. Откуда, я вас спрашиваю, в Вооруженных Силах появилось слово «пайка»? Ответ ясен: его принесли с собой уголовники. Я убежден в этом. Процессы, происходящие в обществе, неизбежно отражаются и на армии.

По телевизору передавали программу «Время». Диктор Игорь Кириллов зачитывал текст очередного заявления Советского правительства по поводу ситуации в Афганистане. Соколов слушал внимательно. Когда Кириллов дочитал и сделал многозначительную паузу, генерал убавил громкость.

— Знаете, — сказал Соколов, — у меня складывается впечатление, что история не столько движется по спирали, как принято считать, сколько дует по кругу. Все повторяется, только с удвоенной, даже утроенной силой. Хотите, дам вам почитать одну книжку?

— Конечно, — обрадовался я, потому что за последний месяц не прочитал, кажется, ни единой строчки.

— Почитайте. И вы поймете, о чем я толкую. Только она у меня дома. Пройдем? Тут близко — минут пять ходьбы...

Вагончик генерал-майора Соколова разместился неподалеку от ЗКП армии. Обставлен он был достаточно скромно: койка, телевизор, видеомагнитофон, письменный стол, книги, диван. Усевшись на него, генерал раскрыл атташе-кейс и вынул потрепанный томик — ксерокопию книги генерал-майора Е. Е. Мартынова, служившего в начале этого века в российском Генеральном штабе. Называлась она «Из печального опыта русско-японской войны». Книга открывалась эпиграфом: «О, Русь! Забудь былую славу — орел двуглавый побежден, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен». Вместо предисловия Мартынов сопроводил ее своей статьей, написанной в середине января 1904 года, то есть за несколько дней до начала войны. Статья оказалась пророческой: в ней генерал Мартынов предсказывал поражение России.

Соколов разгладил ладонью самиздатовскую обложку, бережно раскрыл книгу и начал выборочно зачитывать абзацы, время

от времени переменяя авторский текст собственными комментариями. И потому порой было трудно определить, какие слова принадлежат Мартынову, а какие — Соколову.

— «В такой серьезный исторический момент, — начинает свою статью Мартынов (Соколов, глядя в книгу и водя указательным пальцем по строкам, на долю секунды оторвал взгляд от страницы, как бы проверяя, слушаю ли я), — пресса всего мира занята сравнением сил обеих сторон. Однако один фактор, чрезвычайно важный по своему моральному влиянию на армию — настроение общества, — до сих пор еще остался незатронутым.

Японский народ во всем составе, от первого ученого до последнего рабочего, проникнут патриотическим воодушевлением. Величие и благосостояние родины есть заветный идеал каждого японца, перед которым отходят на второй план его личные интересы...

Естественно, что при таком настроении общества армия, как представительница государственной идеи, как главное орудие для достижения национальных целей, пользуется чрезвычайной популярностью. Уже в начальной школе при изучении истории мальчику стараются внушить почтение к военным подвигам. С кафедры высших учебных заведений вместо космополитических утопий молодежь слышит проповедь здорового национального эгоизма. Призыв молодого японца в солдаты как для него самого, так и для его семьи — не огорчение, а радость. Состоя на службе, он на себе испытывает то уважение, которым пользуется в стране военный мундир».

Соколов опять оторвался от книги и глянул на меня.

— «Что же мы видим в России? — продолжил он с легкой улыбкой на губах. — ... В это время в полуобразованной России с кафедры, в литературе и в прессе систематически проводятся взгляды, что национализм есть понятие отжившее, что патриотизм недостойн современного «интеллигента», который должен в равной мере любить все человечество, что война есть остаток варварства, армия — главный тормоз прогресса и т. п.

Из университетской среды, из литературных кругов, из кабинетов редакций эти идеи, разрушительные для всякого государственного строя (безразлично — самодержавного или республиканского), распространяются в широких кругах русского общества, причем каждая тупица, присоединившись к ним, тем

самым приобретает как бы патент на звание «передового интеллигента».

Логическим выводом из такого мирозерцания являются полное отрицание всяких воинских доблестей и презрение к военной службе как к глупому и вредному занятию...

Такое отношение разумных классов общества к армии пока еще не успело испортить русского солдата, хотя и в народные массы начинает уже проникать яд «толстовства», но оно оказывает очень вредное влияние на офицерскую корпорацию...» Хотите воды? У меня есть пара бутылок боржоми.

Соколов открыл одну из них, стряхнув налипшие опилки. Пузырься, вода заполнила стаканы. Сделав несколько глотков, он вновь опустил глаза в книгу.

— «Наблюдая это грустное явление, — генерал поднял вверх указательный палец, — невольно приходишь к выводу, что для своего радикального излечения Россия нуждается в новой тяжелой године, вроде двенадцатого года, дабы наши космополиты на собственных боках испытали практичную приложимость проповедуемых ими утопий».

Соколов, сдвинув колени, открыл книгу на последних страницах. Вновь наполнил доверху стаканы.

— «Таким образом, — читал он уже последнюю главу, — в то время, как все государства, не исключая самых демократических, в интересах национальной обороны стараются воспитать народ в военном духе, наша передовая интеллигенция озабочена обратным и нисколько не стесняется открыто заявлять об этом даже во время неудачной войны.

В последние годы, — Соколов пропустил несколько предложений, пробормотав их скороговоркой, — наше правительство, созвав Гаагскую конференцию, само стало во главе антивоенного движения. Громкие фразы правительственного сообщения не смогли, конечно, устранить войны из вселенной, но они дали право всем многочисленным врагам существующего государственного и общественного строя, прикрываясь авторитетом правительственной власти, приняться за расшатывание устоев армии.

Замечательно, что, взяв под свое покровительство (во имя Гаагской конференции) эти идеи, в корне подрывавшие военных дух народа и армии, наша цензура не разрешала даже возражать против них. Мало того, когда я захотел издать перевод брошюры

германского профессора Штейнгеля, доказавшей невозможность разоружения, то и это мне было запрещено!

При таких-то условиях неожиданно грянула война с Японией, и появился сразу спрос на мужественного солдата, на самоотверженного офицера, на те военные доблести, которые только что оплевывались, на военное искусство, существование которого отвергалось!!!»

Соколов скользнул глазами вниз по странице. Что-то прошептал, перевернул ее.

— Ага, вот! — воскликнул он. — Не надоело?

— Продолжайте, — ответил я, а сам подумал: «Неужели и впрямь история у нас «дует по кругу» и генерал-майора Е. Е. Мартынова и генерал-майора В. С. Соколова разделяет почти столетие, но не образ мышления?..»

— «Темная народная масса, — читал дальше Соколов, — интересовалась непонятной войной лишь постольку, поскольку она влияла на ее семейные и хозяйственные интересы. Самые известия с далекого театра войны проникали в широкие народные круги лишь в виде неясных слухов.

Большинство образованного общества относилось к войне совершенно индифферентно; оно спокойно занималось своими обычными делами; в тяжелые дни Ляояна, Шахэ, Мукдена и Цусимы театры, рестораны и разные увеселительные заведения были так же полны, как всегда.

Что касается так называемой передовой интеллигенции, то она смотрела на войну как на время, удобное для достижения своей цели. Эта цель состояла в том, чтобы сломить существующий режим и взамен его создать свободное государство. Так как достигнуть этого при победоносной войне было, очевидно, труднее, чем во время войны неудачной, то наши радикалы не только желали поражений, но и старались их вызвать...» Не устали?

Я отрицательно покачал головой.

— Тогда слушайте дальше. Тут у Мартынова весьма интересный абзац о положении в тогдашней литературе, о писателях... «В то время как в течение всей войны японская литература в поэзии и прозе и песне старалась поднять дух своей армии, модные русские писатели также подарили нам два произведения, относительно которых критика нашла, что они появились как раз своевременно, это были: «Красный смех» Андреева, стремящийся

внушить нашему и без того малодушному обществу еще больший ужас к войне, и «Поединок» Куприна, представляющий злобный пасквиль на офицерское сословие. Кроме того, во время войны вся радикальная пресса была полна нападками на армию и офицеров. Дело дошло до того, что в газете «Наша жизнь» некий г. Новиков сказал, что студенты, провожавшие уходившие на войну полки, этим поступком замарали свой мундир.

В той же газете мы прочли, что в Самаре какой-то священник отказался причастить привезенного из Маньчжурии умиравшего от ран солдата по той причине, что на войне он убивал людей».

Соколов внимательно поглядел на меня и после недолгой паузы сказал, захлопывая книгу:

— «Какой ужас должен был пережить этот несчастный верующий солдат, отдавший свою жизнь родине и вместо благодарности в минуту смерти выслушавший от духовного пастыря лишь слова осуждения!»

Соколов молчал, а я пытался понять, кому принадлежала последняя фраза — ему или Мартынову. Он накинул на плечи пятнистый бушлат и зябко поежился — то ли от холода, то или от прочитанного.

— Словом, — опять повторил он, — история дует не по спирали, а по кругу. То, что восемьдесят лет назад писал Мартынов, точно ложится на нынешний день. Я имею в виду не только его мысли о роли общественного мнения, но и рекомендации по строительству Генерального штаба. Бери книгу эту и перестраивай Генштаб. Только вот не пойму, чего больше в этой ситуации — юмора или трагизма? Однако мне, к сожалению, пора на КП... Вам же советую сходить к летчикам и поинтересоваться насчет погоды: в районе Пули-Хумри только что должны были провести разведку. Если вертушки сегодня не пойдут, дам вам машину. Доберетесь на ней до Мазари-Шариф, а оттуда самолетом до Кабула. Идет?

XIX

Ночь утопила аэродром в густой, тяжелой мгле. Луна, прикрыв бледное лицо траурной вуалью облаков, холодно взирала на то, что происходило здесь, в Мазари-Шариф, на маленьком военном аэродроме.

Невидимые транспортники, потушив огни, садились и взлетали каждые тридцать минут.

Неожиданно метрах в трехстах над головой вспыхнула фара и начала с оглушительным ревом спускаться вниз, точно мотоцикл с горы.

Фара оказалась вертолетом Ми-8. В Мазари-Шариф он должен был забрать двух раненых. Они лежали на носилках под открытым небом близ выдавшего вида Ан-12 и молча глядели вверх. Лица их были бледнее луны. Подполковник, собиравшийся лететь вместе со мной в Кабул, укрыл одного из них своим бушлатом.

— Достану себе еще один в Кабуле, — произнес он, обращаясь к ночи. — Безобразия: все штабные ходят в свитерах, а солдатам на заставах не хватает.

В его глазах цвета хаки отражался свет лобового прожектора Ми-8.

Раненых погрузили в вертолет.

— Несчастные хлопцы, — сказал подполковник с горечью. — Завтра днем прилетят в Ташкент и поймут, что никомушеньки не нужны. Ни невестам. Ни стране... Мы тут воюем, а нас помоями обливают. Мерзко.

Он достал из рюкзака брезентовую штормовку с капюшоном и бросил ее себе на плечи.

— Я, что ли, развязал эту войну? — обратился он вдруг ко мне. — Мне, что ли, она была нужна? Правительство сказала «надо» — и мы пошли. Теперь же нам это ставят в вину. Я политработник. Как все это объяснишь солдатам? Эти раненые, между прочим, еще осенью прошлого года могли оказаться в Союзе — срок службы истек уже тогда. Но командование попросило всех, кому предстояло увольняться, остаться еще на шесть месяцев, потому что иначе армия здесь оказалась бы сплошь состоящей из молодняка, не нюхавшего пороху. И они остались. Вот теперь вернутся домой, а их в награду за службу травить начнут: убийцы, живодеры!.. Здесь сложилось боевое товарищество — может быть, единственное, что человек приобрел в Афганистане на этой войне. За девять лет окрепли традиции 40-й — роковой... А что с ней делают!! Расформируют! Не будет больше 40-й армии...

Вокруг нас образовался круг людей. Они стояли и, молча глядя в землю, курили. Один из них предложил мне сигарету. Я протянул за ней руку и пальцами почувствовал холод космоса.

Подполковник продолжал свой монолог, распая сам себя:

— Нам говорят, что все в СССР делается для человека, во благо ему. Но я здесь понял, сколько стоит жизнь советского человека. Знаете, сколько?

Он показал ноготь мизинца.

— Вот сколько она стоит! Ради чего мы положили здесь пятнадцать тысяч хлопцев?! Между прочим, если бы военным дали вести войну так, как они считали нужным, мы давным-давно ликвидировали бы всю вашу так называемую вооруженную оппозицию.

— Для этого, — заметил я, — пришлось бы уничтожить весь Афганистан.

— Глупости! — выкрикнул он. — Надо было послушать военных и встать гарнизонами вдоль границы с Пакистаном и Ираном. Перекрыв все тропы и караванные пути, мы бы задушили душманов без боевых действий. Конечно, потребовалось бы расширить ограниченный контингент. Но кто-то из политиков заявил, что это будет смахивать на оккупацию. Бредни! Интеллигентские штучки!

Подполковник ковырнул носком ботинка камень на земле, отбросил его в сторону.

— Ладно, — махнул он рукой, — что теперь об этом говорить. Историю не изменишь... Пошли в самолет, экипаж уже в кабине.

Через десять минут мы взлетели. Долго набирали высоту над аэродромом. Развернулись и пошли на юг.

Приблизительно с десяти вечера и до четырех утра в Кабуле действовал комендантский час. Каждые 5—6 километров на дорогах попадались афганские военные патрули. Они проверяли документы, но иной раз останавливали машины для того, чтобы стрельнуть сигаретку. Солдат, уставившись в лицо водителя двумя дулами глаз и неморгающим черным оком автомата, медленно подходил и спрашивал леденящим душу голосом: «Сигарет нис?» — «Сигарет нет?» Но воспринималось это почти как: «Приятель, жить хочешь?» Водитель протягивал сквозь ветровое окошко пачку сигарет, вздрагивавшую в руке в такт ударам сердца. Бум-бум... бум-бум... — слышал он и полагал, что это в груди, хотя на самом деле то ухали гаубицы, бившие где-то километрах в пяти от Кабула.

Горы вокруг города днем напоминали черно-белый фотосни-

мок океанского шторма. Но по ночам они шевелились и казались гигантской живой волной, готовой накрыть Кабул сверху.

Из окна гостиничного номера я видел высоченную скалу, походившую на указующий в небо гигантский корявый перст. Тот чертов палец назидательно грозил всем смотревшим на него и цеплял ногтем за брюхо низкие серые облака.

С каждым часом в Кабуле оставалось все меньше наших войск. Через неделю командование должно было снять режимную зону вокруг столичного аэропорта, отправить домой солдат с застав и блоков, оборонительным кольцом опоясывавших город. Готовился покинуть Кабул и смешанный авиаполк. Предполагалось оставить лишь экипажи трех военно-транспортных самолетов для отправки 3 февраля командования 40-й армии из столицы в Найбабад и человек десять для обеспечения взлета. Согласно плану, руководитель Оперативной группы МО СССР в Афганистане генерал армии Варенников должен был оставаться в Кабуле вплоть до вечера 14 февраля. Ему предстояло покинуть Кабул самым последним из когда-то многотысячного гарнизона.

Что касается военных советников, то незначительная после сокращения их группа по-прежнему находилась в Афганистане. (За девять лет войны военно-советнический аппарат потерял 178 человек убитыми.) Партийные и комсомольские советники отбыли еще осенью 88-го года.

Сильно поредел и советский пресс-корпус.

Между теми, кто планировал уехать до 15 февраля 1989 года, и теми, кому надлежало оставаться здесь и после вывода войск, установились отношения, какие бывают в больнице между выздоравливающими и безнадежно больными. Нет, не зависть первых ко вторым, а просто некоторое отчуждение.

Жены журналистов, работавших в Кабуле, уехали еще в 1988 году. Пресс-корпус вел теперь неуютную холостяцкую жизнь. Один из нас, особенно изнывавший от одиночества, завел на своей вилле три или четыре кошки. Это вызвало шквальный огонь шуток со стороны репортера-ветерана, слывшего отъявленным сухарем-матерщинником в советской колонии. Каково же было мое изумление, когда однажды утром, заночевав у него дома, я услышал его сиплый шепот: «Духик! Духик! Иди ко мне, моя деточка! Я тебе жрать приготовил... Ду-ухик, скотина, иди попей молочка, которое тебе приготовил папочка... Ду-ухик!» Через

минуту из-за угла появился жирный черный кот и смачно-лениво облизнулся, увидев знаменитого тележурналиста на коленях, с блюдцем подогретого молока в руках.

На глазах таял и кабульский дипкорпус. От некоторых посольств остались лишь опустевшие здания. В иных же были оставлены только посол и советник. Последний зачастую одновременно исполнял роли дипломата, водителя, курьера, дворника-охранника и повара.

В дипломатическом представительстве Польши я вообще не обнаружил никого, кроме посла.

— Собираетесь ли вы покинуть Афганистан? — спросил я его.

— Кто знает, где сейчас человек может себя чувствовать в большей безопасности — здесь или в Польше? — ответил он и мрачно улыбнулся.

— Вы давно в Афганистане?

— Порядочно, — сказал он и посмотрел в окно, заставленное мешками с песком.

— Как вы думаете, — спросил я, поняв, что беседа будет предельно короткой, — почему путь афганской революции оказался столь трагичным?

— Молодой человек, — по-стариковски прищурил он глаза, — умирают не только революции, но и куда более значительные вещи. Например, любовь...

На кабульских улицах все чаще мелькали советские военные бушлаты — люди покупали последние сувениры для родных в Союзе. В тех лавках, близ которых урчали наши бронетранспортеры, цены были как бы под прицелом и потому ниже, чем в «неконтролируемых» районах. Помню майора, который, хорошо отоварившись, запихивал покупки в «уазик». При этом он напевал:

Благодарю тебя, Кабул,
Ты одел нас и обул!

— Мир и здоровье покупателю! — приветствовал меня и переводчика-афганца на ломаном русском пожилой дуканщик, когда мы однажды появились на пороге его лавки.

Я намеревался купить зажигалку, однако хозяин магазинчика загнул чрезмерную цену.

— Слишком дорого, — сказал я.

— Твой дело! — ответил дуканщик и потряс дымчатой бородой.

— Если я у тебя не куплю эту штуковинку, — убеждал я его, — кому ты ее продашь?! Ведь через пару недель здесь уже не будет советских.

— Ахмад Шах будет! — хитро улыбнулся он. — У Ахмад Шаха много доллара из Пакистана, от Америка... Он покупать!

— Ахмад Шах не скоро здесь появится, уж поверь. А мы уходим.

— Уходим, уходим! — повторил он, внимательно посмотрев на меня умными полузакрытыми глазами. Помахал рукой и что-то сказал на своем языке.

Когда мы покинули лавку, я попросил сопровождавшего меня афганца перевести последние слова дуканщика. «Он сказал, — услышал я в ответ, — что русские солдаты уходят на север, к себе домой. А потом они уйдут еще дальше на север, оставив свои мусульманские республики».

Эти слова мурашками пробежали по спине. Я оглянулся, дуканщик все еще приветливо улыбался и опять помахал мне рукой.

Неподалеку от той лавки я увидел многометровую очередь за хлебом. Она была не единственной в городе. Еще более длинные очереди автомобилей и грузовиков многовитковой спиралью закручивались вокруг бензоколонок. Кабул, соединенный с СССР, откуда шли все поставки муки и бензина, тонкой веревочкой единственной дороги через Саланг — а все движение афганских транспортных колонн по ней было блокировано отрядами Ахмад Шаха, — изнывал от хлебного и топливного голода. Генерал армии Варенников организовал переброску сюда из Ташкента по воздуху муки и других необходимых товаров. Но этого, конечно, было мало. Город задыхался. Многие верили, что предстоящие боевые действия против Ахмад Шаха на Южном Саланге — а слух об этом уже разлетелся по улицам — собьют напряжение в городе, дадут ему отдышаться. И, хотя Ахмад Шах пользовался популярностью народного героя, люди были раздражены тем, что его тактика оборачивается бедствием не столько для регулярных правительственных войск, сколько для простых горожан. Большинству было безразлично, какая власть в Кабуле: их политические симпатии и антипатии определял желудок.

Помню, на раздаче бесплатной муки, организованной советским командованием близ завода Джангишлак, познакомился с

одним белобрысым солдатиком. Из-за муки волосы его и брови стали седыми. Страхнув ее с ресниц рукавом бушлата, он сказал: «Вот тебе и интернациональный долг: одной рукой стреляешь в них, а другой кладешь им пищу в рот».

XX

В январе самым модным словом среди наших в Кабуле стало «оптимизировать». Его привез с собой из Москвы Ю. М. Воронцов¹. Оно означало — сокращать состав советских представительств, доводить их до оптимального уровня. На вопрос: «Как дела?» — ты всякий раз получал ответ: «Еще не оптимизировали. А тебя?» Именно этими словами мой сосед по гостиничному номеру начинал каждый свой день, каждое письмо жене.

Советское посольство все больше напоминало крепость: двойная защитная стена с колючей проволокой, многотонные стальные ворота, бомбоубежище и даже бронетранспортер под брезентовым чехлом.

В одном из кабинетов нашего посольства, внешне напоминавшего горком партии где-нибудь в Сочи, я увидел знаменитый фотопортрет Че Гевары. Точно такой же — это было известно из английского документального фильма — возил с собой повсюду Ахмад Шах Масуд. Разглядывая фотографию Че, устремившего ввысь мечтательный взгляд, я подумал: «Интересно, а где сам Эрнесто, будь он жив, предпочел бы увидеть свой портрет — в боевом штабе Масуда где-нибудь в горах Панджшера или же в рабочем кабинете советского дипломатического советника в Кабуле?»

Афиша, уже недели три подряд бессмысленно шелестевшая на стенде близ посольского кинотеатра, сообщала: «Сегодня в 19.30 — новый французский фильм «Невезучие». Фильм этот так ни разу и не показали, но его название отнюдь не улучшало настроения сотрудников посольства и торгпредства.

По желтоватому дну пустого бассейна ветер гонял хрусткие

¹ Ю. М. Воронцов — первый заместитель министра иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Республике Афганистан (1988 — 1989 гг.).

эвкалиптовые листья. Теннисный корт совсем бы позабыл, для чего он предназначен, если был шеф представительства КГБ по пятницам (единственный выходной) не напоминал ему об этом. Фантастическим казался мне этот еженедельный сорокаминутный сет с великолепными кручеными слева и потрясающими смэшами справа. Особенно когда над седой головой генерала пролетали пятнистые вертолеты огневой поддержки десанта. Но мне казалось, что свою главную партию он все-таки играет не с тем молодым человеком в хорошо отутюженном спортивном костюме, прытко подыгрывающим ему на противоположном конце корта, а со своим коллегой из здешнего американского посольства...

Ежедневно — с утра и до позднего вечера — наше консульство штурмовали так называемые совгражданки, то есть советские женщины, когда-то вышедшие замуж за афганцев и переехавшие жить в Афганистан, но теперь, когда обстановка накалилась до предела, а русофобия после девяти лет войны стала опасной для жизни, решившие вернуться в Союз вместе со своими мужьями и детьми.

По разным причинам они оказались здесь.

Светлана Д. приехала в Кабул по приглашению мужа вскоре после свадьбы. Однако очень удивилась, когда он предложил ей жить в гостинице. Первое время она не возражала, полагая, что любимый ищет подходящий дом для них двоих. Потом занервничала. Оказалось, у любимого уже есть жена-афганка. И даже не одна, а небольшой гарем. Вскоре и ей пришлось в нем поселиться. С годами Светлана привыкла и к гарему, и к чадре.

Наталья Н. приехала в Афганистан вскоре после ввода советских войск. Поселилась с мужем в глухом кишлаке, который и на карте-то толком не обозначен. В ту пору вышел указ, запретивший людям вешать в своих домах портреты аятоллы Хомейни. Однажды ночью к ним в хибару — по чье-то наводке — ворвались представители властей, сорвали со стены портрет бородача, а мужа бросили в тюрьму как злостного нарушителя указа. Ее и слушать не захотели. Лишь когда его выпустили, молодоженам удалось доказать властям, что то был портрет не Хомейни, а Карла Маркса.

Словом, десятки таких вот женщин и их мужей сутками атаковали наше консульство в Кабуле, добиваясь въездных виз. А вме-

сте с ними и обыкновенные афганцы и афганки, не связанные с СССР родственными узами, но по разным причинам боявшиеся оставаться здесь после ухода советских войск.

XIX

Командование и штаб 40-й армии, в течение войны находившиеся в бывшем дворце короля Захир Шаха, а потом Дауда, 10 января переместились в расположение нашей дивизии — тоже в Кабуле. Сюда же переехала и Оперативная группа Министерства обороны во главе с В. И. Варенниковым.

Кабинет командарма Громова теперь находился в одноэтажном модуле. Его рабочий день длился с 5.30 утра до 20.30. Лишь иногда днем командующий совершал короткую прогулку и опять возвращался на рабочее место.

Громов не отличается высоким ростом. Напротив, приземист, крепок. Короткая мальчишеская челка, чуть прикрывающая сильный, выпуклый лоб, молодит усталое лицо. Взгляд светлых глаз тверд, даже упрям. Что-то неразгаданно наполеоновское таится в нем.

Еще находясь в Кабуле, он был назначен командующим войсками Киевского военного округа.

— Каковы заслуги Громова как командующего 40-й армией? — спросил я его однажды.

— Заслуги есть, — ответил он, — но не одного Громова, а всех офицеров. Я прибыл сюда летом 87-го. За полгода нам удалось уменьшить людские потери армии приблизительно в полтора раза, а потери техники — в два. Причем это связано не только с тем, что боевые действия пошли на убыль, но и с улучшением подготовки солдат.

— А потери отрядов вооруженной оппозиции?

— Я не располагаю точной статистикой. С 80-го года они каждый год теряли все больше и больше людей. Однако на протяжении последних четырех лет их потери были стабильными, не возрастали. Они ведь тоже научились воевать.

Через окно было видно медленно падавшее за горизонт солнце. Закат проходил под аккомпанемент далекой артиллерии. Громов задернул пестрые занавески, включил электрический свет. Достал золотистый блок сигарет. Распечатав его, закурил.

— Это «Астор». Хотите?

— Спасибо, товарищ командующий. Не откажусь.

До встречи с ним мне казалось, что если он и курит, то непременно что-нибудь очень крепкое и без фильтра. Сигареты «Астор», напротив, относились к разряду «женских» — слабые, с золотым колечком на тонком длинном фильтре.

— Какие дни были для вас самыми тяжелыми в Афганистане? — спросил я.

— Начало вывода войск, — ответил он, не раздумывая. — Отправили первые две колонны из Кабула. Думали, оппозиция начнет бить им по хвостам. Но все обошлось. Однако тяжелее всего оказалось выводить армейские части из Кандагара. Район очень трудный. Вдоль дороги сплошняком тянется «зеленка». Афганских войск маловато, да и уровень их подготовки оставлял тогда желать лучшего.

— Но сейчас-то легче?

— Пока рано говорить. Проблема номер один — Саланг. За последние двое суток лишь на одном семидесятикилометровом участке сошло тридцать девять лавин. В районе Южного Саланга Ахмад Шах сосредоточил сильную группировку — более четырех тысяч вооруженных людей. Такого скопления еще никогда там не было. С ее помощью он планирует перекрыть дорогу на Кабул после нашего ухода. А это будет равнозначно блокаде столицы. Хоть Масуд и обещал не трогать наши колонны, мы не можем верить ему на слово. Допускаю, что он скоро развяжет боевые действия... Понимаете, сложность состоит в том, что мы ограничены во времени. Мы обязаны покинуть страну к 8.30 утра 15 февраля. Если задержимся на несколько часов — мировой скандал. А на дороге лавины, лед. Техника идет медленно, все время остановки, пробки, аварии... тут еще Ахмад Шах со своими четырьмя тысячами. Так что голове есть о чем болеть.

— Какое подразделение последним покинет Афганистан?

— Разведбат бывшей кундузской дивизии. Но я пересеку мост через Амударью самым последним. Пешком.

— Вы уже знаете, что скажете, когда наши войска уйдут отсюда?

— Да: за моей спиной нет ни одного советского солдата.

— И все?

— Не совсем. То, что я скажу затем, не сможет выдержать ни один репортерский магнитофон — взорвется!

— Что вас ждет дальше?

— Киев. Киевский военный округ. Там я никогда не был. Кабул знаю значительно лучше, чем украинскую столицу... Я ведь уже третий раз в Афганистане. Когда уезжаешь — среди наших бытует такая примета, — никогда нельзя говорить, что ты тут в последний раз. Вместо «последний» следует употреблять «крайний». Но я ею пренебрег. Улетая домой после первого захода, сказал: «Прощайте, братцы, обнимемся напоследок!» Но не прошло и несколько лет, как я вернулся. Уезжая во второй раз, сказал себе: «Все, Громов, этой твой последний приезд сюда — железобетонно!» Но судьба распорядилась иначе. И вот я здесь сижу с вами, разговариваю, а про себя думаю: «Это мой крайний раз!»

— Бойтесь, что опять пошлют?

Громов выпустил дым сквозь сжатые зубы, вдохнул его носом. Откинувшись на спинку кресла, сказал:

— Нет. Это точка. Все!

Но я не понял, к чему относилось «Все!» — к войне или к нашей беседе. И задал последний вопрос:

— Вам часто приходится контактировать с генералом армии Варенниковым?

— Конечно. Если бы не он, наши здесь наломали бы в пять раз больше дров.

Варенников родился в 1923 году в Краснодаре. Закончив в 42-м курсы командиров взводов при Черкасском пехотном училище, попал на фронт в октябре того же года. Командовал взводом. С августа 43-го стал начальником артиллерии полка, а с апреля 45-го — заместителем командира полка по артиллерии. Находясь на Сталинградском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Правобережной Украины, Польши, в боях за Варшаву и взятие Берлина. Сопровождал Знамя Победы из Германии в Москву. Был трижды ранен. После войны командовал полком в одном из наших северных округов.

Шли годы. Менялись части, города, округа. После учебы в Академии Генштаба в июле 1967 года принял корпус, а через два года — армию. Летом 71-го сорокавосьмилетний генерал оказался в ГДР в качестве первого заместителя главкома Группы советский войск в Германии. С июля 73-го — командующий войсками Прикарпатского военного округа. С августа 79-го —

в Генеральном штабе. Был начальником Главного управления, первым заместителем начальника ГШ. Весной 85-го он прибыл в Афганистан и возглавил здесь Оперативную группу Министерства обороны СССР, сохранив за собой должность начальника ГШ. С тех пор именно Варенникову подчинялись сменявшие друг друга командующие 40-й армией — Родионов, потом Дубинин, а на завершающем этапе войны Громов. Упомянуть его фамилию журналистам было запрещено вплоть до последнего дня войны.

Одна из проблем, которую мы так и не смогли решить во время войны в Афганистане, заключалась, на мой взгляд, в том, что там не было единого центра управления представительствами наших министерств — КГБ, МИД, МВД и Министерства обороны. Шефы этих представительств зачастую действовали сепаратно, слали в Москву разношерстную информацию, получали оттуда директивы, которые иной раз противоречили друг другу. По идее, именно наш посол должен был объединить под своим руководством все четыре представительства. Однако этого не произошло по той, видимо, причине, что послы СССР в Кабуле менялись слишком часто, не успевая толком войти в курс дела. После Табаева приехал Можаяев, за ним Егорычев, потом Воронцов. И все это за два года. Из них лишь Юлий Воронцов был профессиональным дипломатом, имевшим значительный опыт работы на Востоке. Остальные же сделали карьеру в партийном аппарате и не имели востоковедческого образования. Учитывая это, многие полагали, что было бы правильным сконцентрировать всю власть в руках генерала Варенникова, который с 1985 года практически безвыездно находился в Кабуле.

— Понимаете, — сказал Варенников во время одной из наших бесед¹, — за период моего пребывания в Афганистане произошла многократная смена руководителей представительств различных наших ведомств в Кабуле. Но каждый вновь назначенный начинал свою деятельность приблизительно с одного и того же предложения: «Давайте вместе с афганцами хорошо подготовим и проведем масштабные боевые действия против банд, и люди наконец спокойно заживут!» Но все дело в том, что подавляющее большинство — это не банды, а местное мужское население, которое с оружием в руках отстаивает свои родо-племенные интересы.

¹ Беседа состоялась 20 января 1989 г.

Сейчас можно назвать много районов, жители которых хотя и не поддерживают центральное правительство, но при этом не пускают на свою территорию и отряды оппозиции. Они привыкли жить самостоятельно и никому не подчиняться. Естественно, они выступают против тех, кто идет на них с оружием и насаждает силой свою власть. Мы же, поддерживая руководство Афганистана, в первые годы войны полагали, что для распространения народной власти надо «сажать» в тот или иной уезд оргядро этой власти. Но добровольно жители такую власть к себе в кишлак не пускали. Поэтому использовались войска, оружие: там, где было сопротивление, применялась сила. Для охраны оргядра «народной» власти размещали в уезде воинскую часть, и отдельные товарищи спешили отрапортовать, что «еще один район освобожден от душманов». Абсурд? Конечно!

Разговор шел поздно вечером. Ночь проникла сквозь стекло в кабинет Варенникова, но он не включал света — давал отдохнуть глазам. Я видел лишь смутные очертания его лица, белые пятна висков да полоску тонких усов.

Время от времени трещал телефон. Варенников снимал трубку и внимательно выслушивал очередной доклад. Но иногда сам звонил, проверял, как идет доставка муки в город по воздушно-му мосту.

— Валентин Иванович, — начал я свой вопрос, — не кажется ли вам, что наши работники, в чьи обязанности входило информировать Москву о положении дел в Афганистане, зачастую слали в Москву лишь ту информацию, которая могла в столице понравиться? Чтобы не рассердить начальство и не вызвать на себя его гнев. Я имею в виду не только 1979 год, но и последующий период.

Усмехнувшись, он ответил:

— Не берусь оценивать уровень подготовки соответствующих работников того времени — это должны сделать компетентные лица, но что касается подачи приятной для Москвы информации, то это, несомненно, было, и не только, допустим, у дипломатов. К сожалению, такова общая болезнь времен застоя — докладывать в центр только то, что могло понравиться, но не то, что происходило на самом деле. «Приписками» тогда болела у нас не одна лишь экономика.

Прежняя практика наносила гигантский вред стране: руководство порой получало информацию, которая расходилась с реаль-

ным положением дел. В результате в Москве могли приниматься не лучшие решения. Много проблем возникало также из-за нашего догматизма, инертности, неповоротливости. По этой причине не были, например, приняты предложения о создании в рамках единого Афганистана некоторых автономий — опасались, что Афганистан развалится. Хотя автономии значительно ослабили бы напряженность в отношениях между центральной властью и рядом провинциальных лидеров.

Очевидно также, что, если бы мы пораньше согласились на открытый диалог с лидерами вооруженной оппозиции — как внутри Афганистана, так и за его пределами, — он мог бы дать более ощутимые результаты...

Опять по-кошачьи заурчал телефон. Варенников снял трубку. Кивнув своему невидимому собеседнику на другом конце провода, он сказал:

— Спасибо. Благодарю за информацию, — положил трубку и опять повернулся ко мне. — Сообщают, что очередной Ил-76 сел в аэропорту — муку привез... В тупиковую ситуацию загоняет нас Ахмад Шах, не оставляет нам выбора. Боюсь, скоро придется скрестить с ним шпаги на Южном Саланге. Его отряды подошли к самой дороге. В принципе мы готовы передать Масуду все сторожевые заставы вдоль трассы. При том, конечно, условии, что он возьмет на себя обязательство не пропускать через нее никого, кроме транспортных и боевых колонн Наджибуллы, защищать дорогу от посягательств всех других оппозиционных группировок.

Для этого мы хотим, чтобы он подписал договор с представителями правительственных войск. Но он отказывается. Значит, если мы уйдем, он сядет на дорогу (а она — жизненная артерия страны), блокирует на ней все движение правительственного транспорта, и тогда Кабул окажется в еще более критическом положении, нежели сейчас. Допустить этого мы не можем. Придется воевать. Всеми путями мы стремились избежать этого: кому охота воевать в последние недели войны?! У советского командования в Кабуле такого желания нет. Но мы связаны союзническими обязательствами, а Ахмад Шах, повторяю, не оставляет нам выбора.

Варенников говорил сущую правду: 40-я армия менее всего хотела воевать под занавес войны. Во-первых, была опасность увязнуть в боевых действиях и не успеть выйти из Афганистана к утру 15 февраля. Во-вторых, перспектива новых неизбежных

жертв, как среди афганцев, так и среди советских солдат, оказывала мучительно депрессивное воздействие на души и умы наших офицеров. Люди помрачнели, притихли. Недавняя еще радость, которую внушал скорый конец девятилетней войны, сменилась тяжелым чувством безысходности и тоски.

На иных заставах в канун последней битвы пели: «Как служил солдат службу ратную. Службу ратную — службу горькую...» На других — «Печален путь мой, горька судьба». А на одной мальчишеский тенорок неумело выводил, навевая ледяную печаль:

Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня, о не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и крови.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой...

Но Кабул давил на Москву, и командованию армии оставалось лишь подчиниться приказу.

XXII

На третью неделю января зима начала потихоньку сдавать. С каждым часом солнце наливалось силой, днем слышался стеклянный звон горных ручьев, а снег покрывался корочкой.

По ночам же мороз вновь брал свое: все окрест цепенело, воздух становился колким, обжигал легкие.

Саланг, словно раненый зверь, скалился волчьими клыками. Даже спустя неделю после действий в горах стоял крепкий дух пролитой крови.

Там, где огонь был наиболее сильным, по обеим сторонам дороги лежали обугленные развалины кишлачных хижин. Почти все население Южного Саланга покинуло родные деревни. Люди ушли в горы или в сторону Чарикара. Лишь от нескольких глинобитных домиков тянулись в небо хилые струйки печного дыма.

Боевые действия начались в 6.30 утра вдоль дороги на ее двадцатидвухкилометровом отрезке от Джабаль-Уссараджа до южных подступов к перевалу Саланг. Огонь открыли из всех средств,

имевшихся у дивизии на трассе. Захлебывались в кашле 82-миллиметровые автоматические минометы. Ухала артиллерия, стремясь вызвать завалы троп и воспрепятствовать выходу к дороге дополнительных повстанческих отрядов. Работала авиация, нанося бомбово-штурмовые удары на северо-западе от Чарикара, по ущельям Панджшер, Гарбанд, Шутуль, Марги, Арзу и Катломи. В операции были задействованы Су-24, Су-17, Су-25 и МиГи. Тряслась, дыбом вставала земля. Крошились скалы.

Партизаны открыли sporadический ответный огонь из кишлаков, поливая чахлыми пулеметными очередями наши заставы, сторожевые посты и боевую технику на трассе. К 10 утра в Кабул пришли сообщения о первых раненых.

Вскоре после начала боевых действий мирные¹ стали выбрасывать из окон белые флаги. Но из пробоев в соседних стенах по-прежнему били снайперы. И в таких случаях оператор-наводчик БМП не успевал разобрать, кто есть кто, сносил все подряд. Тогда женщины, старики и дети, подняв руки, начали спускаться вниз к дороге. Они несли раненых и трупы, складывали их длинными штабелями вдоль обочины. Смуглые лица убитых еще больше почернели на солнце. Наши солдаты впервые порадовались холодам.

Близ Чаугани мы развернули палаточный городок для афганских раненых и тех, кто лишился крова, с обогревом и раздачей пищи. Но раненые женщины не подпускали наших солдат к себе, предпочитая смерть, отвергая медицинскую помощь «неверных».

Чистые горные ручьи в тот день окрасились в алый цвет. Снег припух, стал ноздреватым и серым от тысяч разрывов и густой пороховой гари.

На востоке медленно восходил зодиакальный знак Водолея.

Наиболее ожесточенные боевые действия развернулись в восьмистах метрах от 42-й заставы близ кишлака Калатак. Именно там, по данным разведки, засел отряд Карима — всего человек 120. У повстанцев были автоматы, горная пушка, безоткатное орудие и ДШК. Из-за дувала работал снайпер. В ответ наши дали залп артиллерии, положив вокруг его укрытия десять снарядов. Он умолк.

¹ Мирные — так наши солдаты и офицеры называли гражданское население Афганистана, мирных жителей.

Начальник штаба 2-го парашютно-десантного батальона майор Юрасов с отрядом солдат окружил кишлак. В нем находилось много мирных. Юрасов знал об этом и потому предложил Кариму сдаться. Но тот начал уходить в горы со своими боевиками, прикрываясь жителями кишлака. Юрасов попытался отсечь мирных от партизан, вызвал резервную группу с КП батальона. В ту самую минуту из кишлака брызнула косая пулеметная струя, задела Юрасова, пробив ему бедро и пах, перерезав бедренную артерию. Словно пытаясь схватиться руками за воздух, он несколько раз беспомощно взмахнул ими и медленно повалился в снег. Рядовому Шаповалову, бросившемуся Юрасову на подмогу, срезало пулеметной очередью ушанку. Но он продолжал ползти, вдавливаясь телом в снег. Побледнел только. Каримовского пулеметчика забросали гранатами.

Когда подошли, Юрасов лежал, широко раскинув руки, истекая кровью.

Через пятнадцать минут он скончался.

С каримовцами больше не нянчились — расстреляли в упор.

Тело Юрасова привезли на КП батальона. Врач омыл его, одел в чистую форму, связал холодные, начавшие коченеть руки. Труп завернули в ОЗК и плед. Накрыли плащ-палаткой, положили на БМП.

У Юрасова в Костроме остались жена и две дочери. Осенью он хотел поступать в Военную академию имени Фрунзе.

На следующий день после гибели Юрасова в батальон на его имя пришло письмо из Костромы. Писала жена:

«Здравствуй, дорогой наш папочка!

У нас все по-старому. С нетерпением ждем вашего окончательного вывода.

У нас на улице тепло. Вместо крещенских морозов — оттепель. В субботу ждем дедушку Ваню.

Буров пролежит в госпитале до конца января, а там видно будет.

Аня сидит рядом и рисует.

У Кати начались трудовые будни — эта ее математичка меня доконает.

В голову никакие мысли не идут.

Что-то опять телевизор стал мудрить. Чувствую, скоро начнется беготня в мастерскую.

Анька ужасно не любит умыться. Каждый день загоняю с боем. Редко, когда сама собирается.

Порошок и мыло теперь будем по талонам получать раз в квартал.

Вот и все.

Насобирала себе всего понемногу.

До свидания.

Целую.

Лена.

18.01.89 г.»

Но Юрасов это письмо прочитать не успел...

После того как закончилась стрельба 23 января, трупы и раненых начали отправлять на юг. Женский вой стоял над дорогой, заглушая рев техники.

— Да, мрачный это был денек, что-то рухнуло внутри меня, — рассказывал Валера Семахин, оператор-наводчик БМП № 504. — На всю жизнь запомню. Встал я тогда в 4.30 утра. Начал готовить машину к бою. Проверил вооружение пушки, крутится ли она, поднимается ли. Днем раньше я всю ее разобрал, вычистил, чтобы не заклинило. В 5.30 моя машина была уже в полной боевой готовности. Командир батальона подполковник Ушаков приказал стрелять только в «духов», мирных не трогать. Но я «духов» не видел. Стрелял по тем домам, в которых предполагал, что они есть. Мне дали ориентир и сектор стрельбы. Я стрелял с 6.30 утра до 12.30 дня. Когда все кончилось, первая рота принялась эвакуировать убитых и раненых. Их отправляли на барбухайках¹.

— Мне дали сектор — несколько окон кишлака, — вспоминал приятель Семахина, находившийся в БМП несколькими сотнями метров ниже по дороге. — Мы старались стрелять выше людских голов, чтобы не задеть их. Одно дело, когда лупишь просто по стенам кишлака, это еще куда ни шло. А стрелять в людей... Ух, не готов я к такому, честное слово, не готов... Мирные спускаются и хотят целовать тебя за то, что ты их не прикончил. Станный народ. Должны ненавидеть, а они благодарят. Жизнь здесь ерунду стоит — два мешка гороха и один риса.

¹ Барбухайки — автобусы (*жарг.*).

Я не мог смотреть им в глаза. Да и вы бы не смогли. Что-то я в себе самом убил тогда. Конечно, всех потом представили к наградам. Но от этого не легче.

Январские «боевые» продолжались с 23-го по 25-е. С раннего утра — до первых сумерек. И так все три дня.

Наши солдаты и офицеры проклинали войну, приказ, себя и Афганистан.

24 января радио и телевидение Афганистана передали заявление Верховного командования Вооруженных Сил страны. В нем, в частности, говорилось:

«Ахмад Шах на протяжении последних полутора лет уклонялся от переговоров с правительством. Вооруженные формирования под его командованием продолжали препятствовать безопасному проезду транспортных средств на трассе Хайратон — Кабул на участке перевала Саланг. Вооруженные Силы РА¹ вынуждены были провести военную операцию. В результате уничтожено 377 экстремистов, три склада с вооружением, четыре транспортных средства. Оппозиции предлагается не препятствовать прохождению по трассе транспортных средств. В противном случае вся ответственность за последствия ляжет на нее».

Советское военное командование объяснило события на Южном Саланге следующим образом:

«... 23-го числа текущего месяца афганские войска начали выставление постов и застав в районе Таджикиана. Но были обстреляны. Таким образом, банды Ахмад Шаха Масуда спровоцировали боевые действия. Они продолжались на всем участке Южного Саланга не только против афганских подразделений и частей, но и против советских войск...»

Советское командование также сообщило, что в частях и подразделениях 40-й армии с 23 по 31 января в районе Южного Саланга четыре человека убиты, одиннадцать — ранены.

По слухам, Ахмад Шах Масуд охарактеризовал январские боевые действия на Саланге как одну из наиболее жестоких операций за все годы войны.

Через несколько дней после нее наш кабульский политработник спросил меня, что мне известно о январской боевой операции: кто-то ему сообщил, что я там был. Не дожидаясь ответа, он дружелюбно посоветовал: «Если что и знаешь, то ты это уже забыл. Верно?»

¹ РА — Республика Афганистан.

Застава подполковника Ушакова осунулась, постарела. Не слышал я солдатского смеха, звонких лейтенантских голосов. Люди делали свое дело молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами. Казалось, я попал в дом, где накануне кто-то умер, хотя во время последней операции никто на заставе не пострадал.

А тогда, вечером 23-го, комбат повалился на свою койку и, спрятав в подушку лицо, плакал.

— Сейчас-то он малость отошел, — по секрету сообщил мне заместитель командира минометной батареи Слава Адлюков, — но неделю назад к нему опасно подойти было. Впрочем, у всех на душе погано с тех пор. Не у него одного... Вскоре после операции наш комбат поцапался с заместителем командира дивизии А...ко. Так что тут у нас целая обойма неприятностей. Проходи, раздвайся...

Ушаков сидел в своей комнатухе. Сутулился у окна. Упершись в колени, сжимал широченными ладонями голову. Что-то насвистывал себе в усы. Вид у него был побитый.

За окном рябила метель. Знобкий ветер стучал в стекло.

— Яп-понский г-городовой! Закрывай, Славк, дверь — сквозняк... — чертыхнулся Ушаков, не поднимая головы.

Адлюков потянул меня за рукав, и мы пошли в его комнату — рядом за дощатой стенкой. Поудобней устроившись в стоявшем на полу кресле от КамАЗа, Славка сказал:

— Раз как-то комбат уехал к особистам. Но на дорогу сошла лавина, и он задержался. В тот самый момент к нам пожаловал полковник А...ко. Стал нам рассказывать, кого и как бить во время предстоящей операции.

Славка ослабил ворот, покрутил в пальцах сигаретку. Закурил.

— Во время боевых действий, — Адлюков пустил в потолок струю горького дыма, — А...ко собственноручно перестрелял несколько десятков мирных. Хотя в его обязанности входило командовать, а не бить из автомата людей.

Впоследствии я неоднократно слышал от многих очевидцев рассказ о действиях полковника А...ко 23 января. О том, как, приехав к десанникам близ 42-й заставы, схватил АК и стал косить с бедра спускавшихся на дорогу людей. О том, как к нему подбе-

жал особист капитан Морозов и заорал не своим голосом: «Товарищ полковник! Зачем???» — «А Юрасов?! — огрызнулся А...ко, оттолкнув капитана. — Юрасова пощадили? Теперь что же, я буду их щадить?!»

Я повертел в руке полую гранату. Бросил ее на койку.

— Как будто, — шепотом сказал Адлюков, — Юрасов ему был дороже и ближе, чем капитану Морозову. Как будто эта смерть значили для него больше, чем для всех нас. Тоже мне — ас-демагог... Здесь, на Саланге, А...ко так и прозвали: «Наш Рэмбо». Эдакий Тарзан Иваныч... А номер на своем БТРе все-таки стер, чтоб «духи» не опознали. Комбата же нашего он возненавидел за то, что Ушаков дал приказ в мирных не стрелять. Только по «духам». И действительно, в зоне ответственности ушаковского батальона кишлаки целы, мирные не пострадали. А...ко не хотел, чтобы комбат вышел чистеньким из бойни.

По всему Южному Салангу упорно ходили слухи о том, что А...ко приказал кому-то из своих подчиненных снимать то, как он расстреливал мирных, на видеокамеру. Для памяти. Но я тем слухам не верил. Не мог верить...

В первых числах февраля Ушакова вызвали на ДКП¹. Когда он приехал, А...ко был уже там.

— Почему вы, — громко спросил А...ко, обратившись к Ушакову не как обычно — «товарищ подполковник», а на «вы» (понимал, что после 23-го между ними ничего товарищеского быть не может), — почему вы не выполнили приказа? Почему в зоне ответственности вашего батальона мало разрушений? Вы мне доложили, что расстреляли по 3—5 боекомплектов, но по местности этого не видно. Я предполагаю, что вы стреляли в горы и в воздух, не били по установленным целям.

— У меня на заставе 23-го находился заместитель командира полка подполковник Ляшенко, — отвечал Ушаков, стараясь сдерживать дрожь в голосе, — и он может по-подтвердить, что мы действовали как положено. Да, мародерства и лишних разрушений в зоне ответственности моего батальона не было. Мы стреляли столько, сколько было необходимо. А кишлаки с лица земли не сметали, потому что в этом не видели нужды. Мы били лишь туда, где сидели г-главари банд, и по складам. Ответного огня противник не открыл, потому что мы уничтожили главарей и накрыли

¹ ДКП — дивизионный командный пункт.

все склады с боеприпасами. Так что сопротивления не было. А уничтожать лишь для того, чтобы уничтожить, ради удовольствия, — вот этого я не допустил. Кроме того, старался, чтобы среди мирных лишних жертв не было. И вы пытаетесь обвинить моих солдат в том, что они стреляли в воздух? Что они не выполнили приказа?!

— Мне надоело разговаривать со слабоумными, — отрезал А...ко.

— А мне, — выпалил Ушаков, — надоело дуракам подчиняться.

А...ко вызвал командира полка подполковника Кузнецова и приказал ему составить акт «о невыполнении батальоном в ходе боевых действий поставленной задачи».

Ушаков, вернувшись к себе на заставу, разыскал Ляшенко.

— Слушай, то-товарищ по-подполковник, — комбат от волнения заикался больше обычного, — вы поезжайте на ДКП и объясните им, как действовал 23-го мой б-батальон. А то получается, что мы саботировали приказ, и м-не что — т-т-трибунал теперь?!

Отношения между заместителем командира дивизии и комбатом накалились до предела. Можно было ожидать всего.

Друзья говорили Ушакову: «Не лезь на рожон, комбат. Схлестнулись — и будет. У А...ко связи аж до Москвы. Там у него все схвачено. Чего ты прешь под танк, рванув рубаху на груди?! Если во время вывода в зоне ответственности твоего батальона раздастся хоть один выстрел по нашим колоннам, он ведь тебя и впрямь под трибунал отправит». Ушаков отворачивался, прятал под бровями глаза, упрямо отвечал: «Стрелять «духи» б-б-будут. Но не на моем участке, а там, где мы положили больше всего мирных, там, где стрелял А...ко. «Духи» этого нам не простят. Помяните мое слово. Без жертв не обойдемся».

Холодом веяло от этих слов. Конец войны был не за горами. Но никто не знал, каким он будет, этот конец. Люди старались о нем не думать.

Раз как-то поздним вечером собрались офицеры в комнате Ушакова. Пили крепкий грузинский чай, хрустели печеньем и сахаром, курили горький табак. Сизые медузы дыма медленно плавали в спертom воздухе. Потрескивали сырые поленья в печке. В углу шипела рация. Комбат лежал на койке, свернувшись калачиком.

— У А...ко, — сказал он, приподнявшись на локте, — руки в крови. И просто так это ему не сойдет. Я-я н-не позволю. Его к

ордену представили, толкают в Академию Генштаба. Если такие будут нами командовать, лучше уж армию распустить. Что за пример они подают молодежи?! Вот Славка Адлюков — парень хороший, дельный лейтенант. А армию решил оставить. Жалко ведь...

— Остынь, комбат, остынь, — прервал его подполковник Ляшенко.

— Не со-собираюсь, — сказал Ушаков, сокрушая встречный подполковничий взгляд. — Когда во время последних «боевых» стало известно о таких фактах, я сообщил об этом начальнику оперативной группы Якубовскому, особистам, полковнику Востротину...

— Востротину вы доложили об А...ко? — не понял я.

— Н-нет, — ответил Ушаков. — Востротину я сообщил о действиях его десантников — они ведь тоже порезвились во время операций.

— Востротин принял меры? — спросил я.

— Это меня не касается. Я сказал ему об этом как коммунист коммунисту. Пусть он сам разбирается. Мы с ним по службе не связаны... К-кроме того, я счел нужным сообщить наверх не только о том, что тут учинил А...ко, но и о том, что он склонен к стяжательству в сверхкрупных размерах. Даже п-по местным масштабам.

Понятное дело, А...ко узнал об этом. Начал цепляться ко мне по разным мелочам. Но мне не привыкать.

Ушаков скупно улыбнулся. Закурил.

За окном по-прежнему мело. Ветер, срывая снег с гор, бросал его в нашу заставу. Пригоршни ледяной муки со звоном ударялись о камни.

— Перед тем как уйти с командира полка на должность замкомдива, — продолжал комбат, — А...ко организовал сбор средств с офицеров и прапорщиков части себе на подарок. Так сказать, любимому командиру от любящих подчиненных. Все это может подтвердить замполит второго батальона капитан Шавлай. Деньги были собраны и переданы в штаб полка. На них купили видеомагнитофон и подарили А...ко. Он этот «видик» перепродал, круто спекульнув. Словом, Ш-шавлай слишком много знал о деятельности А...ко. И это ему чуть было не стоило жизни.

— Жизни?! — переспросил я.

— Именно — ж-жизни... За пятнадцать минут до начала операции 23 января полковник А...ко приказал капитану Шавлаю

проехать по трассе на одном чахломе БТРе — а у нас в целях безопасности принято ездить как минимум на двух машинах — и проверить обстановку. Шавлай спросил: «Как же я поеду на одном?!» — «Ты замполит, — ответил А...ко, — ты должен ехать и поговорить с людьми...» Когда Шавлай вернулся, чудом оставшись в живых, А...ко, как говорят, был очень и недо-волен.

— Да, — заметил один из офицеров, — выжив, Шавлай здорово досадил полковнику.

— У него, — сказал другой, — была привычка — увидит на дороге солдата, остановит его, прикажет: «А ну покажи, что в карманах!» Если там обнаруживалось больше пятидесяти чеков, А...ко забирал их себе, и получить деньги обратно было невозможно. В целях страховки он запасся неплохим оправданием: мол, у солдата не может быть больше пятидесяти чеков. А если есть, значит, наворовал... Не подкопаешься.

XXIV

За дверью послышались шумные, уверенные шаги. Она с треском распахнулась.

На пороге стоял полковник А...ко. Резким движением руки он смахнул иней с усов.

Из-за его плеча показалось смуглое лицо начальника штаба дивизии полковника Д. Раздался грудной женский смех.

— Мальчишки, — игриво сказала женщина, просунув голову в дверь, — вот и мы. Не ждали?

Она тоже была одета в военную форму. Из-под вязаной шерстяной шапочки выбивались пряди светлых волос.

В комнате непривычно запахло духами. Все поднялись с коек. В воздухе застыло неловкое молчание. Комбат стоял, переминаясь с ноги на ногу. Он был без ботинок. В одних шерстяных носках грубой вязки.

А...ко прошел к столу, снял трубку. Зажав ее плечом и щекой, посмотрела на часы. Секунд десять ждал связи.

— Алло! «Перевал»? «Перевал», дай «Курьера»! — закричал он. — Как там на 42-й? Хорошо, доложите через десять минут...

Расстегнув ворот бушлата, А...ко устало опустил на ушаковскую койку.

— Организуй чай, — обратился он к Ушакову, дырявя глазами дощатый пол, — и закуску. Давай побыстрей.

Женщина и Д. сели рядом с ним.

— Тепло у вас! — улыбнулся Д. и потер руки.

— Комбатושка! — подмигнула Ушакову женщина. — Что же ты тянешь с чаем? Видишь, намерзлись мы. С дороги. Устали.

Ушаков надел ботинки и вышел из комнаты. Я услышал его сиплый голос из-за стенки, он что-то говорил командиру минометной батареи старшему лейтенанту Климову. Через несколько минут комбат вернулся.

— Сейчас будет вам чай, — сказал он, пряча глаза.

— Вот и умничка! — засмеялась женщина.

Кроме нее, А...ко, Д. и комбата в комнате остались заместитель командира полка Ляшенко и я. Все остальные вышли в ту же минуту, когда А...ко связывался с «Курьером».

Опять затрещал телефон. А...ко, сняв трубку, молча выслушал доклад.

Ушаков сел на мою койку. Достав из тумбочки 12-й номер журнала «Юность» за 88-й год, принялся читать. Я вытащил пачку сигарет. Закурил.

В комнату вошел старший лейтенант Климов с полотенцем, чайником и шестью металлическими кружками в руках. Он поставил их на приземистый столик между двумя койками, наполнил каждую до краев крепчайшим чаем. Вытерев капли с поверхности стола, Климов вышел. Потом опять вернулся — принес миску душистого жирного плова из тушенки и остатков риса.

Я старался не смотреть Климову в глаза: было неловко оттого, что старший лейтенант превратился в официанта. Да и сам Климов смотрел в пол.

— Комбатושка! — позвала женщина. — А комбатושка-а...

— Что вам? — спросил Ушаков, не отрывая глаз от журнала.

— Комбатושка, что ты там читаешь? — Она ловко вскинула ногу на ногу.

— Вам непременно надобно знать?

— Какой, однако, хмурый, неприветливый сегодня комбат, — сказала она с легкой обидой, разглядывая тлевший кончик сигареты.

— А и правда, — спросил дружелюбно Д., — чего ж там интересного в твоём журнале, что ты все глядишь в него да глядишь,

аж не оторвешься? Тут, понимаешь, женщина красивая сидит, а ты ноль внимания. Нехорошо-о!

— Я читаю, — сказал Ушаков, стараясь говорить как можно спокойнее, — отрывок из книги Антона Антонова-Овсеенко «Берия».

— И что же, — спросила женщина, затушив окурок с окровавленным фильтром в пустой консервной банке, — пишет этот ваш Овсеенко?

— Про сталинскую мафию, — ответил Ушаков. — Могу зачитать.

— Читай — и то веселей будет, — сказал Д. и недоверчиво улыбнулся, поглядев на А...ко.

Упершись спиной в стену, а взглядом в комбата, А...ко закинул руки за голову. Он курил, перебрасывая сигаретку из одного уголка рта в другой.

— «...Всякий клан, — начал читать Ушаков, — предполагает наличие родственных связей. Их не было ни в лагере Берии — Маленкова, ни в г-группе Жданова. Каждый клан действовал на здоровой основе бандитского братства, когда сообщников объединяет единая цель и общая опасность гибели от руки конкурента...» Ч-читать дальше или не хотите?

— Не надо, — властно махнул рукой А...ко. — Распустили прессу — пишут что хотят. Всю нашу историю дерьмом облили. Ничего святого не осталось. Мерзость сплошная, — он враждебно посмотрел в нашу с комбатом сторону.

— И правильно сделали, — сказал Ушаков, отрывая глаза от страницы и парируя мутный взгляд полковника, — что сняли засов со рта прессы. Иначе мафия будет процветать.

— А что, — вмешался Д., — сейчас, когда про мафию стали писать в каждой газетенке, ее разве поубавилось? Меньше ее сейчас, чем во времена безгласия?!

— Нет, — процедил комбат, — не меньше. И з-знаете, почему?

— Почему? — переспросил Д.

— Потому что, — ответил Ушаков, — мафия проникла всюду. Она сидит даже в этой к-комнате.

Где-то за горой несколько раз кашлянула безоткатка. Д. нервным движением руки схватил со стола кубик сахара. Бросил его в рот, несколько раз звучно хрустнул.

— Это какая же мафия? — спросил он. — Поясни-ка!

— А т-такая! — огрызнулся комбат, вскакивая с койки.

И тут он сбивчиво, заикаясь, рассказал про афганские КамАЗы, которые ходили в Панджшер в сопровождении БТР № 209 и БМП без номера, место постоянной дислокации которых — КП подполковника А.

— В Панджшер, к Ахмад Шаху, — хрипло выкрикивал комбат, — ма-машины шли, доверху загруженные, обратно же возвращались п-порожняком. А один КамАЗ А. пустил на б-бакшиш старшему начальнику...

— Товарищ подполковник, — Д. оборвал Ушакова, бешено вращая глазами, — вы только что всем нам нанесли оскорбление! Ваши обвинения бездоказательны! А потому, товарищ подполковник, немедленно выдь отсюда! Немедленно! Ты меня понял?!

— П-п-понял... — Ушаков махнул рукой, схватил «Юность» и вышел из комнаты, хлопнул дверь.

В комнате вновь установилась густая тишина. Подполковник Ляшенко курил сигарету за сигаретой. Д. зачем-то развязал шнурок на ботинке, а потом опять завязал. А...ко потянулся, хрустнув лопатками.

— Знаете, — сказала мне, нарушив молчание, женщина, — а наш комбатושка контуженый. И в психушке не раз сидел. Нервы у него сдали. Но мы ведь об этом никому не расскажем, правда ведь?

Она нежно улыбнулась, чуть опустив ресницы на глаза.

— Одно слово — псих! — мрачно, почти про себя сказал А...ко. — Подполковника А. обвиняет в грабежах, меня — в расстрелах мирных... Псих. Ладно, хватит о нем — много ему чести... Я вот только что из Термеза вернулся. Заодно с братом по-видался.

Д. стучал пальцами по табурету.

А...ко нагнулся и достал из сумки батон колбасы, виски, несколько бутылок пива и копченую рыбу.

— В термезских озерах, — он едва улыбнулся уголком рта, — чудесные лещи. Вот пересечем границу, приглашу вас на рыбалку.

— Благодарю, — сказал я.

— Понимаете, — А...ко принялся разрезать рыбину на несколько равных кусков, — такие психи, как этот комбат, пытаются теперь из меня сделать козла отпущения, эдакого советского лейте-

нанта Колли. А какой Колли преступник?! На войне либо ты убиваешь, либо тебя. Другого не дано...

А...ко налил в кружки пиво. Сдул со своей пену. Д. посмотрел сквозь рыбью чешуйку на электрическую лампочку.

— Красота! — улыбнулся он.

— Вот Ушаков, — продолжал после недолгой паузы А...ко, — во время последней операции не бил по кишлакам. А это преступление. Потому что на его участке «духи» смогут в любой момент без риска для себя открыть огонь по нашим колоннам.

Он осушил кружку до дна. Стряхнул желтые капельки с усов.

Алые женские ногти хищно впивались в жирное рыбье мясо.

— А что мне было делать, — спросил сам себя А...ко, — когда все они из кишлака начали спускаться вниз к нашей заставе? Откуда я знал, кто там прячется под чадрой? Ведь то запросто могли быть переодетшиеся в женское платье «духи». Они подошли бы вплотную к заставе и всех наших перестреляли, выбили бы всех до единого. Солдатики и пискнуть бы не успели. Так что я вынужден был открыть огонь. Правда, сначала я все-таки дал очередь поверх голов. Но они продолжали спускаться. У меня не оставалось выбора... Между прочим, приказ был — стрелять... И я выполнял приказ. А комбат Ушаков — нет! Если «духи» укроются в зоне ответственности его батальона и начнут лупить по нашему арьергарду, виноват будет Ушаков, и никто больше! Он совершил преступление, тут не может быть никаких сомнений.

Я внимательно посмотрел в глаза А...ко. Он был надежно прикрыт непроницаемой броней благих намерений.

— Вот скажите, — А...ко встретил мой взгляд, чуть прищурив глаза, — что важнее для советского командира: уничтожить «духов» и вместе с ними немного мирных, но при этом спасти своих солдат? Или же проявить пассивность и допустить уничтожение нашей, советской заставы? Думаю, любой офицер в здравом уме изберет первый вариант. А потом — разве они пощадили Юрасова? За него надо было отомстить. Ладно... Святых больше нет и, по всей видимости, уже не будет. Выпьем за все хорошее.

Бывает лак, на котором не остается царапин, хоть гвоздем скреби. Похоже, А...ко был покрыт таким лаком.

— Ой, мальчишки! — вдруг воскликнула женщина, и легкая печаль тронула ее улыбку. — А что же вы будете делать, когда

кончится война? Что вы будете делать, когда вернетесь? Что вы, мои любимые, будете делать без войны? Без Афганистана? Бедные вы мои, бедные...

— Выпьем за Академию Генштаба! — предложил Д. и, обняв А...ко, поцеловал его в губы.

Женщина протянула руку и включила радиоприемник на столе. Раздался далекий голос Софии Ротару. Мечтательно прислушиваясь, А...ко сказал:

— У Софии началась вторая молодость. Она налилась соком зрелости.

— В самый бы раз, а? — подмигнул мне Д. и сделал движение руками, повторяя изгиб женских бедер.

— А вот Гурченко, — чуть подумав, с печалью в голосе проговорил А...ко, — начала сдавать.

— Ой, мальчишки! — всплеснула руками женщина, явно недовольная тем новым направлением, в каком шел разговор. — Неужели в Термезе опять будет холодно?

— Не бойся, — успокоил ее Д., — нам с тобой будет тепло.

— И даже жарко, — уточнил А...ко.

— Давайте выпьем за любимых женщин! — почти выкрикнул Д. Глаза его сверкали. — Пьем стоя!

Он зажал стаканчик между левой щекой и ребром правой ладони, отставив локоть. Сделал резкое движение, и стаканчик, несколько раз повернувшись вокруг своей оси, оказался у самого рта. Д. резко запрокинул голову и осушил его, чуть притопнув ногой.

Постучавшись в дверь, вошел командир минометной батареи. Собрав со стола грязную посуду, он молча исчез. Проводив его тяжелым взглядом, А...ко сказал:

— Вот мое семейство. — И протянул мне цветную фотографию своих жены и детей.

То была на редкость красивая семья. Я хотел сказать об этом А...ко. Но вдруг вспомнил 23 января и промолчал.

— Я недавно ГАЗ-24 купил, — зачем-то добавил А...ко.

Д. опять крепко обнял его и поцеловал в засос. Потом вдруг, отпрянув, спросил меня:

— Хотите, мы подарим вам видеомагнитофон?

— Благодарю, — ответил я, — надеюсь, что смогу сам когда-нибудь заработать на эту штуковину.

— Бедный, но гордый! — засмеялся А...ко.

— А оружие вы везете домой? — не унимался Д.

— Я бы и рад, да ведь в Хайратоне таможня всех нас перетрясет, — ответил я.

— Бедный, гордый, да еще и наивный! — Д. от души рассмеялся.

— Полковник Д. шутить изволит, — сказал А...ко, сдвинув брови. — Вы совершенно правы: в Хайратоне таможня и лучше не рисковать. Ну, а теперь есть смысл соснуть минуток триста, а?

XXV

На следующий день я поднялся рано. Разбудил стеклянный перезвон выстиранного накануне, но промерзшего за ночь белья.

— Ух, холодрыга... — как будто издалека донесся до слуха мой же голос.

В комнату вбежал Славка Адлюков.

— Ну что, — улыбнулся он, стреляя по сторонам блестящими глазами, — ноги в руки — и в горы?

В семь утра предстояло восхождение на высокогорный сторожевой пост «Тюльпан». Как сказал Ушаков, самое последнее восхождение на этой войне.

Когда я побрился, караван уже был готов. Забив рюкзаки дровами, углем, боеприпасами для подствольных гранатометов, автоматов и миномета, рисом, маслом, сахаром и табаком, мы аккуратно сложили их у адлюковской комнаты.

— Держите между собой д-дистанцию не меньше десяти шагов, — напомнил перед выходом Ушаков. — Сапер потопает первым. Караван — в двадцати шагах за ним. Идти след в след — помнить о минах. В случае если вас обстреляют и потребуются помощь снизу, п-пускайте красную ракету. Все ясно?

Я надел два свитера, бушлат, ватные штаны, а поверх горных ботинок — чтобы не промочить ноги — чулки от ОЗК.

МГЛБэшка подбросила нас к исходной точке, и мы пошли.

Горы горбатились под тяжестью снега. Ноги утопали в нем по бедро. Ветер и солнце действовали похлестче слезоточивого газа, слезы выкатывались из слепнувших глаз, сосульками замерзали на ресницах.

Мы двигались по белому ущелью, словно муравьи по ложбинке человеческого позвоночника, шаг за шагом вскарабкиваясь на ослепительно сахарный хребет.

МТЛБ внизу, на дороге, теперь казавшейся юркой змейкой, превратился в песчинку, но сознание того, что к нему припаян «василек»¹, действовало успокоительно.

Ветер насквозь продувал шерстяную шапку, и мокрые волосы постепенно превращались в ледяной панцирь. Отстегнув от ремня шлем, я надел его и услышал, как с металлическим звоном забарабанила по нему метель.

Вскоре мы миновали пустой кишлак с полуразрушенными обугленными стенами и пробоинами в крышах.

Перемогая вой вьюги, Адлюков крикнул сержанту Рахимову, чтобы тот поглядывал на кишлак, когда мы пройдем его.

Вдалеке, по ту сторону дороги, почти у самого горизонта, работала авиация. Горы стоически выдерживали монотонные удары, и ветер изредка доносил до нас их глухие стоны: у-ух... ох-х... ух-х... о-ох...

Бесконечные хребты образовывали сложную, словно церковный орган, пневматическую систему с своими звуконагнетателями и воздухопроводами, а ветер с Панджшера, этот бестелесный дух девятилетней войны, носясь между горами, подолгу выдерживал в басу звуки печали и тоски, аккомпанируя маленькому отряду людей, упорно карабкавшихся куда-то вверх.

Чем круче и выше склон, тем меньше снега на нем. Под ногами осталась лишь многометровая ледяная корка.

Мы ползли на карачках, придавленные рюкзаками. Вязаный подшлемник то и дело падал на лицо, вьюга забивала смерзшиеся глаза и ствол АК. Сапер впереди бессмысленно стучался шомполом в лед. Уж было не видно МТЛБ внизу и все еще — поста наверху. Где-то в невысказанной высоте поднебесья на фоне неба белели пики гор, окруженные ореолом пурги.

Вдруг впереди прямо над головой угрожающе вырос многометровый валун. Казалось, согреси ты еще хоть раз в своей жизни, нарушь тем самым хрупкий баланс добра и зла в мире, и камень обрушится на тебя. Но чья-то спасительная воля из последних сил удерживала его на месте.

¹ «Василек» — автоматический миномет.

Над нашими головами кружила тощая птица с крючковатым клювом. И, похоже, с вожделием пощелкивала им, разглядывая отряд. Солдат впереди меня, не целясь, сделал пару одиночных выстрелов. Вытерев рукавом лоб под шлемом, прохрипел: «Гад!» Видно, он представил, как, случись вдруг что, птица будет долбить его глазницу.

Ресницы мои вконец смерзлись. Казалось, понадобится монтировка, чтобы их разодрать. Шершавым брезентом варежки я соскреб наледь с глаз и увидел впереди выносной сторожевой пост «Тюльпан».

Солдаты, что служили здесь, на высоте четыре тысячи семьсот, уже больше года не видели ничего, кроме гор. Лишь изредка спускались они на заставу Ушакова, чтобы помыться, отвести душу от высокогорной тоски, взять письма и, прихватив боеприпасы, опять подняться на «Тюльпан». Старший лейтенант, командир этого поста, провел здесь почти два года. «Я вычеркнул их из жизни, — бесстрастно сказал он, положив ноги на табурет, кивнул на окно, в котором солнце уже готовилось к очередному закату: — Итак, продолжение многосерийного фильма афганской киностудии под названием «Горы». Пятисот шестая серия: «Вечер»... Присаживайтесь — будем смотреть вместе».

Я вспомнил сержанта Сайгакова, который летом 1986 года самовольно ушел с поста лишь для того, чтобы в наказание его отправили туда, где шла настоящая война. Он еще сказал, что страх перед смертью вынести легче, чем черную скуку на сторожевом посту.

Впрочем, здесь, на «Тюльпане», жизнь и война временами подбрасывали солдатам происшествия.

Однажды двое из них пошли на родник, что неподалеку от сектора — всего метрах в четырехстах, не больше. По давнему договору, бачата каждую неделю в установленное время таскали туда чарс, а солдаты выменивали его на патроны. В тот раз бачонок смеха ради попросил автомат — так, проиграться. Солдат, ничего не подозревая, отдал свой АК. Бачонок, продолжая улыбаться, перевернул затвор, сместил рычажок на автоматическую стрельбу.

— Эй! — сказал солдат. — Не балуй, бача...

Но пацан, еще раз сверкнув улыбкой, нажал на спусковой крючок и короткой очередью свалил солдата на землю. Второму, правда, удалось спастись.

Множество историй поведали мне люди, служившие на «Тюльпане». Но все же больше заставляли говорить меня, забрасывая самыми неожиданными вопросами.

Мы провели там часа полтора — отдыхали, пили горячий чай, отогревали ноги и руки. Потом, вытряхнув содержимое рюкзаков, приготовились к спуску.

— Теперь задница, — сказал Адлюков, — послужит нам вместо санок.

Он сел на снег и, бросив автомат на колени, понесся, взвивая снежную пыль, вниз, словно в детстве. А следом — все остальные.

Они и впрямь были детьми. Но детьми войны.

XXVI

Через два дня батальон подняли на рассвете.

БМП выстроились друг за другом вдоль дороги. В воздухе таяли остатки тьмы.

Ушаков вышел на трассу и окинул тусклым взглядом батальон. Не хватало одиннадцати машин — почти роты. Шесть ушли с командиром полка раньше. Остальные он передал «зеленым».

На антенне второй БМП из роты Мокасия отчаянно бился на ветру красный флажок. Точно крыло подранка.

— Засунь флаг себе в з-зад, солдат! — зло крикнул Ушаков. — Это не парад. Лучше сними хлам с брони — если что, пушку не развернешь.

Солдат хотел ответить, но ротный сказал, чтобы он заткнул свой огнемет.

— Я считаю... — вступился было за солдата стоявший рядом замполит из другого батальона, но его резко оборвал Ушаков.

— Вы, — тихо, но четко сказал комбат, — считайте д-до ста. А я буду поступать так, к-как считаю нужным.

— Вместо флага, — поддержал Ушакова ротный, — мы привяжем к БМП голову замполита с бантиками в волосах. Журналисты в Термезе умрут со смеху...

Минометная батарея Климова застряла на выезде с заставы из-за сломавшегося БТРа. Второй час подряд в его двигателе копался Славка Адлюков, но все безуспешно.

Ушаков кругами ходил вокруг испорченной машины. Матерясь, приговаривал:

— Щенки! Не слушаете матерого к-комбата. Г-говорил же вам, чтобы проверили машины накануне...

Но БТР так и не завелся. Его облили двумя ведрами солянки и подожгли ракетницей. Вспыхнув, одинокий факел взметнулся ввысь.

Батальон хрустнул всеми своими металлическими суставами и медленно попер в гору.

Отчаянно ревели двигатели, скрежетали гусеницы, выбрасывая назад грязные ошлепки пропахшего гарью снега.

Вскоре колонна скрылась за горой.

Двумя километрами ниже карабкался на Саланг, к перевалу, второй батальон парашютно-десантного полка.

В третьем его взводе шла 427-я БМП. Гроздь прижавшихся друг к другу солдат облепила башню. Сзади сидели Андрей Ланшенков, Сергей Протапенко и Игорь Ляхович. Все в бронниках.

Вечером, в начале восьмого, батальон остановился у 43-й заставы, рядом с кишлаком Калатак. Как раз там, где погиб майор Юрасов и где так жестоко отомстил за него полковник А...ко.

Черная ночь расплзлась по небу, словно чернила по промокашке.

Комбат приказал выключить все габаритные огни на машинах.

— Еще сутки, — сказал Ляхович, — и будем на границе. Не верится...

Раньше Ляхович служил в саперной роте и прозвище у него было Сапер. Потом его перевели в разведвзвод старшего лейтенанта Овчинникова.

Но прозвище осталось.

На 40-ю заставу Сапер попал в декабре прошлого года. Обеспечивал выставление блоков — искал мины.

За весь последний год во взводе не было «021»¹.

— Если на перевале армию не заклинит, — ответил Саперу Ланшенков, — то будем.

— Дай-то Бог, — отозвался Протапенко.

¹ «021» — условное обозначение для убитых.

Мороз наглед с каждой минутой. Водитель завел двигатель, и солдат обдало горячей гарью.

Через пару секунд взревел весь батальон. Но с места не тронулся.

«Урал» зампотеха не заводился. Пришлось открыть капот и проверить стартер.

— Нужен ключ на «17». Торцовый, — сказал зампотех.

Майор Дубовский подошел к 427-й БМП, взял ключ, но четырехгранника у водителя не было.

— Он есть на 563-й, — сказал ротный. — Пошли туда.

Рядом с «Уралом» остановился «газик». Из окошка высунулась голова комендача.

— Эй ты, — крикнул он водителю через мегафон, — сын русского народа, в чем дело?! Быстрее заводи и двигай без переключения передач!

Водитель не отреагировал. Продолжал рыться в двигателе. Должно быть, не понял. «Газик» уехал.

На стоявшем БТРе время от времени с шипением срабатывал компрессор, добавляя воздух в шины.

Ротный и майор вернулись, дали водителю четырехгранник. Сами полезли в кабину греться.

На 427-й один за другим зажглись восемь огоньков. Солдаты курили, отогревая теплым дымом сигарет посиневшие губы и пальцы.

— Хорошо... — сказал Сапер Ланшенкову, глубоко затянувшись.

Хотел добавить что-то еще, но струя пулеметного огня секанула поперек дороги. Трассеры красным пунктиром прошили тьму.

Стреляли с заставы, только что переданной «зеленым».

БМП впереди дала предупредительную очередь по небу. Остальные молчали. Комбат, видно, решил не ввязываться в перестрелку.

Ланшенков услышал, как Сапер прохрипел ему что-то на ухо и несколько раз судорожно всосал ртом воздух.

— Что? — переспросил Ланшенков. — Что???

Сапер сидел в прежнем положении, лишь голову запрокинул назад — глядел в небо.

— Сапер! Ты как?! — крикнул Ланшенков.

Тот молчал.

К 427-му подбежал ротный. Тряхнув Сапера за плечи, заорал водителю:

— Включайте фары! Куда его зацепило?

Сапера аккуратно спустили и с брони, положили на дорогу в желтый круг электрического света. Красная змейка крови заскользила по льду к обочине.

— Шея... — сказал, вставая с колен, ротный. — Навылет. Пуля вышла из затылка...

Прапорщик присел на корточки и потрогал левое запястье Сапера.

— Пульс пока прощупывается, — сказал он.

Два солдата отрезали рукав бушлата. Санинструктор вколот в начавшую остывать серую руку промедол. Перетянул ее резиновым жгутом. Подождав, пока набухнет вена, поставил капельницу.

— Потекло... — сказал Ланшенков.

Связавшись с комбатом, ротный закричал в ларинг шлемофона:

— У меня «300»¹ или «021»... Как понял?

— Вези его на 46-ю! — ответил комбат.

Там был медпункт.

Сапера положили на БМП. Водитель включил зажигание. Машина дернулась, пошла в гору.

— Ставь вторую капельницу! — крикнул ротный.

Санинструктор поставил, но жидкость не пошла. Замерзла.

— Б...! — выругался ротный.

Потом взял чей-то бушлат, накрыл им Сапера.

Тот лежал на ребристой морде БМП.

По небу неся одинокий месяц.

— Б...! — опять выругался ротный. Гримаса исказила его лицо.

Приехали на 46-ю. Положили Сапера на плащ-палатку и принесли в кунг — к врачу. Тот минут пять возился, слушал пульс, осматривал рану.

Наконец открыл дверь, вышел на улицу, сказал:

— Все...

Сапера вынесли на свежий воздух и опять положили на броню.

В небе висели осветительные бомбы, и его лицо было хорошо видно. Кожа его стала похожа на лист вощеной бумаги. Из носа и

¹ «300» — условное обозначение для раненых.

ушей все еще шла кровь. В глазах отражалось небо — то же небо, что и двадцать минут назад.

— Закройте ему глаза, — сказал кто-то.

Сапера завернули в одеяло, подложив под него носилки.

Через пять минут одеяло припорошил снег.

Вокруг БМП с телом Сапера кольцом стояли солдаты. Курили.

В глазах одного застыл вопрос: «Сапер, почему тебя?»

В глазах другого: «Прощай».

В глазах третьего: «Лучше тебя, чем меня».

В глазах четвертого: «Если не повезет, скоро встретимся».

В глазах пятого: «Б...!»

В глазах ротного — слезы.

Никто из них не хотел стать последним советским солдатом, убитым в Афганистане.

Взяв это на себя, Сапер поставил точку на этой войне.

Январь — февраль 1989 года

Кабул — Москва

КАК Я БЫЛ СОЛДАТОМ АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ

Возможно, есть рай и уж точно — ад,
А нам место здесь, не так ли, брат?

Солдатская маршевая

«ПЕРЕСТРОЙКА» — ПОЛНЫМ ХОДОМ!

К августу небо вылиняло, став белесым, словно джинсы после многократной стирки. Голубизна осталась скорее в воображении, чем наяву.

В час, когда я добрался до закускойной с бесперспективным названием «Конец пути», вечер еще не наступил. Было лишь его слабое предчувствие.

Вдали сквозь серую дымку едва проглядывалась ниточка горизонта, смутная и нечеткая, как ощущение человека, который мертвецки устал и хочет спать.

Остановив машину в условленном месте, я оглянулся по сторонам. Фары машины напротив два раза вспыхнули дальним светом. Я ответил тем же и вылез наружу.

Подойдя ко мне, водитель посигналившего автомобиля снял противосолнечные очки.

— Я Билл Уолтон из Форт-Беннинга¹. А вы...

Я назвалса.

— Очень приятно, — улыбнулся он, но тут же стер улыбку с губ тыльной стороной ладони. — Командир Форт-Беннинга поручил мне сопровождать вас во время вашего пребывания на военной базе, приглашаю в мою машину. Не возражаете?

Я не возражал. Уэйн Сорс, фотокорреспондент журнала «Лайф», направлявшийся вместе со мной в Форт-Беннинг, сел за руль нашей машины, я — в машину Уолтона, и мы рванули вперед.

Уолтон пристроился позади «джипа», битком набитого солдатами, который, повинувся лихой руке своего постоянно хох-

¹ Беннинг Генри Льюис (1814 — 1875) — американский военачальник, участник гражданской войны в США.

тавшего водителя, то и дело прыгал из ряда в ряд, хищно мигая при этом задними указателями.

Билл — невысокий, худенький, юркий человек лет пятидесяти восьми. Седая борода окаймляла его прокаленное на солнце Джорджии¹, дубленное временем лицо, напоминавшее изборожденный танковыми гусеницами полигон с двумя крохотными аквамаринowymi озерцами. Одет он был в клетчатые штаны и розовую рубашку с короткими рукавами.

— Я работаю в отделе по связи с прессой, — сказал Билл, перехватив мой любопытный взгляд, — нам разрешается ходить в штатском. Знаете, чтобы не раздражать лишний раз гражданское население Колумбуса², не мозолить глаза...

Мы поравнялись с «джипом». Теперь он шел параллельно, справа от нас. Солдаты, видимо, затевали дорожную игру, не предполагая, что Билл сам из Форт-Беннинга. Я навел на парней свой фотоаппарат. Это подействовало на них так, как будто я рассказывал какой-то безумно смешной анекдот: бедняги просто надрылись от смеха.

Уолтон мрачно посмотрел в их сторону.

— Я, знаете ли, не последняя спица в колесе, — почему-то сообщил он в ответ на солдатский гогот. И, словно в доказательство сказанного, до конца утопил педаль акселератора.

«Джип» мгновенно потерялся в потоке машин где-то за нашими спинами. Обгон был совершен, словно акт жестокого, но справедливого возмездия.

Минут через десять мы въехали на территорию базы. Слева и справа то и дело мелькали знаки «Сторонись: военная зона!»

— Форт-Беннинг создан более 70 лет назад, — сказал Билл и, подчиняясь дорожному указателю, сбросил скорость до двадцати миль в час. — Это один из основных учебных центров сухопутных войск армии Соединенных Штатов.

В его голосе все четче звучала нотка гордости. Мы миновали штаб Форт-Беннинга и установленную рядом с ним скульптуру бегущего солдата. Я решил сфотографировать ее.

— Не торопись, — махнул рукой Билл, — сфотографируешь его завтра. Я тебе обещаю: этот парень никуда не убежит.

Биллу понравилась шутка собственного изготовления, и он рассмеялся.

¹ Штат на юге США, где расположен Форт-Беннинг.

² Город рядом с Форт-Беннингом.

Мне всегда imponировали люди, которые сами шутят и сами потом больше всех веселятся. Я сказал об этом Биллу.

— Мне тоже, — ответил он и рассмеялся пуще прежнего. — А здесь живут лейтенанты и капитаны. — Билл кивнул на аккуратные приземистые коттеджи, расположившиеся рядом с дорогой.

Из-за поворота вынырнул «мустанг» — один из символов 60-х. Рыкнул своим двигателем без глушителя и тут же скрылся, оставив за собой шлейф, сотканный из горьких выхлопов и, судя по вдруг изменившемуся выражению уолтоновского лица, ностальгии.

— Всегда мечтал иметь «мустанг», чтобы не ездить — летать. Да вместо него пришлось полетать на других машинах. На «хью» — слышал о таких?

— Конечно, — ответил я, — ваш основной вертолет во Вьетнаме.

— Да... Вьетнам... — сказал Билл и просвистел себе под нос мотивчик какой-то песенки.

Он круто повернул направо, дождался, когда нас догонит Уэйн Сорс, и опять прибавил газу.

— «Средний» молодой солдат, — продолжал Билл профессиональной скороговоркой офицера по связи с прессой, — прибывающий в Беннинг, двадцати лет от роду, весит 173 фунта¹, рост пять с половиной футов². Он со средним образованием и, главное, хочет по-настоящему служить, учиться. Его интеллектуальные и физические данные значительно выше, чем у «среднего» солдата 60-х годов...

— Это потому, что армия имеет возможность теперь сама отбирать наиболее подходящих людей? — спросил я.

— Да, конечно. К середине 70-х мы отказались от всеобщей воинской обязанности и перешли на добровольную армию. Численность личного состава резко уменьшилась. Словом, мы потеряли в количестве, но приобрели качество. Теперь в армию идут лишь те люди, которые сделали этот выбор сознательно, добровольно. Именно поэтому они легче, чем их сверстники двадцать лет назад, переносят лишения, тяготы, физические и психологические перегрузки военной жизни. Повышение требовательности со стороны сержантов и офицеров они не рассматривают как из-

¹ Ф у н т — 0,4536 кг.

² Ф у т — приблизительно 30,5 см.

девательство. А это было характерно для солдатской психологии еще лет пятнадцать — двадцать тому назад.

Он вдруг улыбнулся и добавил:

— Так что ты передай своим, что мы тоже тут перестраиваемся. В нашей армии «перестройка» идет полным ходом... Важно и то, что представители армейских вербовочных пунктов, разбросанных по всей стране, постоянно работают со школьниками и студентами. Проводят среди молодежи агитационную работу, рассказывают о преимуществах армейской карьеры. И в конце концов выбирают из общего числа желающих лишь наиболее подходящих. А потом, знаешь ли, вообще здоровье нации по сравнению с 60-ми сильно окрепло.

Левая рука Уолтона мертвой хваткой впилась в руль, а правая отчаянно жестикулировала, то взлетая, то падая. Вдруг она замерла, и я увидел татуировку чуть выше локтя: «Дай мне смерть прежде бесчестия!»

Он опять перехватил мой взгляд.

— А, это... У вас, в России, в армии небось тоже есть такая мода, нет?

— Есть, Билл, конечно, есть.

— У меня на заднице, — заговорщически добавил он, — пропеллер наколот. Чтобы не утонуть в случае шторма!

— Билл, а если серьезно: каковы преимущества военной карьеры?

— Если серьезно, то преимуществ уйма. Во-первых, армия гарантирует тебе постоянный хороший заработок, бесплатное питание; безработица тебе не грозит. Во-вторых, после окончания контракта Пентагон оплатит два-три первых года твоей учебы в колледже или университете. В-третьих, армия даст тебе возможность бесплатно попутешествовать, побывать в самых разных странах мира: я имею в виду службу на американских военных базах за пределами территории США. В-четвертых, армия бесплатно обучит тебя новой профессии. Перечисление преимуществ можно продолжить. Тебе не надоело?

Уолтон ничего не сказал о недостатках, а я не переспросил.

Мы обогнули здание, в котором у Паттона¹ в 30-е годы располагался штаб. Прославленный генерал в ту пору командовал здесь дивизией.

¹ Паттон Джордж Смит-младший (1885 — 1945) — американский военачальник, в годы второй мировой войны командовал рядом армий.

— Форт-Беннинг, — продолжал Билл, — уникальный военный центр. Это единственный центр, дающий начальную подготовку пехотинцам армии США. Срок полной подготовки солдата — тринадцать недель. Поступившим на службу на протяжении этого времени категорически запрещено курить. Я, понятное дело, не говорю о наркотиках и алкоголе.

Я спросил Уолтона, есть ли у солдат, скажем, наряды по кухне, посылают ли их на строительные или сельскохозяйственные работы?

Он с удивлением посмотрел на меня:

— Нет, это исключено. Все внимание солдата сосредоточено на физической и боевой подготовке. В течение всех тринадцати недель мы им даже запрещаем читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор.

— А в этом какая логика?

— Элементарная, — ответил Билл. — Газеты, телевидение и радио отвлекают солдат от боевой и физической подготовки. Разрешается это в минимальных дозах и в порядке поощрения особенно старательных парней. Скажем, в воскресенье вечером кому-то позволят посмотреть десять минут телевизор. Все, баста.

«Хитро придумано: волевым решением они отрывают солдат от сложностей нашего мира и вводят в мир «приказных» истин», — подумал я. Секундой позже спросил:

— Но ребята должны же знать, что творится в их стране и мире?

— Потом узнают... — Он плавно затормозил, и машину качнуло, словно лодку на волне. — Вот мы и приехали. Это здание, так сказать, «первичной обработки» поступивших на службу.

— В каком смысле? — не совсем понял я.

— Вон видишь того строгого дядю с седым ежиком на голове? Это полковник Ист. Спроси у него.

Офицер, на которого показал Билл, казалось, пять минут назад сошел с плаката «Ты нужен американской армии!». Я всегда подолгу рассматриваю такого рода плакаты, с которых к согражданам обращается розовощекий человек с волевыми чертами лица и очень строгий. Одна бровь неизменно вздернута. Подобные плакаты есть, похоже, во всех странах. Но создается впечатление, что штампует их один и тот же художник, меняя лишь лозунги.

Полковник Ист подошел к нам и протянул сначала Биллу, потом мне свою крепкую руку.

Он был одет в пятнистую полевую форму. На его могучем предплечье красовалась нашивка «Делай, как я!». Были и другие: «Рей-

нджер»¹, «Воздушный десантник». Всех нашивок я не успел разглядеть, потому что Ист развернулся и пригласил нас внутрь. Мы вошли в приземистое здание, по обилию использованного бетона напоминавшее бункер. Закрылись толстые стеклянные двери, отрезав меня от остального мира.

ПРОЩАЙТЕ, ШЕВЕЛЮРА И... СИГАРЕТЫ

За окном беспомощно лепетала листва, словно хотела о чем-то предупредить. Но было поздно.

Массивные стены, полумрак, чистота, порядок — все это странным образом действует на психику, подавляет человека, впервые сюда попадающего. Видимо, именно такую задачу военные поставили перед архитектором, планировавшим здание.

— Это своего рода приемный пункт, — сказала полковник Ист. — Сюда съезжаются все только что поступившие на службу. Они сначала прилетают в Атланту² из своих родных штатов. Потом на автобусах добираются до Форт-Беннинга. Конечно, все транспортные расходы берет на себя Пентагон. Он же снабжает парней талонами на еду. Ребята поступают к нам одиннадцать с половиной месяцев в году непрерывным потоком. Исключение — рождественские и пасхальные праздники. В неделю через нас проходит обычно от 250 до 1000 человек.

Мы остановились у двери, которая вела в мрачного вида комнату без единого окна. В одной из стен — щель.

— В эту щель, — заметил полковник, — каждый их поступивших на службу должен без свидетелей выбросить все то, что солдатам запрещается иметь с собой во время пребывания на территории центра: наркотики, любые виды холодного и огнестрельного оружия, порнографические журналы, книги, алкоголь, сигареты. Запрещается также жевать и нюхать табак. Если кто-то оставил при себе что-то запрещенное и это обнаружится, будет наложен денежный штраф. Есть и другие виды взысканий.

— Полковник, — сказал я, — со мной ни оружия, ни порнографии нет, есть лишь пачка сигарет. Честно говоря, я иногда покуриваю. Как быть?

¹ Рейнджеры — военнослужащие диверсионно-разведывательных подразделений.

² Административный центр штата Джорджия.

— Примите мои соболезнования. Это во-первых. А во-вторых, командир Форт-Беннинга двухзвездный генерал¹ Льюер сообщил нам, что из Пентагона пришел приказ дать вам возможность стать на время солдатом армии США. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что принимайте правила игры.

И я принял. Вошел в комнату, закрыл за собой дверь и, убедившись, что рядом нет ни одного свидетеля, кинул в щель так и не распечатанную пачку «Явы».

Вышел оттуда, почувствовав почему-то, что совесть моя стала чуточку чище. Словно мне отпустили грех.

— Теперь распишитесь-ка вот тут. — Полковник Ист протянул мне лист бумаги, прикрепленный металлическим зажимом к тоненькой дощечке. — Но сначала ознакомьтесь с текстом.

Я ознакомился. Там было написано, что, «если произойдет несчастный случай, я не буду подавать в суд на правительство Соединенных Штатов Америки». В самом низу — место для подписи. Я поставил ее, но сказал:

— Однако, если произойдет уж совсем несчастный случай, я при всем моем желании все равно не смогу подать в суд на правительство США.

Полковник Ист задумался. Билл Уолтон почесал затылок. Уэйн Сорс щелкнул фотоаппаратом и сказал:

— Назову этот снимок «Три мыслителя».

— Ладно, — махнул я рукой, — будем надеяться, что пронесет и мне не придется судиться с администрацией в Вашингтоне.

— Присоединяйтесь пока к этим вот жеребцам, — Ист кивнул на группу только что прибывших в учебку юнцов, — а я ненадолго отлучусь.

Ребята, среди которых я теперь оказался, с любопытством рассматривали друг друга.

— Ты откуда? — спросил меня длинношей парень, толкнув локтем в бок.

— Из Советского Союза, — ответил я.

Парень похлопал меня по плечу и сказал, что ему приходится в жизни слышать шутки посмешнее моей.

— А ты откуда? — в свою очередь поинтересовался я.

— Из Коннектикута.

— Тебе чего — дома не сидится?

¹ Генерал-майор.

— Да я так, потехи ради. За компанию с приятелем. А потом, знаешь, я большой любитель всяких там походов, костров в лесу. Я весь штат облазил. А теперь вот решил — почему бы мне не делать то же самое, только за шестьсот долларов в месяц?! Вот и завербовался. А ты?

— Да я из Москвы, говорят тебе... — Но я не успел рассказать, что привело меня в Форт-Беннинг. Парень сделал на пятках разворот на сто восемьдесят, бросил через плечо:

— Ладно. Когда сменишь пластинку, дай знать...

Я отошел от него и направился в сторону мини-музея, расположенного неподалеку.

Табличка на стене гласила, что «приемная» Беннинга носит имя Джонстона, который воевал во Вьетнаме и был там убит. Рядом, в стеклянном кубе, висела форма одного из бывших американских военных советников во Вьетнаме. Чуть поодаль — форма некоего Райха. Он знаменит тем, что первым ступил на землю Гренады во время недавнего вторжения США. А вот выставка американских солдатских касок первой половины XX столетия.

— Между прочим, — сообщил Уолтон, — каска, в которой наш солдат дрался с немцами, а потом в Корее, была создана в Форт-Беннинге, на здешней кухне. По-моему, каким-то поваром. С этими поварами, ей-Богу, одна умора...

За касками, чуть дальше и влево, на отдельной полке под стеклом сверкала под косыми ржавыми лучами заходящего солнца коллекция американских военных орденов и медалей: «пурпурные сердца», «бронзовые» и «серебряные звезды», медаль «За заслуги»...

— Ну, что, «адепт», вперед и выше? — присоединившийся к нам полковник Ист явно повеселел.

Он проводил меня в кабинет, с первого взгляда напоминавший комнату пыток: кресло, масса хромированных инструментов, огромный детина, смахивающий на мясника, с лезвием в могучих, покрытых густым рыжим волосом руках и таинственной улыбкой на губах.

— Сюда! — сказал детина и указал лезвием на кресло.

Я сел, почему-то вспомнив про недавно данную подписку. Детина сменил лезвие на визгливый электрический прибор. Через тридцать секунд все было кончено. Моя новая прическа называлась «туго и упруго» — стандартная стрижка новобранца. Такая же участь постигла и всех остальных, только что прибывших в Беннинг парней.

Далее мы проследовали по очереди в рентгеновский кабинет, где сержант-пуэрториканец сделал пару снимков моих челюстей.

— Эта процедура, — объяснил Ист, — у нас в армии с 1986 года. В конце 85-го в гандеровском¹ аэропорту потерпел аварию самолет, битком набитый солдатами. Внутри было такое кровавое месиво, что почти никого не удалось опознать. После этого решили, что рентгеновские снимки челюстей — самое надежное дело.

Медицинская проверка и вакцинация заняли не более тридцати минут. Пневматическим пистолетом (давление — 1250 фунтов на квадратный дюйм), словно штампуя, солдатам сделали прививки от всевозможных эпидемий — всего восемь впрыскиваний. Анализ крови. Тесты на СПИД, наркотики и алкоголь. Отдельный тест, определяющий интеллектуальный уровень; вроде в нашей партии дураков не оказалось.

Жесткие меры приняты в американской армии против наркотиков. Если раньше, особенно во Вьетнаме, на эту проблему командиры смотрели сквозь пальцы, то теперь ситуация кардинальным образом изменилась. Человек, хоть раз замеченный в их употреблении, подлежит немедленному увольнению из рядов вооруженных сил. Официальная статистика свидетельствует: в 1980 году 27 процентов американских военнослужащих употребляли наркотики, в 1988-м — лишь 3 процента. «Наркомания, — сказал мне один сержант, — особенно подскочила у нас во время вьетнамской войны. Солдаты, возвращаясь домой, тащили эту эпидемию в Штаты. Или, скажем, молодой солдат попадал в барак, где его соседями оказывались старослужащие — любители «полетать»². Они смотрели на него как на потенциального «стукача». Единственная возможность избежать «засветки» — превратить его в своего. Если он сопротивляется, у него начинаются неприятности. Мелкие, но регулярные. То мыло пропадет. То свет погаснет, когда он в душевой. То ботинки исчезнут и он опоздает на построение, а это наказуемо. Таким образом, старослужащие втягивали молодых в наркоманию. С тех пор прошло лет пятнадцать. И сейчас, по-моему, эту проблему мы решили»

...Потом всем нам на шею повесили по металлической цепочке с двумя стальными пластинками. На каждой указаны твои фами-

¹ Аэропорт на канадском острове Ньюфаундленд.

² Летать (to fly — *англ., жарг.*) — находиться в наркотическом опьянении.

лия, имя, дата рождения, номер страхового полиса. (В моем случае — номер заграничного паспорта.) Это «смертник». Если от человека останется одно воспоминание, быть может, при опознании трупа помогут эти пластины, которые солдаты окрестили «собачьими жетонами».

В следующем зале выдали по четыре зеленых полотенца, комплекты нижнего белья, зеленые хлопковые майки, нашивку с указанием фамилии (ее обязан носить каждый солдат и офицер над правым нагрудным карманом), нашивку «Ю. Эс. Арми», башмаки на шнуровке со стальными пластинами в подошвах (пригодился опыт вьетнамской войны, когда партизаны устанавливали шипы на тропах), несколько комплектов полевой пятнистой формы. Получили мы по пластиковой коробочке с затычками для ушей.

— Солдатам приказано пользоваться ими в вертолетах, самолетах и во время учебных стрельб. — Полковник Ист продемонстрировал, как. — В противном случае люди покидают армию с сильной потерей слуха. Ведь даже треск автоматической винтовки М-16 достигает почти 160 децибелов.

После получения экипировки здоровенный сержант всунул каждому из нас по карточке, где следовало указать фамилии родственников и адреса, по которым в случае чего будут отправлены «похоронки». О смерти тут заботятся явно больше, чем о жизни.

Я внимательно вглядывался в совсем еще детские лица ребят; многие из них, заполняя квадратные карточки, должно быть, впервые засомневались в своем бессмертии.

Парень, сидевший на корточках, слева от меня, долго сосал кончик шариковой ручки, но потом в конце концов вывел адрес мисс Стоунвэй, которая проживала где-то в Вудбери¹.

— Кем она тебе приходится? — спросил я.

— Учительница.

— Почему ты не указываешь свой домашний адрес?

— Понимаете, если меня убьют, неохота портить настроение родичам...

— Выходную форму, — прервал наш разговор Ист, — сегодня выдавать не будем. Сделаем это через семь недель. К тому времени все вы сбросите лишний вес, поднакачаете мускулы. Словом, фигура изменится.

¹ Город в штате Нью-Джерси, недалеко от Филадельфии.

Я натянул пятнистые штаны и куртку. Полковник Ист помог подвернуть рукава, чуть выше локтей. Это здесь — целое искусство. Как у нас — портянки. Умение подворачивать рукава отличает бывалого солдата от новичка.

Мы спустились в солдатскую столовую. Впрочем, она общая. Тут, как и везде в американской армии, рядовые едят вместе с офицерами.

Сразу бросился в глаза здоровенный плакат у входа: «Кто твой злейший враг?» Чуть ниже ответ: «Иван!» Нарисован brave американский рейнджер, протыкающий штыком советского солдата с красной звездой на каске.

Я вспомнил десятки офицерских и солдатских столовых у нас, в которых приходилось бывать самому, вспомнил наши части и подразделения в Афганистане. Но нигде и никогда я не видел плаката, который бы призывал солдат убивать первого же подвернувшегося под руку «Джона». Не играем мы на ненависти к американцам.

— Здорово, — сказал я полковнику Исту, — вы своих «адептов» натаскиваете. С первого же дня! Даже в столовой. Это что, — я кивнул на плакат, — пожелание приятного аппетита а-ля Форт-Беннинг?

Честно говоря, настроение резко испортилось. Кусок в горло не лез. Ведь, как ни крути, призывали убивать меня. Или таких, как я. Подумалось: могли бы и снять...

Ист широко улыбнулся и выдал длинную очередь неестественного механического смеха.

— Наша столовая, — он поспешил сменить тему разговора, — конечно, не предел мечтаний для чревоугодника. Но мы, — он кивнул на Уолтона, — вполне довольны. Верно, Билл?

— Еще бы, — ответил тот, дожевывая второй сандвич и запивая его апельсиновым соком.

Солдаты, выстроившись в очередь и держа перед собой подносы, брали с длинных полок тарелки с итальянскими макаронами, горячие сосиски, мясо, вареный картофель и рис, всевозможные соки, овощи, фрукты и пирожные, кофе с молоком или без.

— Каждому солдату, — сообщил Ист и сделал большой глоток горячего шоколада, — полагается 75 центов на завтрак и по доллару с полтиной на обед и на ужин. Если он укладывается в эту сумму, еда для него бесплатна. Если нет — ему приходится доплачивать из собственного кармана. Но 3 долларов 75 центов

вполне хватает, ведь налогов на еду здесь нет. Правда, каждый месяц мы делаем поправку с учетом изменений курса доллара. Офицеры же за еду платят.

— Еще как платят! — подхватил слова Иста ладно сколоченный подполковник, подсаживаясь за наш стол.

Полковник Ист познакомил нас.

— Здравствуйте, майор, — протянул мне руку через стол подполковник.

— К сожалению, должен вас разочаровать: всего лишь лейтенант запаса. Я журналист.

— Рассказывайте! — улыбнулся он и намазал гамбургер томатным соусом. — Кстати, у вас микрофон в правом или все-таки в левом ухе?

— Микрофон, — ответил я, — вышел из строя, когда я мылся в душе. Но фотокамера в виде искусственного зрачка работает вполне исправно. — И я подмигнул ему левым глазом.

— Не забудьте прислать мне из Москвы пару снимков. Идет?

— Идет. Спасибо за компанию.

Встав из-за стола, Уэйн Сорс и я направились к выходу. Хотелось подышать свежим воздухом.

НЕ БАБЬЯ РАБОТА?

Жара стояла, как в сауне, и я вылили на голову остатки воды из фляги.

Солнце медленно заходило на посадку, отстреливаясь последними косыми лучами, словно трассерами.

Мы пересекли поле для игры в гольф. Оно было гладким, как морская вода в тихое, ясное утро. Лишь с края изумрудной волной тянулась гряда приплюснутых холмов.

— Траву они здесь стригут, — заметил Сорс, — как солдатские затылки.

— Верно, — согласился я, — «туго и упруго».

Сорс перезарядил фотокамеру и по-хозяйски огляделся вокруг в поисках стоящего кадра. Над нашими головами пролетала стая уток, и Сорс, переключив аппарат на автоматическую стрельбу, выдал серию очередей по птицам.

— Так ты им всех уток перестреляешь.

— Ничего, таким «автоматом» стрелять можно. Я с ним пол-Филиппин обошел...

И он принялся рассказывать историю о том, как пару лет тому назад внедрился в один из отрядов Новой народной армии Филиппин¹. Как вместе с партизанами прятался от правительственных войск. Как был на волосок от, казалось, верной гибели и как все-таки выжил, хотя и подхватил весь «боекомплект» тропических болезней.

Незаметно стемнело. Мы оказались у могучего, разлапистого тутового дерева. За столиком под его кроной сидели две девушки в военной форме.

— Здравствуйте, — сказала одна из них. — Вы, кажется, не местный?

— Нет, — сказал я, решив не уточнять, откуда именно, все равно она бы мне не поверила.

Сорс разговаривал с другой девушкой. Было темно, и я слышал лишь ее грудной смех.

— Так откуда же?

В ответ я неопределенно махнул рукой в сторону тлевшего заката.

— А-а, — задумчиво произнесла она, словно я дал ей исчерпывающий ответ.

— У вас есть время?

— Да, почему вы спрашиваете?

— Тогда, — я сел за столик, — расскажите мне о себе.

— К чему вам? — рассмеялась она.

— А я коллекционирую истории человеческих жизней. Когда вы решили пойти в армию?

— Я пошла в армию вслед за подружкой. Решила: понравится — останусь, не понравится — уйду.

— И вам, конечно, понравилось...

— Да, и знаете чем? Тем, что только в армии я чувствую себя совершенно равноправной с мужчинами.

— Вы феминистка?

— Нет, Бог с вами. А что, похожа?

— Напротив, вы очень красивая.

Она засмеялась.

— Смех у вас, — заметил я, — не солдатский.

— И потом, — продолжала она, — я обожаю прыгать с парашютом. «На гражданке» за такие удовольствия надо платить.

¹ Новая народная армия (ННА) — так именуют себя филиппинские повстанцы, выступающие против центрального правительства.

Она заговорила о прыжках, а я подумал: за последние десять лет Пентагону удалось создать вокруг армии атмосферу военной романтики. Молодежь теперь смотрит на службу как на приключение, как на возможность попутешествовать, как на спорт. Это привлекает даже молоденьких девчонок. Сегодня двенадцать процентов всей армии США — женщины. Четыре из них имеют звание бригадного генерала. Женщины тренируются, занимаются боевой и физподготовкой наравне с парнями. Спят в общих бараках; правда, им выделяют отдельный угол или этаж. Только замужние да и те, что с детьми, проживают в отдельных коттеджах...

— Вам скучно? — Она легонько щелкнула ногтем по стекляшке моих часов.

— Нет, просто задумался. Но скажите честно, ребята в вас видят все-таки женщину или солдата?

— Если вести себя нормально, то никаких проблем не будет. Тут такая изматывающая подготовка, что просто-напросто не остается сил думать о чем-либо постороннем. Встаю я в пять утра: у меня ведь ребенок, ему надо еду приготовить... Да, не удивляйтесь, я была замужем. Он тоже военный. Вместе служили в Германии. Потом я забеременела. Ушла по его настоянию из армии: муж считал, что это не бабья работа. Он мечтал, чтобы я была классической домохозяйкой, — срабатывал его «южный образ мышления». Я, дура, прислушалась.

Она была так увлечена своим рассказом, что даже не глядела в мою сторону. Сделав короткую паузу, перевела дыхание. Опять заговорила:

— Мне очень хотелось обратно в армию. Из-за этого пошла на развод. Легко ли матери-одиночке? По крайней мере, легче, чем на гражданке. Армия обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание, на лекарства не надо тратить. А ведь они жутко дорогие там...

Она махнула в сторону Колумбуса и, видимо, всей прочей Америки. На секунду о чем-то задумалась. Потом продолжала:

— Днем — служба, а вечером я посещаю вечерний факультет Университета Алабамы¹, которому командование Форт-Беннинга выделило на своей территории отдельное помещение. Кроме того, армия платит за мою учебу. Зарабатываю я больше тысячи

¹ Соседний с Джорджийс штат.

долларов в месяц. А на гражданке я бы, в лучшем случае, получила около восьмисот долларов, устроившись, скажем, продавщицей. Так вот...

— А кто сейчас сидит с ребенком?

— Сестра. Она приехала погостить: у меня двухкомнатная квартирка здесь же, на базе. Но, когда она уедет, я отдам сына в детский садик...

Сорс тем временем опять принялся щелкать фотокамерой. Лицо его собеседницы периодически вспыхивало в ночной тьме.

— А потом, — моя новая знакомая погладила поверхность стола ладонью, — очень важно, что в армии людей заставляют заниматься спортом. У меня самой воли бы не хватило. А здесь это составная часть службы.

— Мужские и женские нормативы отличаются?

— Незначительно, — ответила она, — я, например, отжимаюсь на руках шестьдесят раз за две минуты. Ребята — на пятнадцать раз больше.

Честно говоря, я ей не очень-то поверил: шестьдесят раз все же не шутка! Дождавшись, когда в очередной раз сработает сорсовская фотовспышка, я глянул на руки девушки.

Сомнения мои были напрасны: под завернутыми рукавами пятнистой куртки горбатились мощные бицепсы.

— Да вы культуристка!

— Бросьте, просто в жизни надо быть сильной.

Провожая ее, я дал себе слово начать делать утреннюю зарядку. С понедельника.

— Ну, прощайте, — улыбнулась она, взбежав на крыльцо коттеджа.

— Прощайте.

— Между прочим, один вопрос вы мне все-таки забыли задать, хотя, кажется, спросили обо всем.

— Это какой же? — удивился я.

— Ладно, отвечу и так, меня зовут Энн. Энн Мари.

Ветер всю ночь не давал спать. Выл, собака, скулил, просился внутрь. Казарма наша, построенная еще в середине 30-х годов, в ответ что-то хрипло ворчала, по-стариковски скрипела. Словом, ночка выдалась что надо! Вдобавок вентилятор, от любопытства — советский в казарме! — крутивший головой то вправо, то влево, уставился на меня и надул шею.

«ОБРАЗ ВРАГА»

...Кажется, легче согнуть ствол автоматической винтовки М-16, чем поднять голову.

— Хорош дрыхнуть! Просыпайтесь! — орет негр сержант, воровавшись вместе с ветром вовнутрь. Крючковатым пальцем он оттягивает воротник от кадыка размером с кулак, ворочает африканскими, с кровавым подмесом белками, шумно дышит, стучит каблуками по доскам пола.

— Эх, — раздастся со второго этажа койки, — всхрапнуть бы еще часок...

Я усилием воли навожу глаза на резкость — это Вилли. Я признакомился с ним вчера, когда вернулся в казарму, проводив Энн.

— Вилли, ты как? — интересуюсь я.

— Как лайнер на взлете, — он делает плавное движение рукой вверх, — башка уже в небесах, а задницу от земли все никак не оторву: сила притяжения, так ее и раззтак! Но ведь сержанту не объяснишь! Он зол и не сентиментален. У вас они тоже такие?

— Абсолютно!

— Я так и предполагал. Нет, не коммунисты и не капиталисты правят миром. Сержанты!

Вилли, по-моему, самый юморной малый в роте. Эдакий циник-орешек. Но уже, видимо, и я взят на прицел его М-16, магазины которой заполнены не патронами, а бронебойными шутками.

Ребята заправляют койки. Трут кулаками глаза. Словно заново привыкают к миру.

Вилли остервенело трет зубы щеткой, словно пытается содрать окалину. Но сквозь плотные сжатые челюсти и волдырящуюся зубную пасту он умудряется напевать. Так, для понта:

Э-гей баба-риба,
Э-гей баба-риба!
Как хочется мне, чтобы все девчонки
Были пирожными на прилавке.
И если б был кондитером,
Я сл бы их в лобом порядке.
Э-гей баба-риба,
Э-гей баба-риба!
Как хочется мне, чтобы все девчонки
Были колоколами,
И если б был я звонарем,
Звонил бы в них часами.

Допевал он эту песенку, натягивая форму и влезая в ботсы:

Э-гей баба-риба,
Э-гей баба-риба!
Как хочется мне, чтобы все девчонки
Были кирпичами,
И если бы был строителем я,
Укладывал бы их своими руками!

Собственно говоря, то не просто «солдатская шуточно-подпольная», нет. Это строевая песня, под которую они здесь маршируют.

Вилли запикивает обратно в железный узкий шкаф бритву, зубную щетку, полотенце, присыпку для ног и захлопывает дверцы, с внутренней стороны которых — туда еще не пробрались вездесущие глаза сержанта — ему подмигивают вырезанные из журналов обнаженные красотки. Вилли мчится во двор.

Лайнер взлетел.

Трамбуй ботинками землю, солдаты строятся. Сержант уже ждет Вилли.

— В чем дело, рядовой? — Сержант зло изгибает бровь.

— Рядовой Джонсон явился, — не совсем уверенно говорит Вилли.

Сержант опять оттягивает воротник от кадыка, нервно поводит плечами — видно, Вилли не по форме доложил.

У меня в памяти всплывает моя родная учебка. Наш прапорщик в таких случаях кривил рот, скалил зубы. «Является черт во сне, а рядовой что делает?» — «Прибывает, товарищ прапорщик! Он прибывает!» — «Прибывает поезд, а рядовой что делает?» Это могло продолжаться до бесконечности.

Приблизительно то же самое происходит и здесь.

Вилли уже стоит в строю слева от меня. С него все как с гуся вода. Зло ощерив зубы, он, видно, крепко про себя ругается. Потом вдруг остывает, шепотом спрашивает:

— Ты, говорят, брал интервью у командира форта? Он умный?

— Он лысый! — Парень справа опережает меня с ответом.

Сдавленный смех.

...Четыре часа утра. Зябко. Хочется спать. Идем в столовую. В такую рань завтрак кажется насилием. И все же бекон с яичницей, апельсиновый сок, поджаренный хлеб и пончики за десять минут перекочевывают с тарелок в солдатские желудки. Горячий черный кофе, будоража сонные мозги, теплом разливается по телу. Теперь хоть внутри не так холодно.

Строем идем восемь километров. На ходу втираю в кожу лица предписанную армией маскировочную «косметику»: зеленую и серую краску. Темные тона — на выпуклые части лица. Светлые — на вдавленные.

Теперь мы все одной расы — пятнистой. Негра от белого не отличить. Как ни странно, но многие здесь верят, что с этим нововведением в армии поубавилось инцидентов на почве национальных предрассудков.

Чеканя шаг, сержант запеваёт, солдаты дружно подхватывают:

Еще вчера водил я «кадиллак».
Взамен него таскаю нынче я рюкзак!
Э-э!
У-а!
Ухаживал я за одной красавицей когда-то,
Теперь — вместо нее —
Хожу в обнимку с автоматом!
Э-э!
У-а!

Слева и справа медленно, в такт нам маршируют, уходят назад леса. Время от времени мимо проносятся военные грузовики, обдавая нас гарью. Вот показалась М-3 («брэдли»)¹. Из-под ее гусениц рвется во все стороны рыжая горькая пыль. Своими фарами она слепит нас, кромсает жидкую предрассветную тьму.

— Стало быть, ты советский? — спрашивает Вилли, хотя прекрасно это знает. — Для тебя надо срочно придумать особую строевую. Скажем, так:

Когда-то я гонял на ЗиЛé,
Теперь таскаю его на спине!
Э-э!
У-а!

Он еще раз повторяет этот куплетик, потом спрашивает:

— У вас ведь есть машина ЗиЛ?

— Не у меня.

Опять раздаётся зычный сержантский баритон с легкой приресью хрипотцы. Сержант явно забывает рык уже почти растворившегося в пепельной дымке «брэдли». Ребята подхватывают.

¹ Босвая машина пехоты.

Голоса их, словно ручьи, переплетаются, постепенно сливаясь в один мощный поток:

Эй, солдат! послушай, брат, меня.
Не горюй, нет нужды рыдать
И вспоминать былое —
Все равно ведь Джоди присвоил себе
Твой «кадиллак»
И все остальное...

— Кто такой этот Джоди? — спрашиваю Вилли, тшась превозмочь громохание сотен ботинок.

— Большая сука. У вас Джоди тоже есть. Только имя его звучит иначе. Солдаты так называют парня, который кадрит и в конце концов уводит твою девчонку, пока ты топчешь пыль на военных базах. Потом она присылает тебе письмо «Дорогой Джон!». Джоди... Они водятся во всей странах...

— «Дорогой Джон», ты сказал?

— Именно. Американский солдат окрестил так то самое «послание» от любимой, в котором она дает ему отставку и сообщает, что встретила «настоящего человека», выходит за него замуж... Ну и все такое в том же духе. Если честно, я сам был Джоди до армии. Но в данное время мы с этим типом — по разные стороны баррикады.

Жердястый парень в одном ряду со мной, но чуть левее, кивает Вилли. В знак согласия. Медвежковатый увалень наискосок справа, каждый шаг которого сотрясает матушку Землю, мрачно сводит к переносью глаза и резким щелчком безымянного пальца сбивает с кончика носа повисшую каплю пота. Он делает это с такой ненавистью в глазах, словно она и есть Джоди.

Рюкзак мой трепыхается промеж лопаток. Весит он со всем своим содержимым, включая спальник, около пятидесяти фунтов. На груди позвякивают «собачьи жетоны».

— Слушай, — спрашиваю я Вилли, — и сколько ты собираешься шагать?

— Еще минут тридцать.

— Я не про сегодня. Я про жизнь. Пять лет? Десять?

— Не решил. Зависит от того, какое настроение будет под конец контракта. Я завербовался на три года. Может, продлю. Может, в колледж пойду. Понимаешь, после двадцати лет службы в армии ты получаешь пенсию в размере 50 процентов твоего последнего оклада. После тридцати лет — в размере 75 процентов. Поглядим...

Вдруг, словно долго и мучительно выходявший осколок времен «холодной войны», прорезалась мысль: случись настоящая, всамделишная война и сведи нас судьба во второй раз точно так, как, не спросясь, свела сейчас, и мы будем, выражаясь его же словами, «по разные стороны баррикады», неужели он, этот славный малый Вилли, с которым мы так быстро закорешились, попрет на меня, а я на него в штыковую? Неужели мы будем калечить друг друга, кромсать, колоть и убивать?

Я гляжу на него, он — на меня. И, кажется, думаем мы об одном и ужасаемся одной и той же мысли. Ледяная стена вырастает между нами. Мы оба молчим набычь. Тяжелая, настоящая на зле, дурманящая голову кровь пульсирует в висках.

Страшно, нелепо и безумно!

Или это солнце виновато? С его кровавым восходом все предстало вдруг в ином свете. Южная, всепроникающая радиация? Ее воздействие на воспаленный от жары, небывалых впечатлений и недосыпа мозг?

Ведь совсем недавно все виделось иначе. А сейчас кругом одни враги. А ты в их логове. Один-одинешенек. Холодно становится от мысли этой.

Надев ботинки американского солдата, кем ты стал? Врагом самому себе? Даже материя их пятнистой зеленой формы действует теперь как сильный аллерген: волосы на руках дыбом встали, коже от соприкосновения с ней больно, ее точно «ломит».

А память, соревнуясь с воображением, продолжает услужливо подбрасывать во все еще охваченный пожаром мозг новые поляны. Вспомнился плакат в столовой.

Но еще столетия назад сказано: враг не вне, а внутри каждого из нас. Потому войю с собой.

Враг — осколок, цепко сидящий во мне? Он прорезался. Но не вышел. Застрял в кости черепа.

Как все-таки легко живется, когда есть «внешний враг». Все свои грехи, проблемы, провалы, недочеты, диктатуру, репрессии, дефицит сахара, ложь, дефицит добра, маккартизм, застой, черствый хлеб в булочной, Сталина, инфляцию, скисшее молоко в магазине, падение жизненного уровня, «уотергейт», «крашидовгейт», обозленность людей в автобусе, зажим «гласности», дело Чурбанова, баснословные прибыли военно-промышленного комплекса, «ирангейт», дело полковника Норга, засекречивание, прослушивание телефонных разговоров, Сумгаит, расовые волнения, невыполнение плана, ввод войск в Афганистан, порушенные ка-

рьеры наиболее талантливых людей, рождественские бомбардировки Ханоя, провалы ЦРУ, антисемитизм, импотенцию, «двойку» по арифметике, убийство Кирова и Кеннеди, покрывшуюся мохом колбасу на прилавке, очереди, неудачи в космосе, скандал на кухне, анонимки, проблемы ветеранов, блат, пьянство, национальные проблемы в Прибалтике, тараканов в квартире, цинковые гробы, доставленные «черным тюльпаном», шовинизм, преждевременную смерть, общественный пессимизм, проституцию, аварию на атомной электростанции, Пиночета, массовое убийство детей, женщин и стариков в деревни Сонгми, взяточников на партконференции, торговлю мировой войну, запор, карточки на продукты, поражение на президентских выборах, фригидность любимой, проколотую шину, эпидемии, рок-концерт, ливень, убийство в подворотне, вонь из мусоропровода, кладбище нереализованных идей, аборт, травлю Пастернака, ведьм, уничтожение Якира и Тухачевского, наркоманию, бездарный роман, полет Руста, извержение вулкана, успех коллеги, грязные рубашки после химчистки, «дело врачей», неурожай, привод в милицию, избрание К. Черненко Генеральным секретарем, распятие Христа, «правый уклон», падение курса доллара, предательство — словом, как легко объяснить всю эту какофоническую порнографию нашего мира наличием «внутреннего» или «внешнего врага», происками зарубежных разведок, масонов, международной напряженностью и заговорами реакции.

Во время суда над уотрегейтскими взломщиками их спросили:

— Кто вы по профессии?

Ответ последовал незамедлительно:

— Мы антикоммунисты!

Во время суда над одним высокопоставленным московским жуликом ему, как мне рассказывали, был задан аналогичный вопрос. Он поднялся со скамьи и, подтянув штаны, истовым голосом праведника-правдолюбца-патриота-интернационалиста выкрикнул:

— Я борец за освобождение мирового рабочего класса от ига эксплуататоров. Я человек. Я совершал ошибки. Но помыслы мои были чисты!

Два разных эпизода, но суть одна: виноват «внешний враг!» В его роли может выступать что угодно и кто угодно: иной образ мышления, чужой стиль жизни, другая социально-экономическая система, целый народ — русские, американцы, евреи, арабы, негры и, конечно же, коллекционеры минералов.

— Но почему коллекционеры минералов? — застучит кулаками по столу какой-нибудь специалист по обнаружению «врагов». — Почему они?!

— А почему американцы? А почему русские?

Мир меняется. К концу XX столетия проблемы и кризисы все чаще возникают не из-за провокаций «внешних врагов», а из-за того, что элементарная ссылка на их наличие позволяет иным правителям и окружающей их бюрократии засекречивать свою деятельность, выводить ее из-под контроля прессы, парламента и народа. Прием старый, как Земля. Бесконтрольность ведет к вседозволенности. Вседозволенность — к «уотергейту», «ирангейту». Или застою. А «уотергейтчики» и «застойщики» спешат объяснить все грехи свои «происками врага». «Внешний враг» — их лучший друг. Народ, журналисты, гласность — их злейшие враги. Демократия противопоказана коррумпированным королевичам. Но не королевствам. Если Никсон был вынужден уйти в отставку, а Чурбанов — сесть на скамью подсудимых, это значит, что демократия в этих случаях сработала.

Нет, не Вилли — причина наших бед, не он противник Советского Союза. Как, впрочем, и не «Иван» — угроза благополучию американцев.

...Устав от контрапункта мыслей и резкого перепада чувств, я сдвигаю каску на затылок и украдкой гляжу на Вилли. Не удержавшись, улыбаюсь. И улыбка моя, точно в зеркале, мигот отражается на его потном лице. Пять минут назад оно казалось зеленым от ненависти, но теперь-то ясно — от армейской косметики-комуфляжа.

ДОЛЖЕН ЛИ СОЛДАТ РАЗМЫШЛЯТЬ?

На плацу установлены штук двадцать минометов. Разинув пасти, они тупо пялятся в небо. Солдаты группами выстраиваются напротив. Сержанты разбирают минометы. Каждой «тройке» предстоит сдать «зачет» — собрать и навести оружие, уложившись в 90 секунд.

Глядя на секундомеры, сержанты начинают яростно выкрикивать команды, а солдаты, хором повторяя их, собирать минометы. Все это напоминает муравьиную суматоху. На плацу поднимается горячая пыль, сквозь которую едва пробивается солнце.

Спрашиваю сержанта стоящего поблизости:

— Сколько лет вы в армии?

— 13 лет, сэр! — орет в ответ он.

У него сильный акцент.

— Вы из Мексики?

— Так точно, сэр!

— Почему вы так официальные? Я же не ваш начальник.

(Тут же искрой вспыхивает мысль: иной солдат начальства боится пуще смерти.)

— Я всегда так разговариваю, сэр! — выкрикивает он.

— Даже с женой?

— Нет, сэр! Не с женой!

— Когда вы попали в Америку?

— В 1971 году, сэр! Мой отец эмигрировал. Сам я был натурализован¹ три года назад.

— Почему вы пошли в армию США? Вы же мексиканец.

— Я хотел послужить стране, которая оказала мне и моей семье гостеприимство... сэр!

— Вы часто вспоминаете Мексику?

— Да, то есть нет, сэр! То есть иногда, сэр!

Замечаю рядом улыбчивого офицера. Его лицо уже примелькалось. Куда бы я ни приехал, в какое подразделение ни направился, он уже там. Отзываю Билла Уолтона в сторону:

— Билл, я знаю, что в каждой армии свои правила, что даже американских журналистов вы не оставляете наедине с солдатами, но как бы вам объяснить... Словом, этот сержант чувствует себя малость неловко, когда вон тот малый, — указываю на улыбчивого офицера, — фиксирует все мои вопросы и его ответы.

— Он здесь совершенно с другой целью. Он здесь... Так сказать... Ну, а во-вторых, — Билл оглядывается по сторонам, словно в поисках ответа, — ему поручено, следить чтобы солдаты не позволяли себе в разговорах с тобой никаких антисоветских завлений.

— Билл, да если это произойдет, я не буду просить Москву нанести ядерный удар по Форт-Беннингу. А разговаривать с солдатами его присутствие мешает.

— Нет, нет, есть строгие правила, а правилам надо подчиняться.

¹ Т. е. получил гражданство США.

Разговор этот, понятно, ничего не изменил. Разве что улыбчивый офицер стал еще более улыбчив.

Поскольку сегодня на нас каски старого образца, изобретенные когда-то беннинговским поваром, то сержанты разрешают их снять и остаться лишь в пластиковых подшлемниках. Современные каски монолитны, и в жару они больше напоминают скороварки.

Постоянно раздается приказ пить воду из фляг. Это профилактика против перегрева и солнечного удара. Воду в солдат буквально вливают. Если в период Вьетнама ее мешали с соевыми растворами, то теперь от этого армия США отказалась. Считается, что соли оказывают вредное воздействие на организм, особенно на сердце, желудок и почки. Это противоречит точке зрения наших военных медиков. В Афганистане я глотал таблетки, которые, как предполагалось, компенсировали потерю важных солей, вымываемых из организма в условиях жаркого климата и сильных физических перегрузок.

У сержанта Коуэлла редкая нашивка — «Си-ай-би», свидетельствующая о том, что ее владелец принимал участие в боевых действиях. Иногда ее дают людям, находившимся в зоне боев не менее шестидесяти дней.

Сержант Коуэлл участвовал во вторжении США на Гренаду. Он называет это именно так — вторжение:

— Я служил в Форт-Брагге в 82-й дивизии¹. У нас были учения. Вдруг объявили тревогу. Не придавал ей значения. Тревоги — дело обычное. Поднялись на самолетах в воздух. Для тренировочного десантирования мы обычно летали во Флориду, там нас и сбрасывали. Я еще обрадовался... Водички хотите?

Коуэлл показывает мне зубы. Оказывается, это улыбка: она горбатит нос, оттягивает его кончик вниз. Сержанту, должно быть, очень больно улыбаться: багровое от солнца лицо шелушится, кожа натянута, словно резина надутого до предела воздушного шарика. Он поворачивается на секунду ко мне боком, что-то кричит солдатам. На рукаве под шевронами желтеет горизонтальная планка — запутаешься от обилия знаков различия. Штудировал их перед поездкой. И все равно чуть ли не каждый час открываю для себя новые.

— О том, что будем прыгать на Гренаду, — продолжает он, — узнал за десять минут до начала десантирования. Пока торчали

¹ 82-я воздушно-десантная дивизия.

на острове, получали «боевой оклад» — на сто долларов больше обычной ежемесячной зарплаты.

— Как вы относитесь к тому, что вам пришлось принимать участие в боях на чужой территории? — Мне важно услышать его ответ, потому что через четырнадцать лет после вьетнамской войны большинство американцев, с которыми доводилось беседовать, воспринимают как нечто естественное участие своей страны в военных конфликтах за рубежом. Кажется, они вынесли из Вьетнама лишь один урок: война должна быть победоносной и молниеносной.

— Это наш долг, — сержант мнет пальцами переносицу, — защищать США и другие страны.

— Вы уверены, что Гренада хотела вашей защиты?

— Нас так информировали, сэр!

Опять «сэ-эр»! Чуть что — сразу «сэ-эр»! Или это подвид словесного камуфляжа, разновидность маскировки?

Солдаты на плацу орут так, что хоть затычки запихивай в уши. Этим криком они доводят себя до состояния экзальтации. Но сержантские голосовые связки все равно мощней. Они запросто перекрывают хриплое солдатское многоголосие.

Сержант Тэнли бросается в глаза своей медвежьковатой фигурой, энергичным лицом и узкими индейскими глазами, в которых кошачьи зрачки движутся, как пулеметы в щелях для стрельбы.

— Чего я в армию пошел? — переспрашивает он. — Воспитан так. Отец тоже был военным. Сражался во Вьетнаме. Убит в 69-м. Дед служил на флоте.

— Вы в Штатах безвыездно?

— Нет, я был в Европе. В Западной Германии. Честно говоря, мне там очень нравится.

— Больше, чем в Форт-Беннинге?

— Больше. Люди там общительнее. Тренировались мы вместе с немцами: у каждой американской части есть «сестра-немка». Наше командование там очень печется о поддержании «дружеских отношений с местным населением».

— Западные немцы — хорошие солдаты?

— Высший класс! — Ответ следует моментально.

— Что особенно запомнилось из службы, из жизни там?

— Немецкие женщины. Да... Конечно, они. Я женился на одной из них. И вам советую.

— Немки отличаются от американок?

— Среди американок не осталось хороших домохозяек. Их всех тянет на работу. Они слишком приучены к *соушэл лайф*¹. А моя немочка сидит дома. Я прихожу: квартира чистая, ужин готов, пиво в холодильнике. Словом, я свободен, как джинсы без «молнии». Это и есть «немецкое чудо». Холостяки любят служить за рубежом. Охота бесплатно помотаться по свету, пока молод и докуки не одолели. Семейные... этот народ предпочитает Америку. Муторно сниматься с обжитого места, седлать новое. Дело понятное. Но я легок на подъем.

Рядовой Карел Кристофер сегодня победитель: он собрал миномет за 62 секунды. Всем своим видом напоминает триумфальную арку — не подступишься. Ему 21 год. Из поляков, прадед перебрался в Штаты, здесь женился, осел. С тех пор и пошла в его роду польская кровь смешиваться с американской.

— Я завербовался в амию, потому что мне нужна была самодисциплина, — сообщает он, барабанив пальцами по трем магазинам для М-16 на груди. — Пригодится эта вещица в жизни. Да и денжат поднакоплю. Получаю 620 в месяц, это стабильняк. Трачусь лишь на гуталин да на зубную пасту. Отмарширую свое, отстреляю, а под конец куплю себе что-нибудь «горяченькое» — «корвет». Или «торнадо»: цилиндры у него — р-р-р-р-р... Заслушаешься. — Чуть прикрыв белобрысые редкие ресницы, он крутит намозоленными руками воображаемую баранку. Жмет правой ногой на «газ».

— Карел, — я возвращаю его из автомобильных грез в Форт-Беннинг, — убежден, что мечта твоя сбудется. Я уже сейчас слышу, как визжат девчонки, когда ты садишься за руль. Но ответь мне на такой вопрос. Вот представь, что мы попали в 68-й год. Форт-Беннинг. Тебе светит прямая дорога во Вьетнам. Твой ближайший друг отказался от службы по политическим мотивам. Нарастает антивоенное движение. Возвращающихся из Вьетнама солдат демонстранты называют не иначе как «детоубийцами». Общество не хочет войны, потому что считает: Америка там расстреливает и бомбит те самые идеалы, которые провозглашает и ради защиты которых вроде бы и ринулась во Вьетнам. Что делаешь в этой обстановке ты — едешь во Вьетнам?

— Солдат не должен выбирать. Когда солдат размышляет, выполнять или не выполнять приказ, начинаются проблемы, начинается разруха в армии. Ответ мой таков: я был бы во Вьетна-

¹ Social Life — общественная жизнь (англ.).

ме. — Он говорит убежденно. Чувствуется, не раз обмозговывал этот вопрос. Слова брызгами летят сквозь сжатые зубы, Карел точно сплевывает их.

Солнце стоит в зените, не двигается. Словно его к небу приколотили. Жарит солдатские мозги. Тушит их в раскаленных касках-скороварках. Солдаты потом поливают сухую землю. Их вылупленные глаза полыхают немым бешенством. Асфальт прогрет до белого каления, как позабытая на огне сковорода. Ступени жжет адски — даже сквозь подошвы.

Над горизонтом появляется эскадрилья облаков-безе. Она замирает в нерешительности. Потом долго кружит на одном месте, обходит минометчиков стороной и безмолвно, боясь выдать себя, на цыпочках семенит вдоль опушки леса. Там намек на прохладу. Пробиваясь сквозь кроны, солнце обессилевает. Деревья бросают на землю дряблую тень вроде маскировочной сетки.

Просторная поляна. Человек тридцать лежат на спинах, разбросав в стороны руки. Это «раненые». Другие сидят на корточках или стоят на коленях: оказывают первую медицинскую помощь «в боевых условиях». Сержант-инструктор Моусли демонстрирует свое врачебное искусство, приобретенное на полях сражений еще в годы вьетнамской войны.

— Каждый из вас, — кричит он, и ветер срывает искрящиеся капли пота с его пухлогубого негритянского рта, — обязан уметь помочь попавшему в беду другу. Если у кого-то эта простая истина не вызывает энтузиазма и он не желает овладеть элементарными навыками первой помощи, я без промедления дам такому человеку рекомендацию и он устроится работать в «Макдональдс»¹. Армии он не нужен. Я, кажется, сказал «НЕ НУЖЕН!» Я прав, солдаты?

— Так точно! Не нужен! У-а! У-а-а-а! — отвечают львиным ревом «раненые».

— Хорошо! Но у меня, видно, что-то случилось со слухом. Я видел, вы открывали рты, но ничего не слышал! Ничего!

— Не ну-у-уже-е-ен! У-у-а-а-а-а!! — дерут глотки солдаты.

Над головой дрожат листья. Словно парусники в шестибальсный шторм, раскачиваются облака.

Если бы злость в солдатских глазах можно было измерять, как температуру, ртуть взрывалась бы в градусниках. Сержант дово-

¹ «Макдональдс» — система закусовых, разбросанных по всей Америке.

дит учебный взвод до состояния кипения и лишь тогда начинает свой рассказ о приемах, методах и принципах первой медицинской помощи, перемежая его компактными, но драматическими историями из своей вьетнамской эпопеи.

— «Чарли»¹ были лучше нас готовы к войне. Для них жара и джунгли как для нас, — он щелкает смуглыми тонкими пальцами, словно подзывая нужное сравнение, — комфортабельный «форд» с кондиционерами. Перегрев и солнечные удары — вот что в первую очередь «чарли» обратили против нас. Если с кем-то это случилось, тащите срочно парня в тень и старайтесь сбить температуру, вливайте ему в рот воду — флягу за флягой. Противник берет себе в союзники жару, вы — воду. Он — солнечные удары, вы тень и прохладу. Но никогда не пейте из непроверенных водоемов. Глоток оттуда может оказаться последним глотком в вашей жизни. Вместо живительной влаги вы получите что?

— Смерть!

— Что?

— Сме-е-е-е-ерть!!!

— Смерть кому?

— Смерть врагу-у-у-у!!!

— Хорошо. — Сержант позволяет себе слабую улыбку. — А теперь всем выпить по пять глотков из фляги! По пять о-очень больших глотков!

Солдаты выполняют приказ.

Моусли перечисляет пять способов транспортировки тех, кто ранен, — быстрых и безопасных, позволяющих избежать дальнейших повреждений и осложнений. Говорит о двух основных типах перелома кости. О том, как накладывать фиксаторы и чем их закреплять.

— Ожоги. Во время боевых действий они преследуют солдата, как пули. Ожог может привести к заражению крови, попаданию инфекции внутрь организма, к шоку. — Сержант умело, словно фокусник-иллюзионист, орудует куском зеленой материи, которую здешний солдат использует вместо бинтов и резиновых жгутов, останавливающих кровотечение.

Инструктаж длится всю вторую половину дня. Приблизительно через неделю — экзамен по владению навыками первой экст-

¹ Так американские солдаты называли южновьетнамских партизан (от кодового обозначения «Вьетконга» — вьетнамский коммунист — по первым буквам «Виктор Чарли»).

ренной медицинской помощи в боевых условиях. Он проводит раз в год во всех без исключения учебных и регулярных частях и подразделениях армии США. Солдат или офицер, не сдавший его, отправляется на переэкзаменовку. В случае повторной неудачи военнослужащий увольняется из рядов вооруженных сил.

ПРОБЕЖКА ВЕТЕРАНОВ

Утром следующего дня настроение было под стать погоде. Часов с трех ночи зарядил мелкий назойливый дождик. Быстрыми пальчиками он барабанил по крыше казармы; выйдешь на улицу, он непременно залезет за шиворот; стоило с надеждой глянуть на небо, он принимался иголочками колоть лицо.

На душе было слякотно, я бы даже сказал — погано. И, как это часто бывает при подобном расположении духа, все факты и события, точно прохуdivшиеся воздушные шарики на следующий день после праздника, с катастрофической быстротой теряли смысл, казались пародией на самих себя. База Форт-Беннинг, как и вообще все армии без войны, в мирных условиях, вдруг представилась забавой для седовласых генералов, игрой взрослых в солдатик. Не оловянные, а живые. Заветная мечта детства сбылась: игрушечные танки начали лязгать гусеницами, вертолетики — летать, пушки — стрелять.

Я поднялся еще перед побудкой, часа в четыре, и направился в здание, где расположился кабинет подполковника Фриззо. Он пригласил меня днем раньше на утреннюю пробежку — восемь миль. Я опаздывал и загодя начал готовить десяток-другой оправданий: дождь, знаете ли, вчера измучился с минометами — голову от подушки утром отодрать не мог и т. д. Опаздывал и думал: этот безумный бег посреди ночи, в дождь, когда все нормальные люди спят и сны приятные видят... Кой черт!

Но не тут-то было.

— Помчались? — Подполковник Фриззо улыбнулся и глянул на хронометр. — Ну, вперед.

Когда мы выбежали на основную магистраль, машин там не было, но вдоль разграничительных линий и обочин трусила десятки людей в спортивной одежде и кроссовках. Обилие седых голов, прыгавших впереди, точно пинг-понговые шарики, говорило о том, что и старшие офицеры не дают себе поблажек даже

в дождь. Своими сухопарыми спортивными фигурами они резали густой туман. Со всех сторон доносилось ритмичное дыхание, напоминавшее работу поршней и клапанов в умело отлаженном, без надрыва работающем двигателе.

Уже к концу второй мили разогревшаяся кровь лучше всякого сержанта разбудила дремавший мозг и, хотя «снаружи» все еще лил дождь, «внутри» меня стрелка барометра указала бы на отметку «ясная солнечная погода, без осадков».

Контрастный душ подействовал сильнее допинга. Волосы на голове шевелились от возбуждения. Хотелось покорять иные миры и галактики. Или гаркнуть что-нибудь на весь Беннинг по-русски. Но непременно такое, что они поняли бы моментально. И без перевода.

— Эта карточка сделана на Гавайях. — Фриззо кивнул на фотографию в своем кабинете, когда мы зашли к нему после «марафона». — Там находится штаб и командование наших войск тихоокеанской зоны. Я там служил в штабе, когда туда прибыл новый главнокомандующий — трехзвездный генерал Бегнел.

— Послушайте, подполковник, а сколько у вас всего генералов с тремя звездами на погонах?

— С тремя, — ответил он по памяти, — 128, с четырьмя, кажется, — 36, с двумя — 363 и с одной звездой — 530. Но это данные на март 1987 года. Сегодня генералов в нашей армии еще меньше. Мы что, — улыбнулся он, — без них своего дела не знаем? Шутка. Прошу почтенных судей учесть, что это была шутка.

— Знаете, солдаты в разговорах со мной за редким исключением очень откровенны. Многое им в армии нравится, но многое нет. Иной раз так раскритикуют начальство — обычно сержантов — за чрезмерную строгость, что просто-напросто чувствуешь себя провокатором. Но я ни разу не слышал от них истории или какого-нибудь фактика, который можно было трактовать как нарушение уставных отношений в армии. Этого явления у вас, получается, нет?

Подполковник размял пальцами шею, помассировал затылок.

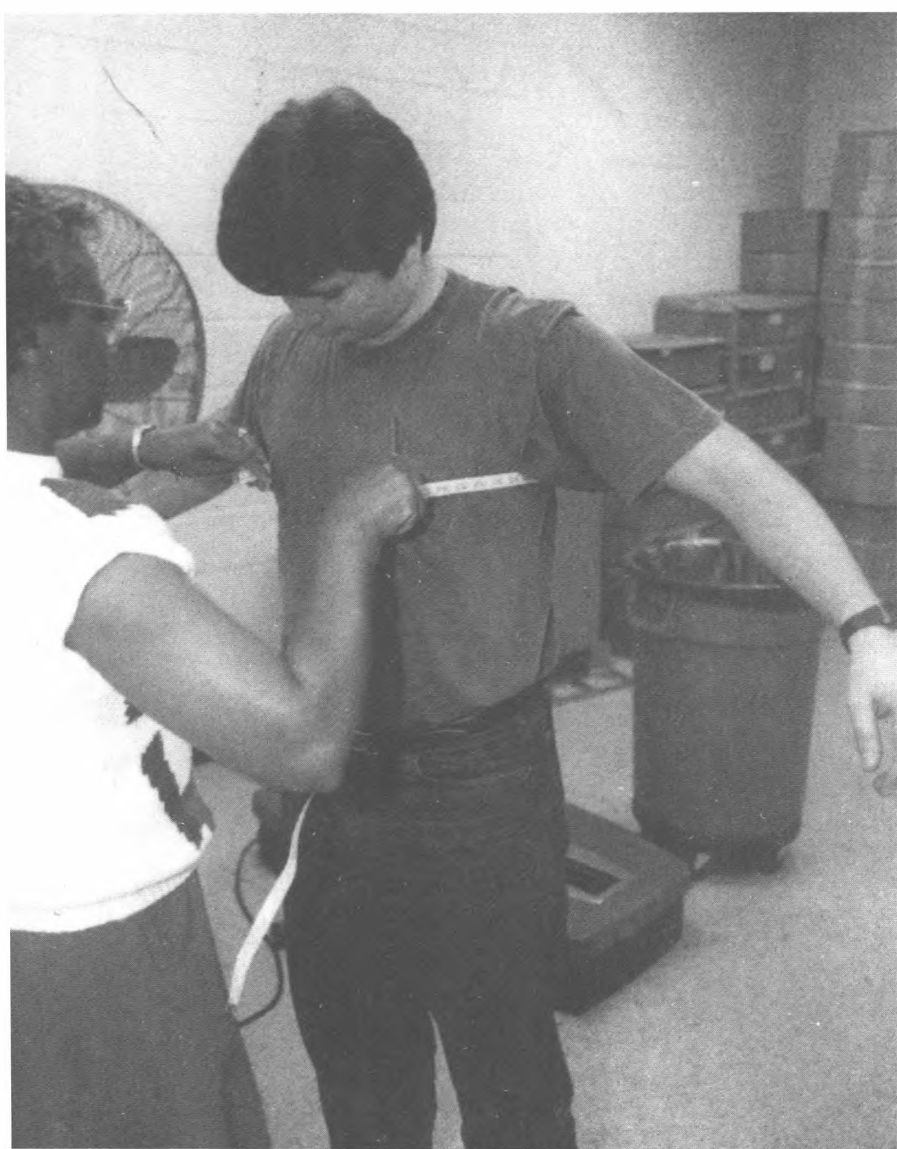
— Когда-то было. Но сейчас мы от него избавились, и я считаю это одной из наших самых больших побед. Самых больших, — повторил он, сделав ударение.

— Что же сыграло решающую роль? Что помогло вам?

— Был принят целый комплекс мер, законов, правил, созданы учреждения в рамках армии, следящие за их соблюдением. В лю-



Первое знакомство с американской боевой техникой.
Форт-Беннинг, 1988 год



Военная форма должна сидеть ладно



Разговор с американскими солдатами





Похоже, американские боевые машины не хуже, но и не лучше наших

Переправа через реку



На привале



Никарагуа, 1985 год. Северный фронт



Встреча с писателями. Слева – главный редактор журнала "Огонек"
Виталий Коротич. 1988 год

бой части есть отдел генеральной инспекции. Он возглавляется офицером, назначаемым из Вашингтона генеральным инспектором. Иногда в отделах сотрудничают гражданские люди. Если рядовой оказался свидетелем противоправного поведения кого бы то ни было из военнослужащих (от солдата до генерала) или нарушения старослужащими, сержантами или офицерами прав того или иного поступившего на службу, он обязан сообщить в отдел. Такая система информирования не только дозволяется, но всячески приветствуется. Речь идет не о стимулировании системы доносов, а о поддержании порядка в частях, о соблюдении устава. Если в отдел поступило сообщение о каком-то инциденте, инспектор займется самостоятельным расследованием и доложит свое мнение командиру части или кому сочтет нужным, выскажет рекомендации. Параллельно солдат имеет право сообщить о нарушении уставных правил командиру своего подразделения, скажем роты. Если он не удовлетворен принятыми мерами, рядовой может доложить о случившемся выше — командиру батальона. Таким образом, он имеет право встретиться и с командиром дивизии, записавшись предварительно на прием. Командир обязан принять солдата.

— А если солдат дойдет до генерала с той лишь целью, чтобы сообщить о пропаже мочалки и своих на сей счет подозрениях?

— Такая возможность существует, но мы стремимся решать «мочалочные вопросы» на уровне чуть пониже. — Подполковник бросил в рот горсть оранжевых витаминов и предложил мне: — Хотите?

Я запил таблетки глотком ледяной газировки, взрывающейся в горле миллионами пузырьков.

— Спасибо. Это единственные преграды для неуставных отношений?

— Нет. Честно говоря, я полагаю, — Фриzzo включил кондиционер и закрыл форточку, — что главной преградой является воспитание в семье и армии, уважение к правам другого человека, к человеческому достоинству. Но если говорить чуть более конкретно, то могу вам перечислить и другие принятые в армии меры. Как насчет кофе?

Он дал мне пластиковый стакан горячего кофе и высыпал туда пакетик сухого молока.

— Обожаю, — Фриzzo зажмурил глаза, — запивать его ледяной водой. Это как контрастный душ, только внутри... у нас ка-

тегорически запрещено употреблять нецензурные слова, проклинать кого или что-либо. За нарушение этого правила на сержантов, офицеров или солдат накладывают серьезные денежные штрафы...

Фриззо на пару минут вышел.

Я вспомнил несколько нашумевших в американской армии случаев, связанных с употреблением нецензурных выражений. Сержант, в порыве гнева крикнувший рядовому, что из него солдат, «как из дерьма — снаряд», был оштрафован на 200 долларов. В 1036-м взводе морских пехотинцев сержант нажил себе целую кучу неприятностей и нагоняев от начальства за то, что назвал одного паренька «скользким типом», другого — «клоуном», третьего — «маменькиным сыночком» и «разгильдяем». Сержант, пригрозивший рядовому автоматической винтовкой, был оштрафован на 500 долларов. Инструктору, выведенному из себя медлительностью морского пехотинца, было отказано в продвижении по службе за то, что он однажды, сорвавшись, выпалил: «Да вытащи ты свою башку из задницы!» Более того, он был снят с должности инструктора. Здорово нагорело сержантам, позволившим себе «дотронуться пальцем до лица» поступившего на службу, «толкнуть локтем» рядового, «прищемить палец» морского пехотинца крышкой люка. Рассматривалось дело сержанта-инструктора, который «нанес моральный ущерб» морскому пехотинцу, подозревавшемуся в употреблении наркотиков, тем, что спросил подчиненного: «Ну что, все наркоманишь втихаря?!» По ходу расследования выяснилось, что пехотинец действительно употреблял наркотики, однако это не спасло сержанта-инструктора от наказания.

Когда подполковник вернулся, я напомнил ему об этих эпизодах.

— Важно подробно информировать только что поступивших на службу ребят, — Фриззо скомкал пластмассовый стаканчик из-под кофе и, прицелившись, кинул его через всю комнату в мусорное ведро, — о том, какие приказы они выполнять обязаны, а какие — нет. Мы этим занимается, и есть мнение, что подобная профилактика помогает. Очень строго мы наказываем за любые проявления расизма и национальной нетерпимости. В годы Вьетнама предрассудки на этой почве сильно ослабляли нашу боеспособность. Статистика свидетельствует, что число таких инцидентов в армии упало за последнее время до минимальной отметки. Погодите минуту — телефон...

Он взял трубку и, оттолкнувшись ногами от стола, отъехал на кресле к окну.

...Нет, его последняя фраза не голые слова. В сегодняшней армии США 27 процентов военнослужащих — представители национальных меньшинств. Шесть с половиной процентов американского офицерского корпуса составляют представители чернокожего населения страны. Около 30 процентов сержантского состава вооруженных сил — черные.

Тридцать девять представителей нацменьшинств Америки имеют звания генералов и адмиралов. Статистика эта не секретная. И она постоянно используется Пентагоном в пропагандистских целях. Есть у нее, правда, и обратная сторона: в случае войны национальные меньшинства, и особенно черное население Америки, в пропорциональном отношении к общей численности населения понесут значительно большие потери, нежели белые.

Фриззо бросил трубку на рычаг, она точняком вошла в паз.

— Жена! — улыбнулся он. — Спрашивает, что я желаю сегодня на ужин.

— Что же?

— Я ей сказал: если ты мне дашь кусочек, ну хоть самый маленький, счастья, я буду доволен.

— А она?

— Пообещала... — Он вновь посерьезнел. — Мы воспитываем армию как монолитный организм. Вы видели: полковники едят за одним столом с солдатами. Форма тех и других одинакового качества. Армия — это большая спортивная команда. Мы много труда вложили в нее. Сейчас собираем первые плоды. Наш сегодняшний солдат «стоит» трех солдат конца 60-х годов.

Фриззо на мгновение отвлекся — вошел помощник.

Сравнивая сегодняшних и вчерашних солдат американской армии, Фриззо не сообщил ничего нового. Это общепринятая оценка. Один из представителей беннинговского командования сказал мне, что, по мнению Пентагона, в случае возникновения военного конфликта с СССР численное превосходство советской армии будет таково, что в среднем на одного американского солдата будет приходиться три советских. Это соотношение, заметил он, определяет интенсивность и качество боевой, а также физической подготовки солдат армии Соединенных Штатов.

Помощник вышел, закрыв за собою дверь, и Фриззо спросил:

— Так о чем мы?

— О том, что армия — это большая спортивная команда.

— Да, верно. Сейчас мы получаем не только физически более крепких, выносливых ребят, но и во много раз более сообразительных. А это важно — уровень техники растет. Мы не ослабляем контроля, смотрим за каждым. Ежемесячно подвергаем выборочной наркологической проверке двадцать процентов личного состава каждого подразделения. Скажем, на этот раз я объявляю, что тесту будут подвергнуты все солдаты, чьи фамилии начинаются с буквы «П». Таким образом, удастся держать личный состав в постоянном напряжении, не давая людям расслабляться. А весь шлак, который к нам неизбежно проскакивает, позже отсеиваем, избавляемся от него. Теперь мы можем позволить себе такую роскошь.

— Американского солдата и офицера, — заметил я, — отличает сегодня отменная физподготовка. Ни в Пентагоне, ни в Форт-Беннинге я не встретил ни одного военного — я имею в виду и высшее командование — с лишним весом. Даже ваш министр — атлет. Я знаю о нашумевших случаях увольнения крупных военачальников лишь за их несоответствие установленным весовым и спортивным нормативам. На вопрос о том, не является ли это слишком уж дорогим удовольствием и растранижением кадров, в Пентагоне мне неизменно отвечали: лучше пожертвовать двумя-тремя полковниками, генералами или адмиралами, но сохранить всю армию в хорошем спортивном состоянии. А сегодня сам видел: весь Форт-Беннинг по утрам бегаёт от трех до восьми миль. Что случилось? Ведь такого, говорят, не было даже пятнадцать лет назад, я прав?

Он улыбнулся.

— У американцев это стало модным, даже престижным — быть в идеальной спортивной форме. А поскольку армия — составная часть Америки, то «спортomanия» затронула и ее. Мы подсчитали: чем лучше физподготовка солдат, тем меньше денег мы тратим на их лечение. Поступающая к нам молодежь сегодня быстрее бегаёт, выше прыгает, чем призывники двадцать лет назад. По этой причине мы смогли значительно «поднять планку» спортивных нормативов. Кроме того, просто-напросто последовал жесткий приказ сверху: теперь дважды в год каждый из нас — включая высокопоставленных работников Пентагона — проходит спортивный и весовой тесты. Раньше тоже существовало такое правило, но, честно говоря, его никто не выполнял. Плевали мы. Ныне в армии США существует единая карта весовых и

спортивных нормативов с одновременным учетом роста и возраста. Она жестко определяет стандарт веса и число тех или иных упражнений (приседание, качание пресса, отжим на руках), которые необходимо сделать в единицу времени. Да, и, конечно, бег на время. Он важнейшая составная часть спортивного теста. Офицеры поняли: карьера поставлена в жесткую зависимость от их физической подготовки. В тот самый момент, когда они это осознали, спортивный лик армии начал меняться со скоростью сверхзвукового истребителя.

Фриzzo достал из ящика стола кипу спортивных журналов и брошюр. Кинул мне на колени. Бросились в глаза названия: «Механика бега», «Бег всей семьей», «Бегом от инфаркта», «Искусство бега», «Бегом к счастью», «Ответы на все вопросы, которые возникают у нас во время бега», «Бег зимой», «Бег в дождливую погоду»...

— Помимо всего прочего, — Фриzzo запихнул всю эту литературу обратно, — спорт нужен для того, чтобы у солдата не осталось сил даже подумать о наркотиках. У нас есть такая статистика: три года назад из ста полковников лишь трое могли пробежать пять миль. Сегодня — все сто без исключения. Это касается и полковников-резервистов.

Со спортом мы покончили, и подполковник пошел проводить меня до казармы: минут через пятьдесят нашей роте предстояло сдавать спортивный тест.

Мы шагали и чувствовали слабое детское дыхание утреннего тепла. Исходило оно не от неба, а от земли. Мы осторожно, словно боясь спугнуть, пили его легкими, будто дегустировали. Делая маленькие глотки, я чувствовал вкус дурманящих голову неведомых мне степных трав.

— Утром у вас здесь хорошо, — сказал я. — Какая-то терапия души. Травы, что ли, так действуют, не пойму. А днем тяжело. День в обним жмет жарой, духотой, криками, танками. Как вы выдерживаете — загадка.

— После Вьетнама это все мура. Вот сколько лет прошло, а толком не отойду. Случаи, истории вдруг торчком встают в памяти, как мишени на стрельбах. Но там стреляешь и они падают, уходят, а тут что — самому себе в башку стрелять? Рано вроде еще. Половину жизни только отшагал. Рано...

— Вы участвуете в работе ветеранских организаций?

— Я не принадлежу ни к «Американскому легиону», ни к «Ветеранам иностранных войн», но сердце принадлежит. Время ма-

лость залечило рану, сняло боль, люди нынче по-другому к той войне относятся. А в 60-е все в этой стране передрались. Окопы из Вьетнама перекинулись в Штаты. Казалось, Америка отправилась в свой последний путь. Но приблизительно после 1968-го мы поняли, что просто-напросто разрываем страну на части, и полюсы решили начать постепенное сближение. Сейчас иногда кажется, пойдя мы тогда хоть на дюйм дальше в сторону от центра и согласия, Америка не выдержала бы. Нация испугалась пропасти, на краю которой оказалась. Никсон пообещал вывести войска и сдержал слово: вывод войск оказался решающим фактором стабилизации положения внутри Соединенных Штатов. При Форде единство в обществе еще больше окрепло. Рейган очень популярен среди военных. Он вернул Америке веру в себя. Экономика встала на ноги, инфляция снизилась, безработных поубавилось. При нем мы опять поверили, что дорога наша идет далеко в будущее и что дорогу эту надо охранять. А для этого надо поддерживать военных, заниматься армией. Престиж военной профессии взлетел на небывалую высоту именно при Рейгане.

По выражению лица его было видно, что он получает удовольствие от своих слов. Пружинистые ноги легко несли крепкий, сухой торс, а голова подполковника, казалось, летит в облаках, высоко над землей.

— Что вы улыбаетесь? — Он глянул на меня, вздернув брови.

— Просто рад за вас. Кстати, почему, на ваш взгляд, пресса столь негативно писала об американских солдатах во Вьетнаме? «Героических» репортажей и очерков ведь практически не было...

— Да, — Фриzzo смотрел себе под ноги, засунув руки глубоко в карманы, — не было. Я не могу понять изначальные мотивы поведения прессы в период войны во Вьетнаме. Иногда журналисты играют деструктивную роль в обществе. Какой смысл было утрировать «зверства»?!

Губы его сделались бледными, а в бороздках глубоких морщин лба заискрился на утреннем солнце пот.

— Начиная приблизительно с конца 1972 года, — продолжал Фриzzo, — американские солдаты уже почти не воевали, хотя продолжали оставаться во Вьетнаме. Дела не было. Люди скучали по родным, оставшимся в Америке, не понимали, в чем их задача и чего от них хотят. Словом, настроения в частях начали меняться. Всем хотелось домой. А дома их «поливали» в газетах и по теле-

видению. Возвращение было тяжким, грустным. Солдаты сделали, что от них потребовало правительство, а потом страна плюнула им в лицо. Иные антивоенные активисты заходили, на мой взгляд, слишком далеко.

И тут Фриzzo упомянул имя Джейн Фонды. Он заговорил о ней с таким клокочущим раздражением, переходящим в ненависть, какого трудно было ожидать от этого умеющего держать себя в руках человека. Он обвинял ее в недопустимой, преступной «антивоенной пропаганде», вылившейся, на его взгляд, в предательство Америки.

— Ведь она, — Фриzzo рубил ребром правой ладони, точно топором, воздух, — поехала в Северный Вьетнам, с которым мы находились в состоянии войны, а на войне той гибли наши ребята. Она поливала грязью нас, но расточала похвалы нашему врагу!

— Я знаю, как бывает ненавистен иностранец, когда он допрагивается руками, лезет ими в национальную травму, — сказал я. — Именно так сам я реагирую на неосторожные слова американцев, рассуждающих об Афганистане. Даже если их слова справедливы. Я не сравниваю эти две войны: Вьетнам не Афганистан, СССР не США, сравнима разве что национальная боль — ваша и наша, Вьетнама и Афганистана. Точно так же мне кажется бессмысленным сопоставлять действия американского солдата в Южном Вьетнаме и действия Фонды в Северном Вьетнаме. Вы находились в различных системах координат. Я имею в виду не географию, а, скорее, область этики и общественного сознания. И хотя вы, как и она, защищали Америку, но Фонда — американские национальные идеалы, а вы — американские интересы, точнее, то, что вы под ними привыкли понимать. К сожалению, они не всегда совпадают.

— Да, — Фриzzo глубоко, мне даже показалось, с дрожью в легких вздохнул. — В этом вся трагедия.

— Но, быть может, высший национальный интерес — в его соответствии вашему идеалу народа?

— К сожалению, — Фриzzo почесал седой висок, — в реальной жизни все не так.

— По-моему, — сказал я, — история достаточно убедительно свидетельствует: если на протяжении слишком длительного времени в жертву интересам приносятся идеалы, это оказывается гибельным для страны.

— И наоборот, — ответил подполковник.

— Да, если в качестве агнца на заклание оказываются интeресы безопасности, такая ситуация может стать не менее роковой. Кстати, в умении сочетать эти два полюса — искусство политика.

— Знаете, — Фриzzo остановился у двери в мою казарму, — я за последние лет четырнадцать — вы не поверите — ни разу вот так не говорил про Вьетнам. Да и впредь не буду. Просто ради вас сделал исключение.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал я.

— Не стоит.

Мы распрощались. Почему-то холоднее, чем встретились.

В казарме я сел на койку, расшнуровал ботинки; ноги после бега ныли, но, когда я вытянул их, стало легче.

Прокрутил в памяти разговор с Фриzzo о журналистах во Вьетнаме. Как он на них злился! Выражаясь его же словами, подполковник, кажется, даже «чарли» ненавидел не так сильно, как бедных репортеров.

Я вспомнил тех из них, с кем знаком лично, — Питер Арнетт, Тед Коппел, Дейвид Кэннерли... Странно было увидеть неделю назад их фотографии на отдельном стенде в Пентагоне. Конфликт министерства обороны с прессой, разразившийся в годы войны, похоже, все-таки помог пентагоновцам понять простую истину — нельзя к журналистам относиться как к врагам, предателям Америки, «антипатриотам». И военные, и корреспонденты старались на благо Соединенных Штатов. Просто они по-разному понимали, что есть «благо»...

Питер прославился мужеством, он оставался в Сайгоне и после падения города весной 75-го. Сотни раз перепечатавали журналы и газеты США ставшую знаменитой фразу, которую бросил Арнетту американский офицер: «Чтобы спасти эту деревню от коммунистов, мы были вынуждены ее уничтожить!» Известность Теду принесли его телерепортажи с линии огня. Дейвид прогремел своими фотоочерками, потом он работал при Белом доме личным фотокорреспондентом президента Форда.

Ежедневно информируя американцев о войне — до семидесяти процентов вечерних теленовостей были из Вьетнама, — американские журналисты нанесли серию нокаутирующих ударов по создававшемуся литературой на протяжении столетий образу героя-воина. Ведь если бросить даже беглый ретровзгляд, мы легко заметим, что литература двигалась от гомеровского к средневеково-рыцарскому пониманию того, что такое «героизм», «муже-

ство» и «воинская доблесть». Никто из писателей и поэтов не ставил под сомнение ценность этих категорий. Даже Хемингуэй и Ремарк, отрицая всем своим творчеством войну как злейшее из зол, каким-то невероятным образом придали ей ореол печальной романтики.

Американец Джо Макгиннис в своей книге про Вьетнам «Герои» задался вопросом: если была война, значит, были и герои? Но пришел к убийственному для певцов «оборонного сознания» и «соловьев генеральных штабов» выводу: героев не было. Трагедия солдат состоит и в том, что человеческие поступки и качества, которые в условиях мира мы привычно измеряем категориями добра (подвиг, отвага, храбрость, сила воли, неустранимость, доблесть), там, на несправедливой войне, неизбежно наполняются противоположным смыслом.

Константин Симонов в статье «Думая о Хемингуэе» писал: «Первая мировая война была для него чужой, не его войной... Однако среди всей грязи позора этой войны... храбрость оставалась храбростью, а трусость — трусостью, и при всей нелепости обстоятельств, в которых они проявлялись, где-то в самой первооснове они не утрачивали своей первоначальной цены...»

Но, говорят, праведный путь праведен во всем. И, видимо, наоборот.

На несправедливой войне подвиг оказывается преступлением, а мужество — зверством. Но на скамье подсудимых должны сидеть не солдаты (что понимает в политике 17—18-летний пацан?!), а те «старцы», которые такую войну развязали. «Старцам» в мудрости не откажешь: своих детей и внуков они на смерть не посылают...

— Кончай дрыхнуть, — услышал я голос Вилли, — опоздаешь на построение!

ЧТО СКАЗАЛ БЫ СУВОРОВ?

Мы выскочили из казармы. Уже было светло. Ветер выметал из горизонта последние тучи, на небе вовсю захозяничало утреннее солнце, выжигая, будто огнем, последние остатки предрассветной мглы. Покружив над нашими головами, спешно улетала, тая на глазах, стая жирных сизобрюхих облаков.

А внизу, на плацу, близ нашей казармы, беспричинно свирепея, нервно, тигром по клетке ходил вдоль строя черный, как ночь, сержант.

Лихо сидела на нем инструкторская шляпа с круглыми полями и четырьмя симметричными впадинами на тулье. Казалось, был он зол на весь свет. Единственно, что не вязалось с его грозным обликом, так это уши. Они были сильно оттопырены и напоминали два радара ПВО. Чувствовалось, что сержант знает об этом. Уши, видно, бесили его пуще всего остального, тут не могло быть никаких сомнений.

Он продолжал быстро — вперед-назад, вперед-назад — ходить перед строем. Точно маятник. Солдаты, безмолвно вперив в него свои взоры, едва поспевали двигать глазами.

Серые хлопковые трусы и майка со здоровенными буквами спереди — АРМИ — обтягивали солдатские мышцы.

Один из парней со скоростью дятла «бился мордой об асфальт». Так армия окрестила серию быстрых отжимов, которые провинившийся выполняет в порядке наказания. Упершись руками со вздувшимися венами в землю, он орал ей, точно в ухо глухой старухи:

— И раз! И два! И три! И четыре!..

Всего пятьдесят отжимов.

Сержант остановился, и его башмак застыл в пяти сантиметрах от взлетавшей и падавшей, точно баскетбольный мяч, бритой солдатской головы.

Вилли, внимательно наблюдавший за этой сценой, шепнул:

— Вот они, сержанты! А ты жертвуй собой, приноси себя на алтарь самозабвенной службы... Впрочем, сейчас еще ничего, а раньше, говорят, они только и делали, что выискивали, кому бы в морду плюнуть. Тому, кто, ясное дело, чином пониже.

— Надо стараться, солдат! — крикнул сержант оторвавшемуся, наконец, от земли, взмыленному, точно конь после долгого галопа, пареньку.

— Есть, сэр! Буду стараться, — отвечал солдат, с трудом переводя дыхание, — буду стараться сэр... Изю всех моих сил, сэр!

Сержант опять встал лицом к строю, отдал команду — рота развернулась на девяносто градусов и сразу же взяла в намет.

Мы бежали в сторону стадиона, где предстоял тест по физподготовке. Там нас уже поджидали подполковник Лэндурс, командир второго батальона, и майор Рой Хаукинс. Роты «Браво», «Чарли», «Дельта» и «Эко»¹ уже строились, когда мы появились

¹ Так в американской армии обозначаются роты в батальоне: начальные буквы этих слов соответствуют порядку букв в английском алфавите: «А» — «Альфа», «Б» — «Браво» и так далее.

на плацу. Наша «Альфа» пришла последней. Слово взял Лэндурс, потом Хаукинс. Они напомнили нормативы, в которые необходимо уложиться.

Начался тест. Судьями назначили сержантов из другого батальона, чтобы свои, штатные инструкторы не делали поблажек. Набор упражнений, составлявших экзамен, обычен: отжимы, приседания, качание пресса, бег.

Рядом со мной в строю оказалась Сэнди Нельсон, а чуть дальше, слева от нее, Дениз Харли.

— Родители, — сказала Сэнди, — не были в восторге, когда я им однажды утром, за завтраком, заявила: «Мам-пап, я иду в армию!» Мама воспитана в «традиционном» стиле. Все это — прыжки с парашютом, стрельбы — не для нее. Папе тоже затея моя не понравилась. Но не станет же он запрещать: мне восемнадцать стукнуло! Что буду делать после армии? Думаю окончить колледж, а потом опять вернуться — хочу стать военным юристом.

— А я — военным врачом. У меня семья вся сплошь военная. Даже брат. Он в Уэст-Пойнте¹ учится, — сообщила Дениз.

— Сэнди, — спросил я, — а ты не боишься, что армия с ее мужскими физическими нагрузками испортит твою фигуру?

— Ни на вот столечко, — ответила она, показав мне кончик мизинца. — Наоборот. Подсчитано: женщины приходят в армию почти всегда с лишним весом. Тут они его волей-неволей сгоняют.

— А для женщин шьют особую форму?

— Совсе нет, — Сэнди явно поговорливее своей подружки, — у нас все как у мужчин. Кроме, быть может, нижнего белья. Проблема в другом: трудно подобрать подходящую обувь.

— Вам разрешается пользоваться косметикой? — Я повернулся лицом к Дениз.

— Да, — кивнула она. — Но если предстоят серьезные физические нагрузки, нам советуют лишь губы чуть-чуть накрасить да глаза слегка подвести. Если же ничего такого не ожидается, то можно, как обычно.

— Еще, — вспомнила Сэнди, — мы не пользуемся краской и лаком для ногтей. По той причине, что процедура эта занимает слишком много времени. Не рекомендуют нам и душиться. Говорят, духи привлекают блох.

¹ Привилегированное военное училище сухопутных войск.

— Блох привлекают, а ребят, значит, оставляют равнодушными... Нет, Сэнди, думаю, тут дело в солдатах, а не в блохах, а?

Девушки засмеялись и едва заметно покраснели. Почувствовав, что краснеют, они засмутились еще больше.

Тест завершился часа через три. Все это время над нашими головами стрекозами носились вертолеты. Вконец измочаленные, роты вернулись в казармы. Вернулись, чтобы после обеда опять покинуть их: на вторую половину дня были запланированы учебные стрельбы.

В КОГО Я СТРЕЛЯЮ

...Жара стоит умопомрачительная. В ушах от нее гул и треск такой, что кажется, будто рядом надрывается испорченный транзистор. Солнце печет сверху, песок снизу. Мы лежим, целимся в мишени. Они дрожат от раскаленного воздуха. Иногда мишень впереди кажется миражем. Но я все равно нажимаю на спусковой крючок. Доля секунды — и рядом с целью вздымается маленький фонтанчик охристой пыли: промазал. Вокруг меня валяются пустые гильзы. Воздух насыщен пороховой гарью. После автоматической стрельбы в горле начинает першить. Сквозь голову вяло тянется нить мыслей. Мишень — противник. Противник для этих ребят, что лежат рядом — по крайней мере, им так втолковывают, — советский солдат. В кого стреляю я? В себя?

Скука становится частью жары. Спасает от нее Вилли. Меняя магазин, он успевает рассказать очередной анекдот:

— Двое солдат американской армии сидят на берегу реки, ловят рыбу. У одного в руках банка с червями. Он глядит в нее, потом спрашивает: «Ладно, с призывом у нас покончено. Кто из вас, ребята, добровольцы?»

Вилли умолкает на пять секунд в ожидании смеха. Тщетно. Он бурчит:

— Знаешь, в такую жару ничего смешнее и не придумаешь!

Сержант стоит рядом. Видно, заполняет ротную суточную ведомость. Вечером он отправит ее в штаб батальона. К сержанту подходит капрал. Что-то говорит. Доносятся лишь последние, ветром сорванные с губ слова:

— Молодец, сержант, скрутил ты своих в бараний рог. Так и держи...

Вилли комментирует:

— Лучше иметь дочь-проститутку, чем сына-капрала.

— Сколько, — спрашиваю я, чтобы поддержать разговор, который вот-вот иссякнет, как ручеек в пустыне, — получает капрал?

— Одно могу сказать определенно: я бы не отказался от той кучи, которую он загребает каждый месяц.

Вилли лежит справа от меня. На левом фланге — парень, который за все время умудрился не проронить ни слова. Из-под края его каски выглядывает матерчатая лента, обмотанная вокруг головы. Это от пота. На ней надпись, сделанная химическим карандашом: «Благослови на убийство!» Так, потехи ради.

Капрал подходит ко мне, садится на корточки. Что-то говорит, но я не слышу, прошу повторить. Перед глазами все плывет. Впечатление такое, будто я вижу сон. Капрал придвигается ближе.

— Привет, я Дейвид Эллер, — говорит, а я:

— Очень приятно, — говорю, а он:

— Сколько раз попали? — спрашивает, а я:

— Десять из пятнадцати, — говорю, а он:

— Хорошо!

Эллер снимает каску, ерошит пальцами мокрые волосы.

— Жара, — говорит.

— Да, — отвечаю. — Вы давно в Беннинге?

— Порядочно.

— И всегда тут у вас так?

— Постоянно. Но я люблю пустыни, горячие пески, жару. И чтобы ни одного дерева.

— Странная любовь, — говорю, — извращенная. Любить пустыню — это все равно что ничего не любить.

— Я родился и вырос в Нью-Мексико. А там одни пустыни.

— Угораздило же вас...

Он смеется. В такую жару, когда нет сил и пошевелиться, его смех кажется маленьким подвигом. А мне мой голос — чужим.

— До армии я работал в фирме агентов безопасности, — почему-то вспоминает он. — Рок-звезд охранял, поддерживал порядок на их концертах. А однажды снимался в фильме.

— Потрясающе, — говорю.

— Ага, в фильме «Красный рассвет»¹. Выпейте воды из фляги. По-моему, вы перегрелись.

¹ Нашумевшая в США антисоветская картина.

Я следую его совету. Выпиваю половину фляги, остатки вытряхиваю на голову. Минуты через две становится легче. Круги перед глазами исчезают. «Транзистор» умолкает.

— Не забывайте, — говорит он, — пить воду. Иначе можно копыта отбросить.

Отстреляв свое, я с чистой совестью перебираюсь в тень. Кап-рал идет вслед. Спрашиваю:

— Расскажите, как вы попали в эту картину и кого в ней играли?

— Я, — начинает он, — учился тогда в Нью-Мексико. Представители киностудии сказали, что им нужны ребята солдатского возраста, умеющие говорить хоть чуть-чуть по-русски. Будем, объясняли они, снимать кино о том, как русские захватывают наш штат. Я согласился: киношники пообещали платить по четыреста долларов в день. Студенту такого никогда не заработать — хоть тресни!

— Ты верил, что сюжет реалистичен?

— Не-е-ет, — улыбается он, — никто из актеров не верил. Но жители городка, где проходили съемки, верили.

— Почему?

— Периферия. Они своего носа из Нью-Мексико за всю жизнь ни разу не высунули. Они не такие, как жители крупных городов.

— А какие они, жители крупных городов?

— Жители крупных городов? — Он внимательно смотрит на меня. — Я, например, весь мир объездил: отец был военным. Я и Италию повидал, и Западную Германию, и Турцию... Легче перечислить, где я не бывал. Я знаю, что не так страшен черт, как его малюют. Русских я видел на границе в Западном Берлине, нормальные вы ребята...

— Спасибо.

— Нет, я честно. А в Нью-Мексико, например, соседи моих родителей до сих пор не верят, что астронавты летали на Луну. Они убеждены, что телевидение и газеты все наврали. Они думают, их здорово надули со всей этой лунной эпопеей. А в цирковую борьбу они верят. Но я не об этом. Словом, снялся я. А когда по телевидению объявили, что вечером будут показывать «Красный рассвет», всю семью и друзей дома собрал.

— И что же?

— Полная катастрофа: всего полсекунды на экране был. Но деньги киношники мне заплатили хорошие, я не жалею, что снялся...

«Альфа» начинает построение. Я прощаюсь с капралом, желаю успехов на кинофронте.

Пристроюсь рядом с Вилли, вместе со всеми начинаю печатать шаг. Сержант запекает, а рота тут же подхватывает:

Привет, Джозефина!
Как твои дела?
Вспоминаешь ли ты обо мне так,
Как я вспоминаю тебя?
Э-эй!
У-а!

СТРАННАЯ СТРАНА АМЕРИКА

В столовой штаба Форт-Беннинга, где кроме американских обычно питаются офицеры союзнических армий, было многолюдно. Я с удовольствием вдыхал охлажденный кондиционерами воздух. Казалось, они вырабатывали не столько прохладу, сколько блаженство.

— Странная страна — Америка, — сказал офицер в бежевой форме летчика, — очень странная.

Все, кто стоял рядом с ним в очереди за вторыми блюдами, оглянулись. Офицер поставил на свой поднос тарелку с мясным рагу и спаржей.

— Очень странная, — повторил он и смахнул белоснежным носовым платком каплю сметаны с указательного пальца. — Разве нет?

Офицер стоявший сразу за ним и одетый точно в такую же форму, молча улыбнулся в знак согласия. Верхняя губа его пряталась под жесткими черными усами. Они были так аккуратно подстрижены, что любой его собеседник неизбежно задумывался над тем, каких трудов стоила такая аккуратность.

— Судите сами, — сказал первый офицер, обращаясь к тарелке со спаржей и мясом, — летом в их домах замерзнуть можно от обилия кондиционеров, а зимой потом обливаешься из-за батареи. Ну разве это не странно?

— По-моему, — пожал плечами Сорс, — это обычно. В этом нет ничего противоземного. А вы откуда?

— Я из Перу.

— Так и надо было говорить с самого начала, — усмехнулся Сорс и тоже взял порцию спаржи. Где-то на самом дне его под-

сознания, видно, пряталось чувство удовлетворения от собственной «великодержавности».

Два подполковника из Саудовской Аравии негромко, но победоносно засмеялись. Похоже, рейнджеровская форма Сорса и фотокамера на его груди произвели на саудовцев впечатлительное.

Перуанец продолжал возводить на подносе башню из тарелок с едой.

В самом конце стойки урчал чан с кофе. На нем периодически зажигалась красная надпись: «Осторожно! Я кипячусь — не ошпарьтесь!» Налив в стакан дымящегося кофе, я сел за столик, уже занятый Сорсом. Он распечатывал банан.

— Если научная мысль, — сказал Сорс, — пойдет и дальше развиваться теми же темпами, что сегодня, через пару лет мы будем покупать бананы не в собственной кожуре, а в какой-нибудь искусственной обертке. Перуанец, между прочим, прав: американцы живут в совершенно противоестественном мире. Все стало синтетическим. Даже дети — их теперь тоже синтезируют в пробирках.

— Можно? — спросил молоденький майор и, не дожидаясь ответа, сел за наш столик. Он сразу же принялся есть. Его гибкие руки, вооруженные вилкой и ножом, взлетали, точно у дирижера.

— Конечно, — повернулся к нему Сорс, — садитесь. Отчего же нет. Тем более что вы уже сели.

— Я не хотел помешать вам, — извинился майор, — Я спешу на лекцию.

— У меня нет оснований вам не верить, — ответил Сорс. — Вы откуда?

— Я с Филиппин, — сказал майор.

— Если вы уж сели за наш столик, постарайтесь быть помногословней, рассказывайте все по порядку — чем занимаетесь, что вас интересует, когда уезжаете к себе обратно? В Америке так принято. — Сорс был явно в ударе. Он слишком долго работал фотокамерой. Теперь ему хотелось поработать языком.

— Позвольте и мне поинтересоваться — откуда вы? — Филиппинец допил из пластикового стаканчика остатки куриного бульона.

— Я русский, — Сорс ткнул в себя большим пальцем. — А мой друг — американец. Разве вы сами не видите?

Майор улыбнулся.

— Все наоборот, — сказал я, — он американец. Такая у него профессия. А по национальности Сорс — шутник.

Майор опять улыбнулся.

— Кроме того, что он американец, — сказал я, — господин Сорс был на Филиппинах. С повстанческими отрядами. А я из Москвы. Агентурю помаленьку. Только об этом никому!

— Вы были с повстанцами? Он не шутит? — Майор, явно ожившись, с любопытством глянул на Сорса.

— Он, — Сорс кивнул в мою сторону, — как и все русские, никогда не шутит. Они там у себя все отвратительно серьезны. Говорят про перестройку.

— Так когда вы были у партизан? — Майор прекратил жевать.

— Четыре года назад. — Сорс вытер губы бумажной салфеткой. — Делал фоторепортаж о войне на Филиппинах для «Лайфа». Тогда в Америке никто не знал о тамошней войне. Почему вы так упорно скрываете свое имя?

— Ничуть: майор Бокобо. Как вам удалось попасть в отряд ННА? И где вы были?

— Майор, — улыбнулся Сорс, — вы военный человек. Неужели не понимаете, что я этого не скажу? Среди партизан у меня много близких друзей. И я не хочу, чтобы вы, связавшись сегодня вечером по телефону со штабом в Маниле, вызвали на их головы авиацию.

— Вы, — майор смотрел прямо в глаза Сорсу, — явно переоцениваете наши возможности: авиации нам катастрофически не хватает.

— У вас, — улыбнулся Сорс, — есть возможность получить целую уйму авиационной техники, стоит только продлить договор с Вашингтоном о Субик-Бей и Кларк-Филд¹.

Майор Бокобо кусочком хлеба вытер остатки соуса на тарелке и отправил его в рот. Он явно не мог понять, на чьей стороне Сорс — ННА или Вашингтона?

— Каков, на ваш взгляд, — не унимался Бокобо, — моральный дух партизан? Если, конечно, вы меня не разыгрываете...

— Очень крепкий, — ответил Сорс. — Они настроены на победу. В деревнях люди склонны поддерживать партизан, а не вас.

¹ Военные базы США на Филиппинах. 17 октября 1988 г. договор был продлен: в обмен на это Филиппины получают от США в 1990 и 1991 гг. в общей сложности 962 млн долларов в виде военной и экономической помощи.

Регулярная армия причинила много зла народу: солдаты насильствовали женщин, грабили, убивали...

— Сейчас, — сказал Бокобо, — уже невозможно определить, кто был инициатором насилия — ННА или регулярная армия. Как невозможно определить, что появилось на свет первым — яйцо или курица.

— Вам не кажется странным, — спросил Сорс, — что вы, офицеры, получающие образование в Форт-Беннинге и лучших военных академиях США, вы, имеющие в своем распоряжении технику, которая и не снилась партизанам — у них на вооружении лишь старые АК-47 китайского производства, — вы не можете их одолеть?!

— За партизанами, — убежденно сказал Бокобо, — стоят Москва и Пекин. Повстанцы, по нашим сведениям, обучаются в Академии Фрунзе. Разве нет? — Он перевел глаза на меня, хотя явно видел во мне американского офицера из какого-то неизвестного ему подразделения Пентагона или отдела ФБР, занимающегося армией.

— Мне часто приходилось бывать в этой академии, я знаком с ее начальником, — сказал я, — но ни разу не довелось увидеть там ни одного филиппинца.

— Главная наша проблема, — майор, посчитав мои слова запоздалой и потому неуместной шуткой, ударил пальцем по столу, — в том, что силы, борющиеся против ННА, раздроблены. Нам не удалось объединиться в один фронт так, как это сделали левые. Необходимо собрать в монолитный кулак усилия частного сектора, правительства и армии.

— Майор, — спросил я, — что вы изучаете в Форт-Беннинге?

— Советскую военную тактику, советскую тактику ведения партизанской войны, — он стал загибать пальцы на левой руке, — английский язык и тактику борьбы с партизанскими движениями.

— А зачем вам советская партизанская тактика? — не понял я.

— Ее, — он пожал плечами, — изучают наши партизаны. И ее используют.

— Майор, — опять поинтересовался я, — а есть ли возможность для национального примирения у вас в стране?

— Нет, — категорично ответил Бокобо, — оба лагеря зашли чрезмерно далеко. Уже пролито слишком много крови. Она одна не позволит нам примириться. Будем воевать дальше. Пролитая

кровь, к сожалению, сковывает посильнее цемента, она может связать руки даже последующим поколениям. Мы не имеем права обесмысливать пролитую кровь наших отцов.

«Да, — подумал я, — эти слова про «недопустимость обесмысливания пролитой крови» — излюбленный и конечный довод неосталинистов, когда они рассуждают о недопустимости критики Сталина. Или когда они защищают коллективизацию. Или ввод войск в Афганистан».

— У вас есть уверенность в победе? — спросил Сорс.

— Партизаны, — ответил майор, — не смогут нас победить. Даже если они возьмут власть в свои руки, окончательной победы им не видать. Это парадокс, но это правда.

— Почему же? — спросил я.

— В таком случае, — Бокобо развел руками, — мы просто поменяемся с ними местами. Они обоснуются в Маниле, а мы уйдем в горы.

— Вы слишком легко произносите слово «горы», майор, — сказал Сорс, — у меня возникает подозрение, вы не очень-то представляете, что оно означает. Слово «горы» можно сравнить лишь со словом «ад». Я вас не хочу пугать, но кондиционеров в горах нет. Летом там иногда кажется, что легче вынести пытку, чем жару, а зимой у тебя в штанах все покрывается мхом и плесневеет от всепроникающей сырости. Тропические болезни, паразиты в брюхе, кровавый понос — словом, весь набор удовольствий. Так что, майор, нет у вас выхода: продлевайте договор о базах, получайте американские самолеты, вертолеты, а также кондиционеры «Дженерал электрик» и оставайтесь в Маниле. Горы, майор, не Форт-Беннинг.

Когда мы выходили из столовой, я шепнул Сорсу:

— Уэйн, только что ты подорвал моральный дух филиппинской армии. Не удивлюсь, если через пару лет узнаю, что он рванул к партизанам.

В ответ Сорс щелкнул фотокамерой, зафиксировав еще одно мгновение из истории человечества.

— Пока, Уэйн! — сказал я.

— Пока! — улыбнулся он. — Увидимся через пару часов на занятиях по изучению мин.

Он опять улыбнулся и натянул кепку почти на самые глаза, пряча их от солнца. Я поправил ремень фотоаппарата на его плече и пошел на второй этаж, где расположилась приемная

командира Форт-Беннинга генерал-майора Кеннета Льюера. Присев на небольшой диванчик в приемной, я устроился поудобней и стал ожидать разрешения войти в кабинет генерала, пообещавшего мне несколько дней назад тридцать минут для интервью.

КОМАНДИР ФОРТА

Коротко подстриженный помощник генерала предложил горячего кофе.

— Спасибо, — отказался я.

— Если не хотите кофе, — встал из-за письменного стола помощник, — угощу-ка я вас биографией шефа. Вот, держите.

И он протянул мне лист бумаги с прикрепленной к верхнему левому углу визитной карточкой генерала.

Ждать мне оставалось еще минут пятнадцать, и я, решив не тратить времени впустую, принялся изучать жизнь Кеннета Льюера.

«Двухзвездный генерал родился 13 августа 1934 года в Миннесоте...» Прочитав это предложение, я представил себе жаркий летний полдень, сияющую от счастья, чуть усталую молодую мать, ее мужа со здоровенным букетом цветов, чуть поодаль — целую стаю бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек, братьев и сестер... Какую судьбу прочили новорожденному все эти люди, собравшиеся 13 августа 1934 года у выхода из роддома?

«Кеннер Льюер закончил в 1956 году университет в Айове и училище офицеров резерва...» Воображение мигом нарисовало портрет двадцатидвухлетнего бравого второго лейтенанта. Подбородок выдвинут вперед. Брови сведены у переносья.

«Военное образование получил на Основных и Высших курсах офицеров-пехотинцев, в Штабном колледже и в Индустриальном колледже Вооруженных Сил...»

Перед глазами стоял тот же молодой офицер. Лишь на лбу появилось несколько едва заметных горизонтальных морщинок.

«Он командовал 193-й пехотной бригадой, был начальником штаба и заместителем командира 4-й механизированной дивизии в Форт-Карсоне, штат Колорадо...»

— Господин Льюер готов принять вас, — помощник генерала аккуратно тронул меня за плечо.

Командир форта оказался человеком выше среднего роста, очень коротко подстриженным, с отменной выправкой.

— Есть хотите? — генерал улыбнулся и протянул мне крепкую руку.

— Спасибо, только что это сделал в вашей штабной столовой.

— И правильно. А я вот все никак не найду свободных десяти минут. Не возражаете, если во время разговора я проглочу пару бутербродов? — Он достал из лежавшего на письменном столе атташе-кейса маленький термос и сверток с сэндвичами. — Как вам понравилась еда в столовой Форт-Беннинга? Вкусно?

— Есть можно.

Льюер почему-то рассмеялся.

— Честно говоря, — сказал я, — мое внимание привлекла не столько еда, сколько обилие иностранных офицеров. Кого я только там не видел. Вы что, весь мир обучаете военному ремеслу?

Льюер опять рассмеялся. Потом сказал:

— Да, много у нас тут стран представлено. Слушатели занимаются по 15—18 человек в группе. Стараемся, чтобы в группу входило 3—5 иностранцев. Американские и иностранные офицеры не только учатся здесь, но и сами учат. Таким образом, мы обеспечиваем обмен воинским опытом во время занятий.

— Давно вы ввели такую систему?

— В начале 60-х годов учебные группы состояли из 160—180 человек. Из них двадцать человек — иностранцы. Но в ту пору лишь преподаватель говорил, а слушатели конспектировали его лекции. Теперь же мы всячески пытаемся стимулировать дискуссии, споры. Это очень сближает людей.

— Я видел тут неподалеку огромное здание, на котором здоровенными позолоченными буквами написано: «Эскуэла де лас Америкас»¹. Латиноамериканцы и азиаты обучаются раздельно?

— Нет, все вместе. Просто часть офицеров посещает основной курс, а часть — высший курс. Первый длится 16 недель. Второй — 20. Желаящие могут продлить свое пребывание в Форт-Беннинге, если они хотят дополнительно пройти курс какой-либо специальной подготовки.

— Курс рейнджеров, парашютистов и так далее?

— Совершенно верно.

Льюер налил в пластмассовый стаканчик крепкого кофе и бросил туда чайную ложку молочного порошка.

¹ «Американская школа» (исп.).

— Вам с молоком или без? — спросил он, наливая кофе во второй стаканчик.

— Без. Вы были во Вьетнаме?

Льюер откинулся на спинку дивана и несколько мгновений сидел молча, потом опять придвинулся ближе к журнальному столику, по разные стороны которого мы сидели, уперся локтями в напряженные ноги.

На краю столика лежала брошюра «Советская военная мощь: стиль руководства войсками». Льюер взял последний номер «Тайма» и прикрыл им брошюру.

— Был. 101-я воздушно-десантная дивизия, 501-й полк. Был командиром 2-го батальона.

— В какие годы?

— Семьдесят первый — семьдесят второй. Но я отвоевал во Вьетнаме еще в первый тур: шестьдесят седьмой — шестьдесят восьмой.

— Тоже командовали батальоном?

— Служил в штабе батальона. А в семьдесят втором выводил последнее американское подразделение из северных провинций Южного Вьетнама.

— В семьдесят втором война пошла на убыль?

— Я бы не сказал. Первые шесть месяцев батальон участвовал в активных наступательных операциях.

— А потом?

— А потом мы преимущественно обороняли коммуникации, по которым доставлялись боеприпасы и продовольствие.

— Наступательных операций не было?

— Были. Но лишь в тех случаях, когда нас обстреливали. Потом мы в течение длительного времени передавали южным вьетнамцам технику, наши заставы, полевые лагеря...

Он прошелся по кабинету. На полу лежал толстый ковер, и шагов генерала не было слышно.

Он подошел к письменному столу, взял миниатюрный серебристый танк, повертел его в руках. Поставил танк на прежнее место — рядом с пивной кружкой, заполненной идеально заточенными карандашами. Кружка, похоже, была сувениром из Западной Германии.

Я спросил:

— Вы любите пиво?

— Люблю, — улыбнулся он. — Но вынужден себя сдерживать — вес...

— Вы в отличной форме, — заметил я.

— «Отличная форма» не так-то легко дается, — он провел широкой ладонью по впалому животу. — Встаю в 5.30 утра. Включаю здешний девятнадцатый радиоканал и под музыку занимаюсь аэробикой.

— Мне казалось, аэробика — женский вид спорта.

— Не думаю. Сразу после нее я пробегаю 3—5 миль...

— Каждый день?

— Шесть раз в неделю. По воскресеньям позволяю себе расслабиться: сплю дольше и не бегаю.

— А гольф? Разве классический генерал может не играть в классический гольф?

— Нет, — рассмеялся Льюер, — не может. Кстати говоря, я сам ношу свои клюшки и прочее снаряжение.

— Ваш ординарец, должно быть, вами не нарадуется.

— Должно быть, — опять улыбнулся генерал. — Я, между прочим, не исключение. Сейчас все военнослужащие следят за своим весом и физподготовкой. Иначе нельзя. Наша добровольная армия даже внешне очень отличается от нашей же армии тех времен, когда она была основана на всеобщей воинской обязанности. Очень.

— В чем, на ваш взгляд, основное различие? Внешний вид? Численность? Что еще?

— По моим наблюдениям, приходится иметь дело с двумя диаметрально противоположными типами солдатской психологии. В годы всеобщей воинской обязанности люди шли в армию с одним желанием: поскорее оттуда удрать. В добровольную армию идут люди, которые хотят служить. В былые времена офицеру все время приходилось подталкивать солдат, чтобы добиться от них выполнения любого пустячного приказа. А сегодня рядовой понимает: армия — это постоянный дом. Он хочет делать карьеру в армии и потому стремится показать себя с лучшей стороны. В этом вся разница. Сегодняшний солдат хочет бегать по пять миль в день. Сегодняшний солдат хочет отжиматься по семьдесят пять раз за две минуты. Сегодняшний солдат хочет служить.

— Но ведь многие ребята, вербуясь в армию, даже и не предполагают, что армия не для них, а они не для нее. Как быть с ними?

— Мы всячески стремимся поддерживать и развивать веру людей в свои способности. Настроение солдата резко падает, если

офицер заставляет его заниматься не своим делом, не сутью, а внешней стороной. Так вот, мы даем возможность солдату посвящать себя сути — боевой и физподготовке. Конечно, не все приказы по душе солдату. Но даже если это и так, все равно необходимо добиваться выполнения приказа. Однако приказ всегда, при всех обстоятельствах должен быть разумным. Иначе подрывается вера в командиров, мораль падает, а повернуть такой процесс вспять весьма трудно.

Льюер опять разлил по стаканчикам уже остывший кофе. Выпил свой залпом, запрокинув голову, словно стопку водки. Вытер бумажной салфеткой уголки прямого, волевого рта.

— У вас, — сказал я, — отличная библиотека. Она принадлежит вам или Форт-Беннингу?

— Моя домашняя библиотека еще больше, — живо ответил генерал. Чувствовалось, он гордится ею.

— Вы успеваете читать?

— Стараюсь успевать.

— Что же вы предпочитаете?

— Книги по военной истории. Военный раздел — самый большой в моей библиотеке. Всегда с интересом читаю работы Гудериана¹ о применении танковых войск. Люблю читать Паттона. Эти люди во многом определили современную стратегию и тактику армии Соединенных Штатов.

— Военную периодику просматриваете?

— Читаю все основные военные журналы. В особенности то, что связано с боевой подготовкой солдат.

— А на «гражданскую» периодику время остается?

— Ограничиваюсь старым, добрым «Таймом». В нем есть все.

— В библиотеке Форт-Беннинга я видел несколько брошюр, на обложке которых стоит ваша фамилия. Выходит, вы не только читатель, но и писатель?

— Да. Иногда приходится разрабатывать и дорабатывать наши местные уставы.

— Во сколько вы ложитесь спать? Допоздна ли засиживаетесь на работе?

¹ Гудериан Хайнц Вильгельм (1888—1954) — немецко-фашистский генерал-полковник. Во второй мировой войне командовал танковым корпусом, танковой группой и армией. В 1944—1945 гг. начальник генштаба сухопутных войск.

— Обычно я закрываю свой кабинет в 6.30 вечера. Какой смысл сидеть дольше? Если ты не укладываешься в рабочий день, значит, ты плохой работник. Кроме всего прочего, для выполнения моих прямых обязанностей мне необходим весь штаб. А я не имею права заставлять своих подчиненных находиться на рабочих местах дольше положенного времени. Так что к семи часам вечера все огни в здании штаба гаснут...

— Вечера вы обычно проводите дома?

— Да, я домосед. Я люблю свой дом, свою семью.

— Вы давно женаты?

— Двадцать девять лет. — Генерал кивнул на цветную фотокарточку молоденькой девушки. Казалось, фотография была сделана днем раньше.

— Ваша дочь?

— Жена! Такой я ее встретил почти тридцать лет назад, — сказал Льюер.

Генерал опять встал с дивана, подошел к книжным полкам, снизу доверху закрывавшим одну из стен кабинета, взял карточку и протянул ее мне.

— Очень красивая женщина.

— Дочь, — удовлетворенно улыбнулся генерал, — пошла в нее. Похожи, как две сестры.

— Больше детей у вас нет?

— Что вы! — слегка обиделся Кеннет Льюер. — У нас их трое. Две дочки и сын. Старшая замужем за капитаном ВВС. Она подарила нам двух внуков. Младшая — капитан военно-медицинской службы, парашютистка, подводница. Ее муж — командир роты. Они служат на Гавайских островах.

— Завидное местечко, — сказал я. — Половина солдат, по моему, хотят служить именно там.

— Да, — отозвался генерал. — Местечко и впрямь сказочное. Тепло, океан, фрукты... Что еще надо человеку?

— А что делает сын? Тоже пошел по стопам отца?

— Мой сын студент. Сейчас он в Гватемале. Подлить кофе?

— Спасибо. Еще одна чашка — я превращусь в кофейник.

— Верно, — заметил генерал, — старайтесь себя ограничивать. Сам я кофе почти не пью. Делаю исключение, лишь когда меня навещают гости. Вам понравился Форт-Беннинг?

— Да, очень интересно.

— А что больше всего заинтересовало?

— Работа корпуса капелланов в Форт-Беннинге.
— В советской армии, — улыбнулся генерал, — их заменяют политработники. Воспитывают солдат в духе вашей «коммунистической веры». Я прав?

— Социализм не религия, — сказал я. — Из него пытались сделать религию со своим богом и апостолами. Но не получилось... Капелланы — прекрасные политработники: солдаты им исповедуются, открывают свои самые сокровенные тайны. В результате капеллан знает про рядового все — вплоть до цвета глаз любимой девушки.

— Честно говоря, — сказал генерал, — я не смотрю на капелланов как на политработников. Это нечто совершенно особое. На мой взгляд, солдату необходим священник. Это я особенно остро осознал во Вьетнаме.

— Почему именно во Вьетнаме?

Он удивленно посмотрел на меня.

— А вам, — спросил генерал, — удалось побеседовать с кем-нибудь из капелланов форта?

— К сожалению, нет.

— Так ведь с этого надо было начинать... Сейчас я вам организирую встречу. У вас есть время?

— Часа полтора, — ответил я, глянув на часы.

— И отлично!

БОГ И АРМИЯ

Капеллан Дональд Тейлор встретил меня на крыльце маленькой современной церквушки, приютившейся близ молодой сосновой рощи. Он был небольшого роста, но широк в кости, коренаст. Старательно отутюженная новенькая пятнистая форма ладно сидела на его крепкой фигуре. Голос его был мягок, вкрадчив, чуть хриловат, он проникал в самую сердцевину вашей души, подчинял, покорял вас со второго же слова.

— Чем, — улыбнулся капеллан, — объяснить ваш интерес к моей персоне?

— Быть может, тем, — сказал я, — что в нашей армии нет священников.

— Быть может, — согласился он.

— Где вы получили теологическое образование?

— Я три года учился в мемфисской христианской семинарии¹. Там же защитил дипломную работу.

— Какой круг проблем исследовали вы в той работе?

— Ее тема звучала так: «Капеллан и проблема оказания помощи смертельно раненым или безнадежно больным в госпиталях».

— К тому времени у вас уже был опыт подобной работы?

— В определенной мере — да. Я много времени провел в госпиталях, в отделениях, где лежали больные раком. Я стремился помогать им морально, пытался утешить их. В своей работе я опирался на идеи Елизаветы Кублур Росс².

— Вы имеете в виду вашу практическую или дипломную работу?

— И ту и другую. Елизавета Кублур Росс написала очень мудрую, очень ценную книгу под названием «Смерть и умирание».

— Печальная тема.

— Печальней нет, — согласился капеллан. — Пройдемте в церковь — здесь дует...

В церкви было по-домашнему уютно. Обычной для католических храмов торжественности — ни следа.

— В своей книге госпожа Кублур Росс утверждает, что большинство людей, которым стало известно, что они неизлечимо больны, перед смертью проходят через пять основных психологических состояний: отрицание своей смерти, ненависть к идее своей смерти, смирение и привыкание к идее смерти, выторговывание у судьбы или Бога шанса на выживание и, наконец, надежда на выживание.

— Что вы понимаете, — спросил я, — под выторговыванием шанса на выживание?

— На этой стадии больной или раненый склонен давать Богу клятвы.

— Какого рода?

— Самого разного. Например, клятву уйти в монастырь, если будет дарован шанс выжить. Или клятву отдать все свое состояние в фонд строительства жилья для бездомных. Иногда больной делает попытку перехитрить Бога.

— То есть?

— Ну, скажем, чистосердечно кается, не прося взамен спасе-

¹ М е м ф и с — город на юге США, в штате Теннесси.

² Американский психиатр и публицист.

ния, а в тайниках сознания — мысль о том, что это и есть единственный шанс выжить...

— Вы считаете, что капеллан может реально помочь безнадежно больному человеку?

— Да, считаю. И когда я думаю об этом, то вспоминаю одного сержанта, у которого рак поразил кость ноги. Он почти год лежал в ожидании донора, но с каждым месяцем его надежда на выздоровление таяла. Я постарался своей верой усилить его веру. А это дало ему новые силы ждать. И он победил.

— Что именно вы говорите смертельно больным людям?

— Самое важное — попытаться внушить больному, что его жизнь небезразлична миру, что о нем думают, заботятся. По-разному люди реагируют на слова капеллана. Одни смиряются. Другие отказываются верить, что это происходит не с кем-нибудь, а именно с ними. Третьи уходят глубоко в депрессию. Иные мечутся между подавленностью и злобой. А кто-то уповает на лекарства или гениальность врачей. Я заметил важную закономерность: человек боится не смерти, а ее быстрого приближения. Тяжело переносится не сама смерть — свою смерть человек никогда не может зафиксировать, — а ожидание смерти. Когда я работал в госпитале имени Уолтера Рида, я говорил больным: вы не исключение, мы все умрем.

— Но они-то знали, что им предстояло умереть очень-очень скоро. Они завидовали здоровым?

— Конечно. Но я пытался уводить их от отрицательных эмоций. Я не переставал внушать им, что все люди в некотором смысле смертельно больны — все рано или поздно умирают.

— Вы не замечали — чтобы утешить страдающего человека, достаточно указать ему на его же собрата, чьи страдания еще тяжелей. Глупо устроен человек: от сознания, что соседу тоже плохо, почему-то становится легче на душе. Разве это не мерзость?

— У любого человека достаточно сил, чтобы побороть мерзость внутри себя.

— Да, иногда это получается, но невозможно эту мерзость уничтожить полностью — так, чтобы она уж никогда более не давала о себе знать... Ну а что ваши солдаты? Что тревожит их?

В окне появилось солнце. Своими лучами, словно слепой пальцами, оно принялось осторожно ощупывать наши лица.

— Тоска по дому, — пожал плечами капеллан Тейлор, — вот что одолевает большинство ребят. У холостого юноши одни про-

блемы, у женатого солдата — другие: его гнетут многочисленные семейные неурядицы. У одного солдата умер тесть, жена была на третьем месяце беременности. Врач посоветовал ей лечь в клинику на сохранение. Однако без мужа она отказалась сделать это. Парень пришел за помощью ко мне. Мы долго молились вместе. Потом я направился к его сержанту и ротному, объяснил суть проблемы. Было принято решение отпустить солдата домой на несколько недель... Он вернулся в Форт-Беннинг совершенно другим человеком.

Тут капеллан взглянул на часы и виновато улыбнулся.

— Вы не обижайтесь, но мне пора: служба, знаете ли...

Распрощавшись с Тейлором, я поспешил на небольшой грунтовой плац, где уже начались занятия по изучению мин и способов их обезвреживания.

Там я познакомился со здоровенным малым по имени Грег и, находясь еще под впечатлением от беседы с капелланом, спросил, может быть, несколько в лоб, верит ли он в Бога.

— Я верю в Бога, — сказал Грег, положив ствол М-16 на опрокинутую каску, — и это помогает мне переносить разочарования и тяготы армейской службы. Я знаю, что Бог соткан из человеческой веры. Слабее вера — слабее Бог. Меньше веры — меньше Бога. Чем крепче я верю, тем Он всемогущественней, тем Он добрее, тем внимательнее ко мне.

Странно было слышать это от здоровенного национального гвардейца¹. Струями, словно дождевая вода, катился пот по его чистому, грубой лепки лицу. Видимо, как раз этот контраст между жестокостью, мужиковатостью его внешнего облика и нежной светлостью сокровенных, столь искренне и просто выраженных религиозных чувств рождал то трогательное впечатление, которое еще очень долго после разговора с ним оставалось в моей памяти.

— Я часто вижусь с капелланом, — продолжал он, — мы много беседуем с ним. Может быть, я уйду из гвардии и стану военным священником.

Всякий раз, когда мы с Грегом перебрасывались короткими фразами, сержант-инструктор Мануэль Бонелья бросал в нашу сторону взгляд, полный укора. Потом снова влюбленно смотрел

¹ Национальная гвардия — территориальные воинские формирования в США (около 400 тыс. человек), являющиеся резервом регулярной армии. Национальные гвардейцы также проходят переподготовку в Форт-Беннинге.

на противотанковую мину М-21-А-1, которую он держал в руке, то и дело легонько подкидывая, словно пытался определить ее вес. Держал он ее чуть выше плеча, на растопыренной пятерне, напоминая официанта с подносом. Характерной для латиноамериканцев скороговоркой он рассказал, как устанавливать М-21-А-1, как обнаруживать однотипные мины, если рядом нет сапера. Бонелья, точно мастер международного класса по фехтованию, протыкал землю шупом и штыком от винтовки. Мысль его то и дело переносилась во Вьетнам, и он легко извлекал из памяти, будто мины из земли, всевозможные истории про саперов. Он беззастенчиво говорил минут тридцать и, глянув на наручные часы, объявил короткий перерыв.

— Всем выпить по пять больших глотков воды! — крикнул он вдогонку разбредавшимися солдатам.

— У вас, — я подошел к Мануэлю, — поразительная память. Я специально сидел и считал: вы умудрились вспомнить четырнадцать историй, каждая из которых, попади она в руки Тома Клэнси¹, стала бы новеллой или романом.

— Благодарю. — Он поклонился, словно артист на сцене. Как пить дать, шумевший на ветру лес в ту минуту казался ему аплодисментами восторженной публики.

К нам направился улыбчивый офицер. С каждым шагом улыбка его становилась шире, а уголки рта вот-вот должны были сомкнуться на бритом затылке.

— Привет. — Я кивнул ему. — Хорошо, что вы здесь, а то меня измучило чувство собственной беспризорности. Одиночество, знаете ли, действует на меня хуже удушья.

Он опять улыбнулся. И, если бы не показавшиеся вдруг острые резцы, улыбка эта вполне могла бы занять первое место на конкурсе наиболее приветливых и улыбчивых людей. Но у меня скверный характер: я обожаю злить тех, кто со мною мил, с детства страдаю аллергией на сахар.

— Мануэль! — Я громко обратился к сержанту по-испански. — Давайте говорить на вашем родном языке. Ведь вы из...

— Из Гватемалы, — подхватил Бонелья, — я очень рад этой возможности. Последний раз она представилась мне недели три назад. — Он все никак не мог сойти со сцены: высокопарный «штиль» прилип к нему, как жвачка.

¹ Американский писатель, прославившийся своими романами на современную военную тематику, «соловей» тамошнего министерства обороны.

Но тут пришла минута моего торжества — я увидел, как напряглись уши улыбчивого офицера.

Я продолжал говорить с сержантом по-испански, а про себя подумал, глянув на офицера: «Один — ноль в мою пользу! Ваш ход, сэр».

В тот день он больше не улыбался. Вид у офицера был такой, будто я украл у него тысячу долларов.

МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ЛЕЙТЕНАНТ

Фамилия лейтенанта Литла¹ совершенно не соответствовала его габаритам. Нехитрая логическая цепочка привела меня к мысли, которую я ему сразу же после знакомства высказал:

— Держу пари, лейтенант, что рота за глаза называет вас исключительно лейтенант Биг². Я угадал?

— Естественно, — вяло улыбнулся он. Выражение его лица говорило о том, что кличка Биг ему порядком осточертела, потому как бежит за ним по пятам со дня рождения. Может быть, она была проклятием, преследовавшим род Литлов на протяжении всей истории его существования?

С Литлом я познакомился в маленьком придорожном магазинчике-кафетерии, куда заглянул, направляясь обратно в казарму. Я шагал, но мины сержанта Бонельи мерещились мне повсюду. Глаза автоматически обшаривали простирившуюся впереди грунтовку, прощупывали каждый ее метр. Потому я был рад свернуть с дороги в маленькую кафешку, название которой забыл, как только покинул ее. Пытался потом вспомнить, чтобы записать в блокнот, но потуги памяти так ни к чему и не привели. Осталось лишь ощущение, что от названия исходил сильный, но фальшивый энтузиазм. По-моему, оно звучало либо «Привет, солдат!», либо «Эй, рейнджер, загляни!».

Словом, я заглянул. Лейтенант стоял у полки с книгами, листая последний роман Тома Клэнси «Кардинал Кремля». Судя по обилию написанных и изданных за последнее время произведений (приблизительно один толстенный роман в год), Клэнси успешно выполнял личную пятилетку.

¹ Литл — маленький (англ.).

² Биг — большой (англ.).

— Хорошо плетет романы этот Клэнси? — спросил я небрежно лейтенанта.

— Угу, — ответил он. — Не успеваешь прочесть один, а на книжных полках в магазинах уже появляется новый.

— А вот это вы читали? — Я кивнул на роман «ТАСС уполномочен заявить...».

— Не успел. Там про кого?

— Там про парней из ЦРУ, которые ставят клизму парням из КГБ, но потом один толковый парень из КГБ ставит клизму сразу всем парням из ЦРУ.

— А вы, собственно, откуда? — вдруг холодно спросил меня лейтенант, оторвавшись от книги.

Было очевидно: сюжетный ход, придуманный писателем Ю. Семеновым, вызвал в голове лейтенанта ряд смутных подозрений.

Я был на грани провала.

Собрав в кулак свою волю, стараясь казаться хладнокровным, я назвал лейтенанту свою фамилию. Он выждал несколько мгновений, показавшихся мне часом, и сообщил свою.

Вот тогда-то, чтобы перевести тему разговора, я произнес спасшую меня фразу:

— Держу пари, лейтенант, что рота за глаза...

Хотелось пить, в горле пересохло. Я подошел к продавщице и, указав на запотевшую банку пива, достал из нагрудного кармана мелочь.

— Извините, сэр, — она развела руками, — но нам запрещено продавать солдатам алкогольные напитки.

В голове запульсировали три контраргумента. Первый: «Но, позвольте, разве пиво — это алкоголь?!» Второй: «Я не солдат, а журналист, переодетый в солдата». И третий: «Я советский человек, переодетый в американского солдата».

Я выбрал последний.

— Знаете, ваш предшественник был чуть оригинальнее, — сказала она в ответ и на всякий случай закрыла стеклянную дверцу морозилки, — вчера утром зашел сюда и начал меня убеждать в том, что он актер из Голливуда и снимается здесь в кино. Мило, не правда ли?

Я вышел из магазинчика, так ничего и не купив. Литл пылил впереди по грунтовке. Я догнал его.

— С пивом или без? — Он окинул взглядом мои карманы.

Отрицательно покачав головой, я тоже спросил его:

— С Клэнси или без?

Он продемонстрировал мне плотную книжку. Суперобложка глянец сверкнула на солнце.

— Знаете, как Клэнси начинал? — спросил лейтенант.

— Без понятия.

— Работал страховым агентом. Был беднее и голодней церковной мыши. Но страсть разбогатеть не переставала теребить мозг. Страсть эта да любовь к морской стихии сделали свое дело. Клэнси купил две книжки Нормана Полмара — «Советский военно-морской флот» и «Военно-морские силы современности». От какого-то бывшего подводника поднабрался профессиональных словечек. Вскоре, в 1984 году, появился его первый роман «Охота за красным октябрём».

— Вы читали?

— Да, речь идет о капитане русской подводной лодки, который перебегает в Штаты. Потом, как из автомата, Клэнси выстреливает остальные романы: «Начало красного шторма», «Патриотические игры» и так далее.

— Судя по обилию красного цвета в названиях, везде фигурируют советские?

— Практически везде. Но он не антисоветчик. Просто это позволяет ему держать в напряжении читателя.

— Такое впечатление, что Клэнси «напряг» всю Америку. Куда ни сунешь нос, везде читают его... Даже у министра обороны Карлуччи я заметил книжку Клэнси на рабочем столе.

— Да, перед ним открыта любая дверь в Пентагоне, на авиабазе или на военной базе.

— Что о нем думает литературная критика?

— Я не читаю критику.

— Ваш ответ — ответ настоящего писателя.

— Я слышал, его называют основоположником художественно-технологического жанра.

— Как?

— Имеется в виду, — Литл засунул книжку в карман, — что боевая техника в его романах устроена сложнее и описана с большим мастерством, чем характеры главных героев.

— Очень милый жанр. «Когда зарокотал двигатель, танк вздрогнул и почувствовал, как тепло разливается по всему его бронированному телу». Или что-нибудь в этом духе. Верно?

Лейтенант улыбнулся.

— Верно, — сказал он.

— В таком случае, Клэнси отстал от жизни. У нас от таких книжек ломятся прилавки магазинов. По-моему, ваши и наши Клэнси подписали тайное соглашение о рынках сбыта своих романов и прибылях. Они друг друга понимают на расстоянии. Своего рода транснациональная литературная корпорация.

— Осталось придумать название. Что-то типа...

— Что-то типа «Смерть инкорпорейтед». Смешно и страшно одновременно.

— Ничего страшного, просто развлекаловка.

Слово «страх» потянуло за собой цепочку иных ассоциаций.

Я сказал:

— Лейтенант, мне приходилось много слышать о ваших «уроках страха». Если не секрет, расскажите подробней.

Литл растер кончиками пальцев мощные надбровья, провел ладонью по лицу, словно смахивая с него паутину, и сказал:

— А что тут секретного? Обычная процедура... «Урок страха» проводят в конце первой недели пребывания солдата в Беннинге. Собирают всех в одном зале. Неожиданно появляется человек в форме армии противника — советской или, скажем, кубинской. Он начинает издеваться, оскорблять ребят, их патриотические чувства. Говорит с сильным русским или кубинским акцентом. Вовсю «поливает» Америку, существующую у нас демократическую систему, отпускает шутки по поводу добровольной армии, заявляя, что она не может сравниться с советской. Предлагает кому-нибудь отжаться на руках. Кто-то непременно соглашается, но делает не более десяти — пятнадцати отжимов — слабоват еще. Тогда на глазах у всех отжимается «кубинец» Раз эдак восемьдесят — девяносто. Потом спрашивает: «Ну что, салаги, кто из вас знает ТГХ советского БТР?» В зале — гробовая тишина. Тогда «кубинец», точно автомат, перечисляет десять основных характеристик «брэдли».

— А как реагируют солдаты?

— К концу первых двадцати минут «урока» они напоминают молодых быков, разъяренных пикадором. Кто-то из них, доведенный до состояния кипения, срывается с места и бросается на «кубинца», хватая его за грудки, пытается повалить. «Кубинца» уводят. Все это происходит спонтанно...

— И чего вы этим добиваетесь?

— Мы заметили, — Литл явно удивился моей непонятливости, — что «урок страха» стимулирует солдат, заставляет их ак-

тивней заниматься физподготовкой, внимательней изучать армию противника.

— Своего рода психический шок, верно?

— Да, своего рода...

— Это, лейтенант, конечно, ваше личное дело, но я убежден, что негоже провоцировать отрицательные эмоции людей.

— Но ведь мы ничего плохого про русских не говорим. Напротив, «кубинец» издевается лишь над Америкой и американцами. Ты не понял?

— Я все понял. В том числе и то, что конечным итогом «урока страха» является рост антисоветизма среди молодых солдат.

— Но мы преследуем при этом иную цель — стимулировать учебный процесс, а не возбуждать антирусские настроения.

— Ладно, лейтенант, — сказал я, — бросим этот спор. Мы, видно, друг друга не переубедим. — Потом не удержался и добавил: — Какой-то умный древний дядя пару тысяч лет назад сказал: использующий зло в своих целях неизбежно становится его жертвой.

Метров триста мы шагали молча. Литл шел, вонзив упрямый взгляд в дорогу под ногами.

Мы миновали военный универмаг, где беннинговцы могут отовариваться по сниженным ценам. Там можно приобрести все, кроме, быть может, автомобилей, телевизоров и электроники.

— А в мае, — почему-то сообщил вдруг Литл, — я уже буду шагать по дорогам Западной Германии.

— Ты знаешь, где именно?

— Пока нет.

— Отличается ли подготовка тех военнослужащих, которым предстоит служить в ФРГ, от подготовки тех, кого посылают, например, в Южную Корею?

— Не думаю. Всем солдатам втолковывают, что необходимо выиграть первый же бой с потенциальным противником. Особое внимание уделяется борьбе с превосходящими танковыми группировками Совет... то есть потенциального противника. Стрельба из гранатометов, ТОУ... Словом, противотанковой тактике обучают всех. Тот, кто стреляет первым, побеждает. На войне вообще вторым нельзя быть. Можно — только первым. Вторых и третьих убивают.

— Говорят, лучшее средство борьбы с танками — это танки.

— Да, верно. Мы поняли это еще в 1973 году, оценивая резуль-

таты арабо-израильской войны. А вот и твоя казарма. Извини, мне пора в штаб.

— Спасибо, что проводил.

— Прощай, — улыбнулся он и помахал рукой, словно я стоял в километре от него.

— Пока, лейтенант. Желаю тебе получить три генеральские звезды.

— Если это приказ, я выполню его.

— Не сомневаюсь.

Он еще раз махнул мне рукой, повернулся и был таков.

Я постоял немного на улице и вошел в казарму. Ошвартовался на своей койке с намерением не покидать ее до утра. Прежде чем провалиться в сон, мельком глянул на койку Вилли и отметил, что на тыльной стороне его каски появилась новая надпись: «Любовник смерти». Вилли медленно, но верно превращался в «черного юмориста».

ДОМИНИК-ИНЕССА ИЗ ЧХОНДЖУ

Однако этому богатому событиями дню не суждено было закончиться так рано. Сквозь сон я услышал щелчок, потом еще один и еще. С трудом разлепляю веки — на моей койке сидит Уэйн Сорс, возится с фотокамерой.

— Предлагаю смотреть в Колумбус. У меня кризис с пленкой — надо обновить запасы.

— Тогда — полный вперед!

Минут через пятнадцать мы уже подъезжали к Колумбусу.

— Милый городишко, — сказал Сорс.

— Уже почти двенадцать ночи, — заметил я, — а горожане и не думают идти спать.

— Провинция не хочет походить на провинцию.

Мы остановились у магазинчика, чья витрина была вся заставлена фотоаппаратурой самых разных марок. Хозяин возился с металлической решеткой, не желавшей закрываться. Мы помогли ему забаррикадироваться от потенциальных грабителей, старик расчувствовался и продал Сорсу шестьдесят кассет со скидкой.

— Надо отметить удачную покупку, — сказал Сорс, усаживаясь за руль.

— Это просто-напросто необходимо, — согласился я.

— Тогда предлагаю заскочить в солдатский ночной бар «Перекур у светофора».

— Почему солдатский?

— Сейчас сам поймешь...

«Перекур у светофора» кишмя кишел бритыми солдатскими затылками. Как я потом выяснил у Сорса, это были, естественно, ребята не из «учебки» (там такие «вольности» не позволены), а из регулярных частей. В баре было темно. Из усилителей лилась модная в тот месяц меланхолическая песенка «Медленно мы любим друг друга...». Ее прокручивали раз пять подряд под шумные солдатские аплодисменты. Потом хрипловатый женский голос пропел уже успевшую стать классикой «У нее глаза прямо как у Бетти Дэвис».

На сцене танцевала темнокожая девушка в фосфорическом купальнике.

— Не хотите угостить меня пивом? — обратилась к Сорсу девушка в точно таком же купальнике, сидевшая за соседним столиком.

— Запросто, — отозвался Сорс и пошел к стойке, на ходу доставая из кармана хрустящие доллары.

— Вы японка? — спросил я девушку, когда она пересела за наш столик.

— Нет, — ответила она, — я из Южной Кореи.

— Как вас звать?

— Доминик. А можно — Инесса.

— У вас что — два имени?

— Да, — улыбнулась она, — и я меняю их в зависимости от настроения. Сегодня у меня дождливо на душе, так что зовите меня Доминик.

— Как вы оказались в Колумбусе? — спросил Сорс, усаживаясь на стул и ставя на клетчатую скатерть три кружки пива.

— Точно так, как и все остальные корейки, работающие в других барах, — почему-то обиделась Доминик-Инесса.

— А-а, старая история... — Сорс сделал большой глоток. — Объясняю иностранцам: ее родители заплатили американскому военнослужащему порядка тысячи долларов...

— Тысячу двести, — опять обиделась девушка.

— Ладно, — махнул рукой Сорс, — тысячу двести долларов, чтобы он женился на ней и увез в Америку. Здесь он с ней разводится, помогает получить натурализацию и получает за это еще

столько же долларов. Она устраивается работать в этот бар и выписывает всех своих сестер из Сеула.

— Из Чхонджу, — опять поправила девушка.

— Они зарабатывают тут деньги, большую часть переправляя на родину. Но некоторые солдаты не дают развода и продолжают сосать деньги из своих жен в течение многих лет. Пока те не потеряют «товарного вида»... Нам пора возвращаться на базу. Прощай, Инесса!

— Пока, Доминик! — сказал я.

— Бывайте, — бросила она и повернула свою миниатюрную головку в сторону сцены.

ХРЕБЕТ АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ

— Давайте, ребята, пошевеливайтесь! Залезайте в свои ботинки! — Сержант Джеймс Барнэби идет по казарме, сверкает во все стороны глазами, — я, кажется, сказал — пошевеливайтесь!

Очередное утро в Беннинге. «Любовник смерти» соскакивает со второго этажа койки.

— Как дела? — интересуюсь я у Вилли.

— Не родила! — Взяв зубную щетку, пасту и полотенце, Вилли направляется в сторону ванной.

Дождавшись очереди, я подхожу к умывальнику, гляжу в отполированный до зеркального блеска железный щит на стене. Вилли делает то же самое, но при этом с отвращением мнет пальцами свою заспанную физиономию.

— Ненавижу! — тихо, но четко говорит он, словно видит перед собой Джоди. — Ненавистная морда.

В комнатке сержанта Барнэби — ни пылинки. Он сидит за письменным столом. Лампа дневного света придает его лицу синеватый оттенок.

Барнэби что-то строчит в суточной ведомости. Иногда заглядывает в здоровенный словарь Уэбстера¹.

¹ Уэбстер Н. (1758—1843) — американский лексикограф, в 1928 г. издал в Нью-Йорке «Американский словарь английского языка» (3-е издание выпущено в 1961 г.), который содержит около 450 тыс. терминов, бытовавших или бытующих в английском языке с 1755 г., дает их произношение и этимологию. Выпущены сокращенные варианты словаря, а также географические, биографические и другие «уэбстеры».

— У меня паршиво с орфографией, — говорит он в ответ на мой вопросительный взгляд, — а офицеры ошибок не любят. Капитана Сориано они выводят из себя. Так что приходится иногда консультироваться у мистера Уэбстера.

На столе Барнэби лежит кипа пожелтевших журналов, пачка жевательной резинки. В специальной подставке выстроились по росту идеально заточенные карандаши. На ножке стола нацарапано: «Кровь и сила воли!»

Ветер теребит географическую карту мира. Она покачивается за сержантской спиной на стене. Красным фломастером помечены города в Камеруне, Венгрии, Саудовской Аравии и Перу — стратегические интересы сержанта Барнэби явно не укладываются в рамки Форт-Беннинга. На самом краю карты, чуть выше Северного полюса, выведено аккуратным сержантским почерком: «Рандеву с судьбиной».

— Ты не вешалка для мундира, — бросает сержант солдату, появившемуся за моей спиной, — застегнись! — Потом опять обращается ко мне: — В моей роте поступившему на службу легко продвинуться. Я смотрю за тем, чтобы каждый получал столько, сколько заслуживает. Солдат должен чувствовать, что начальство замечает его старания. И, конечно, его халатность.

Барнэби глядит на часы и резко поднимается.

— Пора строиться, уже пятьсот¹ натикало!

Мы выходим на улицу. Солдаты стоят рядами вдоль казармы. Я пристраиваюсь за Вилли.

— Здоров! — Кто-то резко всовывает в мою ладонь широкую мокрую кисть. — Не забыл еще меня?

Это Билл Уолтон. Всю вчерашнюю вторую половину дня он где-то пропадал.

— Билл, я не забуду тебя до конца своих дней.

Такое впечатление, что за прошедшие две-три минуты в глотку Барнэби вставили громкоговоритель: сержант орет на всю округу — стекла в казарме вот-вот треснут.

По асфальтированной дорожке, ведущей в столовую, идет блондинка. Рота мигом берет ее на прицел. Грудь блондинки покачивается в такт шагам. Тонкая бежевая юбка плотно обтягивает ее бедра. Десятки глаз эскортируют дамочку.

— Спокойно, солдат, — говорит Вилли сам себе, — спокойно! Это приказ.

¹ Имеется в виду, что время — 5.00 утра.

Коленки блондинки ритмично бьются под юбкой.

— Она нас не замечает, — шепчет парень слева.

— Чего ей тебя замечать?! — откликается Вилли. — Такая согласится минимум на подполковника.

— Ребята, закройте рты и дышите глубже, — раздается баритон сзади, — это жена майора. С такой застукают, ей стоит один раз пискнуть «ой, насилуют!» — и ваша песенка спета.

— Майор?! Ну и что?! — не унимается парень слева. — Тоже мне — восьмые штаны в тридцатом ряду!

Блондинка исчезает за дверью столовой. Над дорожкой, по которой она только что шла, остается висеть лишь шлейф едва уловимых духов.

Строем идем в столовую, завтрак длится минут десять. А от туда — напрямик в барак, где уже начали выдавать автоматические винтовки М-16. К стволу каждой прикреплен штык-нож: всю первую половину дня мы будем отрабатывать приемы штыковой атаки.

— Еще лет тридцать назад, — объясняет мне командир роты капитан Деррик Сориано, — солдаты обычно хранили оружие в казармах, в железных шкафах вместе с вещами. Потом было решено держать винтовки в специальных бараках, охраняемых и оборудованных сигнализацией.

Сориано — худощавый филиппинец лет двадцати девяти. Он очень строг, почти не улыбается. Тонкая, с сильным смуглым подмесом кожа обтягивает его широкоскулое лицо.

— Куда мы идем? — спрашиваю капитана, пристроившись в самый конец марширующего строя солдат.

— На плац, — отвечает он. — Милях в четырех отсюда.

Сержант Барнэби запекает, солдаты дружно подхватывают:

Привет, Джозефина!

Как твои дела?

Вспоминаешь ли ты обо мне так,

Как я вспоминаю тебя?

— Деррик! — кричу я капитану. — Хоть ты и командир роты, но за все утро ни разу не отдал ни одного приказа. Ротой практически командует сержант Барнэби. Это характерно для всей армии или лишь для роты капитана Сориано?

«Погоди, — как бы говорит жестом Деррик, — дай им допеть куплет — отвечу».

Солдаты продолжают сотрясать своими глотками могучие стволы сосен:

Привет, Джозефина!
Даже когда тебе было девять,
Ты была жутко мила.
Я часто причесывал твои
Роскошные волосы
И готов был расплакаться
От несправедливости,
Потому что вместо этого мне хотелось
Тебя целовать!
Но было нельзя!
О-о! Джозефина!
Как твои дела?..

— Сержантский состав, — орет в ответ Деррик, — хребет американской армии! Сержант — и учитель, и воспитатель, и непосредственный командир подразделения. Мы, офицеры, обычно отдаем приказание через сержантов. Мы им доверяем. Правда, с них и спрашиваем. Сами же не стремимся вступать в непосредственный контакт с рядовым составом. Пентагон делает все возможное, чтобы завлечь сержантов, оставить их служить как можно дольше. Многие из них находятся в армии двадцать и более лет.

Открутив крышку от фляги, Сориано делает несколько глотков воды. Предлагает мне.

Я гляжу на Джеймса Барнэби, бойко шагающего впереди. На таких, как он, и впрямь держится армия США.

Рота идет несколько минут молча.

— В семьдесят втором году, — говорит Билл Уолтон, — лишь 70 процентов сержантов нашей армии хотели продолжить службу в рядах вооруженных сил. Зато сегодня около 90 процентов тех сержантов, чей срок службы вышел, желают продлить контракты с Пентагоном.

— Они, — Сориано засовывает флягу в чехол, — обучают не только солдат, но и вторых лейтенантов — выпускников военных училищ, передают им основные навыки обращения с рядовыми. Что интересно — лейтенанты в течение трех-четырех недель подчиняются сержантам. Прямо как солдаты. При этом молодые офицеры не считают для себя унижительным выполнять приказание сержантов. Не в обиду лейтенантам будет сказано, но без них армия обойтись может, а вот лиши ее сержантского состава, моментально наступит, как говорят в Голливуде, «конец фильма».

— Если нет поблизости капеллана, — Уолтон перебивает капитана, — его обязанности выполняет — частично, конечно, — не кто иной, как сержант. Скажем, получил солдат письмо «Дорогой Джон!», начинает шарить глазами в поисках хорошего сука на дереве. Видя такое дело, на помощь парню приходит сержант.

— Как же поможет сержант?

— Элементарно. — Уолтон взмахивает рукой так, словно отбивает тыльной стороной ладони теннисный мячик. — Подходит он к солдатику, кладет ему руку на плечо и говорит что-нибудь вроде: «Послушай, браток, не вешайся ты из-за нее. Если она тебе изменила, значит, она б... А разве из-за б... стоит вешаться? Верно, не стоит. Так что будь молодцом, служи исправно, и мы пошлем тебя в Германию. Встретишь там симпатичную немочку, а про эту стерву, обещаю тебе, и не вспомнишь. Поверь мне — я не через такое прошел...» Глядишь, через день-два солдатик уже улыбается... Вопрос о самоубийстве с повестки дня снят.

— Капитан, — обращаюсь я к Сориано, — и все же многие солдаты, я заметил, жалуются на чрезмерную грубость сержантов.

— Мы, — Деррик указывает на себя и Уолтона пальцем, — позволяем сержантам кричать лишь во время первой недели пребывания «нюбис»¹ в учебке. Это своего рода «шоковая терапия». Цель — заставить молодяк слушаться и выполнять приказания с первого же раза. На второй неделе сержанты кричат меньше. Но я считаю, что крик — дело нормальное.

— Деррик, ты все время служил в Штатах?

— Нет, я был в Западной Германии. Там, кстати, женился.

— Ты имеешь право брать жену с собой всюду, куда бы тебя ни отправили служить?

— В большинстве случаев. Запрещено, правда, это делать, если ты служишь, к примеру, на границе с Северной Кореей. Есть еще несколько исключений.

— Какую натовскую армию — я имею в виду ваших европейских союзников — ты считаешь наиболее боеспособной?

— Трудно сказать. Я очень уважаю западных немцев.

— А англичане?

— Крепкая армия. Но Фолкленды показали, что у них серьезные проблемы со взаимодействием родов войск. Во время войны с Аргентиной английские сухопутные части, флот и авиация дей-

¹ Молодые солдаты.

ствовали сепаратно. Потому и потери были слишком большими для такого малого конфликта. Важно, чтобы как можно больше офицеров имели за плечами опыт работы в объединенном штабе родов войск. Иначе будет бардак. Между прочим, учения очень хорошо выявляют такого рода недостатки. Когда я думаю о Фолклендах, я вспоминаю Клаузевица¹, его мысли насчет необходимости единоначалия и командования войсками из одного центра. Кстати говоря, большой проблемой Уэстморленда² во Вьетнаме было то, что он получал приказания не только из штаба Тихоокеанского командования³, но и из комитета начальников штабов в Вашингтоне. Порой эти приказы противоречили друг другу.

— Об этом Уэстморленд много пишет в своих мемуарах.

— Верно, — Сориано поправляет противосолнечные очки на переносице, — во время вьетнамской войны он сильно страдал от отсутствия единого стратегического штаба, который бы мог руководить всеми американскими военными операциями в Юго-Восточной Азии.

«Бедненький Уэстморленд, — думаю я, — он страдал от отсутствия единого стратегического штаба. Еще, говорят, он здорово страдал от жары. Но думал ли генерал, что вьетнамцы страдали и гибли от его, уэстморлендских, бомб?»

Огромный плац, окруженный со всех сторон лесом, утыкан десятками пластмассовых фигур в человеческий рост. Каждая фигура «держит» здоровенную палку, имитирующую винтовку. У опушки установлен бак с водой. На нем кто-то нацарапал: «Дерьма нам не надо!»

— Солдаты! — орет сержант на всю округу. — Я хочу, чтобы каждый из вас сосредоточил все свое внимание на кончике штыка, прикрепленного к М-16-А-1. Вы меня поняли?

— По-оняли!

— Вы меня поняли? Не слышу! Отвечайте, как подобает солдатам, а не девственницам! Вы меня поняли, солдаты?!

¹ Клаузевиц Карл (1780—1831) — немецкий военный теоретик и историк, прусский генерал. Участвовал в войнах с Францией. С 1812 по 1813 г. — на русской службе. Клаузевиц первым разработал положение о войне как продолжении политики.

² Генерал Уэстморленд — командующий американскими войсками во Вьетнаме.

³ Штаб Тихоокеанского командования находится в Гонолулу, на Гавайских островах.

— По-о-о-оняли! У-а! У-а-а!!

— Если вы меня и впрямь поняли, то слушайте дальше. За последнюю пару веков мужчины стали слабонервными и женоподобными. Наши прадеды, бывало, потрошили врага, отрубали ему руки-ноги саблями, выковыривали из черепа мозги, а после того шли с большим аппетитом завтракать. А мы? Мы, конечно, еще способны выстрелить в какого-нибудь мерзавца с расстояния в тысячу ярдов¹, но упаси нас увидеть, как он истекает кровью... Так вот, солдаты, ваша задача — преодолеть этот психологический барьер. Вы должны приходить в восторг при виде вражьего сердца, бьющегося на острие вашего штыка!

Роты внимательно слушают сержанта. Он стоит, широко расставив ноги. В каждом стеклышке его черных очков отражается солнечный диск. Указательным пальцем он смахивает с бровей пот.

— Солдаты! — кричит сержант. — Вам здорово повезло: где еще вы можете убивать, кромсать, резать противника на маленькие кусочки и получать за это деньги?! Запомните: быть на войне садистом — значит, быть реалистом. Представьте, что напротив каждого из нас стоит живой противник. Звать его... э-э... Фред. Фред — мазохист. Он обожает, когда его пытаются, бьют, режут, протыкают насквозь. Давайте же осчастливим Фреда. Давайте дадим ему то, чего он так жаждет. Я сказал: давайте дадим ему!

— Давайте дадим ему! Давайте дади-и-им ему!!! — отзываются хриплые солдатские глотки.

— Но надо знать, как. — Сержант подходит к пластиковой фигуре. — Есть пять смертельных штыковых ударов.

Он с ревом набрасывается на Фреда, вонзает штык в пластиковую шею, чуть ниже кадыка.

— Такой удар, — комментирует сержант, — заставит Фреда петь сопрано. А такой вот удар, — он бьет прикладом и лишь потом штыком, — в одну секунду отправит его на тот свет. Верно?

— Верно!

— Что-что?

— Верно! Ве-е-ерно!!! — гремят солдаты.

— Надо помнить о том, что на том свете Фреду будет много лучше — туда ваш штык не доберется. Но в этой жизни надо быть садистом! Быть садистом — значит, быть реалистом! Верно?

¹ Ярд — 0,9144 м.

— Быть садистом, — кричат солдаты, — значит, быть реалистом!

— Что вы там пишете? Или я имею дело с отрядом герлскаутов? ¹

— Быть садистом, — взрываются океанским ревом солдаты, — значит, быть ре-а-лис-том!! У-а! У-а-а-а!!!

Солдаты, с каждой секундой все более и более свирепея, отчаянно фехтуют вспыхивающими на солнце штыками. Что есть мочи орут:

— Убей! Убей!

Моя фляга пуста. Я направляюсь в сторону бака с водой. Там в теничке прячется от солнца паренек лет двадцати. Судя по эмблеме на его пыльной форме — шлем рыцаря-крестоносца, он уэст-пойнтовец.

— Жара, — говорит он, оторвавшись от фляги, — так ее растак!

Две тоненькие струйки воды тянутся от уголков его рта вниз по шее, прячутся под воротник.

— Из Уэст-Пойнта? — спрашиваю я, чтобы завязать разговор.

— Угу, — отвечает парень, — А ты?

Я представляюсь.

— Очень мило, — вдруг улыбается он. — Я Крис Робинсон. Третий курс.

— Трудно к вам поступить?

— От башки зависит. Главное — получить рекомендацию от конгрессмена, представляющего твой родной штат в Вашингтоне. А для этого нужно пройти собеседование с ним, успешно сдать тест по физподготовке, ответить на целую уйму вопросов в анкете. Кроме того, в школьном дипломе должны стоять хорошие оценки по английскому языку, литературе и математике.

— Ты платишь за учебу или тебе платят?

— Мне, — отвечает Крис, отгрызая кусочек ногтя на мизинце. — В месяц получаю 218 долларов. Это, конечно, поменьше заработка Фрэнка Карлуччи, но если учесть мамини и папины денежные переводы, то на карманные расходы хватает.

— У тебя есть научная специализация?

¹ Скаутизм — распространенная в США система военного воспитания. Скаутские организации объединяют молодежь 8—18 лет и делятся на бойскаутские (мальчики) и герлскаутские (девочки).

— Естественно. Моя последняя курсовая работ... — Крис шурится, переводит взгляд на небо, глаза его скачут с облака на облако, — дай Бог памяти... А! «Проблемы лидерства в армии».

— Звучит неплохо. Ты любишь армию?

— «Любишь» не то слово. Мне в армии хорошо. Армия — моя, так сказать, тарелка. Кому не нравится — может уходить на все четыре... Лет двадцать назад наша армия была скопищем неудачников. Некоторые даже гордились, что их жизнь пошла наперекосяк — эдакая романтика шиворот-навыворот...

— Тебе нравится принадлежать к армейской элите?

— Принадлежать к элите, — Крис закидывает ногу на ногу, — всегда паршиво. Элиту не любят. Вот я из Нью-Йорка. Нью-Йорк — элита среди городов. Именно поэтому ньюйоркцев в Америке не очень-то жалуют. Пошли обратно на плац? А то решат, что я сачкую, сообщат в академию, а там начальнички быстры на расправу — погонят меня взашей. Вставай, потопали...

Мы идем обратно. Солнце вяло плетется за нашими спинами. Как и час назад, солдаты орут каждые пять секунд:

— Убей! Убей!

Какой-то Фред не выдерживает — «замертво» валится наземь. Я подхожу к нему. Пластмассовые зрочки Фреда бессмысленно глядят в небо. Грудь исколота штыком. Лишь теперь замечаю на его каске чуть выпуклую пятиконечную звезду. Я дотрагиваюсь до нее.

— Это не советский солдат! — кричат вдруг выросший из-под земли Билл Уолтон. — Я совершенно официально заявляю, что это не советский солдат.

— В таком случае, — спрашиваю я, — чей?

— Это, — Билл Уолтон садится рядом со мной на корточки, — это, вне всякого сомнения... конечно же, э-э-э... вьетнамский солдат. Разве ты не видишь? Разве ты не видишь, что это вьетнамский солдат?! Кто же еще?! Конечно, это вьетнамец!

— Переры-ы-ыв! — зычно кричит сержант. — Всем выпить воды!

Я опять дотрагиваюсь до звезды на каске Фреда.

— Тебе его жаль? — спрашивает Билл. — Не печалься. Сейчас мы воткнем его в землю, и он опять оживет...

— Нет, Билл, — говорю я, — мне жаль вовсе не Фреда. Мне жаль ваших ребят.

ПОРТРЕТ РЕЙНДЖЕРА

Лицо полковника Бобби Хоффмана было раскрашено серыми, коричневыми и зелеными пятнами. Словом, оно напоминало кошмарную галлюцинацию. Будто его обтянули маскировочной тканью взамен кожи. На этом фоне выделялись лишь глаза: две голубые точки внимательно следили за удаляющейся бабочкой.

Мы сидели в ожидании вертолетов — предстояло тренировочное десантирование в одном из районов соседней Алабамы.

Полсотни солдат из батальона Хоффмана разбились на отдельные корабельные группы — по двенадцать человек в каждой: ровно столько вмещает «блэкхок»¹.

Вокруг под порывами ветра вскипала разноцветьем степь. Дрожал ковыль, гнулась к земле имурка, пьяно шатался шалфей.

Вдали, опоясывая нас тонким обручем, беспрерывно тянулась линия горизонта. Скользя по ней быстрым взглядом, Хоффман наконец ответил на мой вопрос: надо ли детям разрешать играть в войну? А почему нет? Пусть уж лучше ребенок с детства узнает, что он родился на свет, находящийся в состоянии войны. Пусть к тому моменту, когда он подрастет, в его голове будет одной иллюзией меньше. По крайней мере, такое воспитание честнее. Героизм воспитывается с детства. Бог благоволит к героям.

— К сожалению, чтобы стать героем, надо отдать свою жизнь.

— Не всегда. Настоящий солдат умеет ее сохранить. Кроме того, я всегда верил, что у героя есть тайный договор с Богом: храбрый человек так самозабвенно готов пожертвовать своей жизнью, что тем самым обязывает Бога защитить ее. Это старая рейнджеровская истина. Я часто повторяю ее своим ребятам в батальоне.

Хоффман говорил с таким значительным видом, что порой меня щекотало сомнение: а не издевается ли он?

Я продолжал внимательно наблюдать за ним.

Полковник широкой ладонью осторожно погладил траву справа от себя. Словно волосы спящей женщины. Он был по-прежнему смертельно серьезен. Над головой полыхало солнце.

¹ Современный военный вертолет ВВС США, предназначенный для высадки десанта.

— Герои, их дела и поступки, войны и воины — все это невозможно измерять обычными понятиями добра и зла. — Хоффман поправил берет на голове. — Да и кто способен провести точную границу между добром и злом? Бог? Даже он этого не сделал.

Господь отделил свет от тьмы, сушу — от воды. А добро от зла? То, что считается скверным и ужасным в поведении наших противников, становится хорошим в поведении нас самих. Или наших друзей. То, что сегодня мы одобряем, завтра клеймим как нечто возмутительное. Не секрет, что иной авторитарный строй больше соответствует американским интересам, чем демократический. В свою очередь, Россия лучше ладит с иными монархами, чем с народными правительствами, приходившими на смену. Разве нет? Так что не надо мешать масло с водой, а мораль — с политикой.

Я оглянулся вокруг. Степь лежала навзничь, в забытьи. Невидимым гребнем ее любовно расчесывал ветер. Дышал он порывисто, шумно, обдавал меня пряными запахами чужой земли.

Вдруг подумалось: если бы я был художником и мне предложили написать портрет *классического* американского рейнджера, я попросил бы позировать полковника Хоффмана. И не потому, что на его рукаве красовалась нашивка «Рейнджеры первыми прокладывают дорогу!». И даже не потому, что он был прославленным командиром рейнджеровского батальона. Дело в ином: мозг этого человека был мозгом *рейнджера*.

История рейнджеровских подразделений уходит в глубь веков. «Отцом» рейнджеров считается легендарный майор Роберт Роджерс, родившийся в Америке 7 ноября 1731 года. Юность провел он в Нью-Гэмпшире¹, где еще мальчишкой досконально освоил партизанскую тактику индейцев. Потом успешно применил ее во время боев с французами близ местечка Краун-Пойнт. Уже в 1758 году под его началом действовали девять рейнджеровских рот. Роджерс первым сформулировал устав и основы рейнджеровской тактики, среди которых до сих пор не потеряли актуальность такие положения, как «никогда ничего не забывай», «никогда не возвращайся в базовый лагерь прежней дорогой», «когда нет пуля, применяй штык и кулак» и прочее.

¹ Штат на северо-востоке США, один из 13 первоначальных штатов, его заселение началось в 1623 г.

Война была его стихией. Мир тяготил Роджерса, казался безвременьем; от безделья он пустился в финансовые махинации. Боевые заслуги не спасли его от карающей десницы закона. Скрываясь от нее, Роджерс бежал в Англию. Там он написал две книги и пьесу о своих похождениях, разбогател и вскоре вновь был отправлен в Америку — командовать фортом Маккланек. Опять проштрафился. Скрываясь от властей, вернулся в Англию. Там влез в долги и по сей причине прочно сел в тюрьму. Прослышав о начавшейся в 1775 году войне за независимость в Северной Америке, он бежал из тюрьмы, воротился в Новый Свет и предложил свои услуги Джорджу Вашингтону. Однако мудрый генерал испытывал такое недоверие к ветерану-рейнджеру, что приказал его арестовать. Но война была для Роджерса милей, дороже, чем родина, и он переметнулся на сторону англичан, став очень скоро во главе нескольких рот «королевских рейнджеров». Фортуна вновь круто изменила ему: он потерпел серию военных неудач и был вынужден удрать в Англию. Там его ожидал еще один, последний в жизни бой. Бой с бутылкой. Рейнджер проиграл его. Спившись, он умер в полной нищете 18 мая 1795 года в Лондоне.

Эта вот веселая-невеселая, лихая шестидесятитрехлетняя жизнь стала истоком того, что двумя веками позже вылилось в мощные диверсионно-разведывательные подразделения армии США.

...1-й рейнджеровский батальон майора Вильяма Дэрби высадился в Сицилии и вошел в ударную группировку генерала Паттона, который в июле 1943 года осуществлял прорыв в направлении Палермо, 1-й и 3-й рейнджеровские батальоны в январе 1944 года взламывали немецкую оборону вокруг города Систерна, облегчая наступление 3-й пехотной дивизии. Из 767 рейнджеров, участвовавших в этой операции, в живых остались лишь шестеро. 6-й батальон рейнджеров сыграл ключевую роль во время боевых действий американских войск на Филиппинах, осуществил уникальную операцию по освобождению более пятисот военнопленных. Однако американские военные историки свидетельствуют, что лишь 6-й батальон рейнджеров применялся по своему непосредственному назначению (спасательные и диверсионно-разведывательные операции) во время второй мировой войны. Все остальные — в нарушение рейнджеровского устава.

С 1945 года и по сей день в США не прекращаются дебаты вокруг элитарных частей и подразделений, к которым в первую

очередь относятся рейнджеры. Защитники «теории военной элиты» основывают свои доводы не только на классических концепциях, но и на реальных выводах из исторического опыта. Их противники утверждают, что наличие элиты негативно воздействует на моральный дух армии, что регулярные части теряют лучших сержантов, переманиваемых в специальные подразделения. Что относительно малочисленные по составу рейнджеровские отряды сковывают, заставляя работать на себя, слишком большие силы поддержки (артиллерия, авиация, боевая транспортная техника), которые могли бы применяться более эффективно. Пожалуй, определеннее всех высказывался генерал Фредерик Кроусен (ныне в отставке), командовавший во Вьетнаме 23-й пехотной дивизией. Он неоднократно отмечал, что к слабым сторонам рейнджеровских подразделений относятся их нежелание оставаться в зоне боевых действий дольше заранее установленного (обычно очень короткого) срока; повадки и замашки примадонны: привычка в случае малейшей угрозы или соприкосновения с противником вызывать на помощь вертолеты и десант...

Однако подобные споры не помешали созданию в 1984 году (по особому распоряжению министра армии Джона Марша) отдельного 75-го рейнджеровского полка.

Впервые после Вьетнама рейнджеры были задействованы в реальной боевой операции во время знаменитого «освобождения» американских заложников в Иране в 1980 году. И, хотя они непосредственно не входили в состав группы «Дельта», предпринявшей безуспешную попытку спасти заложников, отряды рейнджеров были размещены на нескольких авиабазах в районе Ближнего Востока. В задачу отрядов входило обеспечение безопасности заложников во время их планировавшейся переброски в США.

Во время агрессии США против Гренады 25 октября 1983 года 1-й и 2-й батальоны рейнджеров десантировались на крохотный остров с критически малой высоты — 500 футов. Жестоко расправились они с инакомыслием островитян. Военный успех этой карательной операции и воодушевил Пентагон на создание отдельного рейнджеровского полка. Правительство США официально поставило перед ним следующие задачи: проводить «боевые операции в поддержку политики Соединенных Штатов Америки, специальные операции против объектов в глубоком тылу противника, операции совместно с регулярными подразделениями».

ми, спасательные операции; защищать граждан США, сотрудников посольств США, американские инвестиции и собственность за рубежом Соединенных Штатов; демонстрировать повсеместно в мире готовность и решимость США отстаивать свои национальные интересы...».

— Да, — повторил полковник Бобби Хоффман, — не следует мешать мораль с политикой. Пустое это дело.

Фраза эта вернула меня из мира воспоминаний в мир реальностей. Вскоре послышался далекий рокот вертолетных движков.

— Люблю эту музыку, — Хоффман указал глазами куда-то в сторону горизонта, — в ней нет обмана.

Две урчащие точки долго летели над лесом. Потом скрылись из виду.

— Наши прилетят, — полковник строго глянул на часы, — минут через двадцать. Начало операции — ровно семьсот¹. Подождем еще малость.

Он откинулся на спину, подложив руки под голову. Я спросил его:

— После Вьетнама не кажется ли вам служба в Форт-Беннинге лирическим отступлением от главного дела жизни?

— Кажется. Но, во-первых, человеку иногда надо отдыхать от пуль, во-вторых, кто-то должен передавать опыт молодежи. А в-третьих, Форт-Беннинг — очень непродолжительное «лирическое отступление». Скоро, как я понимаю, мне предстоит перебираться в Западную Германию. Кстати говоря, командир Форт-Беннинга двухзвездный генерал Льюер, видимо, тоже через несколько месяцев окажется в Федеративной Республике. На сей раз — в качестве командующего группой американских войск. А здесь мне нравится. Нравится наблюдать, как всего за 58 дней мы превращаем какого-нибудь пехотинца-расхлябая в настоящего рейнджера. Каждый год мы готовим для армии около трех с половиной тысяч рейнджеров. Обычно это люди от 22 до 28 лет. Всего 14 классов. В каждом — по 255 человек. Ребята тренируются и в пустынях, и в горах, и в условиях болотистой местности. Беннинг — одна из стадий их подготовки. Если общевойсковые спортивные нормативы зависят от возраста солдата или офицера, то для рейнджеров нет скидки на годы. Генерал Льюер — рейнджер. Ему 54 года. Однако во время теста по физподготовке он

¹ 7.00 утра.

должен уложиться в те же нормативы, что и двадцатилетние юнцы. Чтобы попасть в рейнджеровскую школу, необходимо сдать спортивный экзамен: отжимы от земли (52 раза за две минуты), качание пресса (62 раза за две минуты), подтягивание и бег (две мили за 14 минут 54 секунды)...

Подсевший к нам молоденький капитан Хорс добавил:

— Еще надо сдать экзамен на выживание в воде: проплыть с полной боевой выкладкой 15 метров, не замочив при этом М-16; сделать это же, но с завязанными глазами; находясь под водой и не имея возможности дышать, снять с себя башмаки, все ремни, одежду и лишь после этого всплыть на поверхность.

— Да, — сказал полковник, — есть масса требований к тем, кто хочет попасть в нашу школу. Необходимо: иметь талант лидера, уметь оказывать первую медицинскую помощь в боевых условиях, ориентироваться на местности без карты, корректировать огонь артиллерии, наводить авиацию, пользоваться рацией, вести разведку боем... Всего не перечислить, но уметь надо! Я прав, капитан?

— Как всегда, — с улыбкой отозвался тот. — Однако главная задача школы рейнджеров — воспитывать лидеров, командиров, которые могли бы потом передать свое умение подчиненным солдатам. Ведь всю армию через школу не пропустишь...

— Лидера невозможно назначить. Он выдвигается лишь естественным путем — в процессе отбора. Как в волчьей стае. Кстати, есть несколько точек зрения на сей счет. Одни утверждают, что истинным лидером является человек, способный на деле доказать своим солдатам, что он тот самый командир, который может успешно провести операцию и сохранить их жизни. Другие говорят, что в основе таланта лидера лежит способность пробудить в подчиненных желание исполнить твой приказ. Не заставить, а именно пробудить желание подчиниться твоей воле. Школа рейнджеров поможет тому, в ком врожденный талант лидера проявлен слабо, победить неуверенность в себе, понять ее причины и наконец избавиться от них.

Далеко на востоке послышалось едва уловимое гортанное рычание. От опушки леса отделились четыре маленькие точки. Потом появились еще две. Они начали быстро расти и скоро превратились в шесть грохочущих «вертушек» — четыре «блэкхока» и два вертолета огневой поддержки десанта. Ураганный ветер, поднимаемый несущими винтами, провел ровный пробор в траве метров на тридцать.

— Не сдуло бы, — пошутил Хорс, втыкая в уши пластмассовые затычки, Хоффман и я последовали его примеру.

— Во Вьетнаме, — крикнул полковник, приставив ладони ко рту, — «хью» в отличие от «блэкхоков» были на лыжах. Для облегчения веса и увеличения грузоподъемности. Но потом фирмы Сикорского и «Макдоннелл-Дуглас» перешли на шасси.

Четыре корабельные группы забираются в вертолеты. Я сажусь рядом с полковником и капитаном. Пристегиваюсь ремнями.

Борта «вертушек» сделаны из обычной нержавеющей стали. Бронированы лишь сиденья.

Обе двери открыты, сквозящий ветер холодит разгоряченное солнцем и бегом лицо.

Первыми от земли отрываются вертолеты огневой поддержки. Чуть позже — четыре «блэкхока». Наша «шестерка» набирает скорость и идет метрах в двадцати над землей и приблизительно в пяти — над верхушками деревьев.

После Афганистана все это напоминает какой-нибудь средний аттракциончик в ЦПКиО имени Горького. Даже когда при резком повороте вертолет валится вдруг набок и лишь центробежная сила да ремень безопасности мешают тебе вывалиться вниз через распахнутую дверь.

Хорс растирает тонкими указательными пальцами бледные виски. На кирпичного цвета лице Хоффмана теплится слабая улыбка.

Минут через пятнадцать командир экипажа резко сбрасывает скорость. Вздымая клубы пыли, земли и песка, вертолеты садятся. Фонтанами из каждой двери выскакивают рейнджеры, бегут метров двадцать, падают, занимая круговую оборону.

Посверкивая синими проблесковыми маяками, над нашими головами кружатся вертолеты огневой поддержки. Дождавшись взлета «блэкхоков», они все вместе, вшестером набирают высоту, быстренько уходят за горизонт.

Песок вперемешку с пылью колет глаза, скрипит на зубах.

— Издержки войны, — улыбается Хоффман, сплевывая серую тяжелую слюну.

— Поздравляю! — машет рукой Хорс. — Рейнджеры в Алабаме. Сейчас мы ее мигом завоюем.

Где-то вдалеке послышалась автоматная стрельба, крики: видно, там, ближе к реке, сшиблись две разведки.

— Гоу! Вперед! — сдавленно, хрипло кричит сержант Трейди Пью и кончиком языка облизывает сухие, обескровленные губы. В его правой руке — М-16, в левой — свежеструганная ясеневая палка.

Коротенькими перебежками мы рысим в сторону опушки. Под ногами хрустят кусты дикого терна, бурьян. Позвякивая лопатками, магазинами, гранатами и винтовками, впереди галопируют четыре сухонькие фигурки. За ними спешит «штаб» из трех человек — командир группы, радист и пулеметчик. Это «Альфа». Чуть позади пылит «Браво». Рейнджеры четко держат расстояние: десять метров между десанниками, двадцать — между «Альфой» и «Бравом».

Вдали изгиб проселочной дороги. Вдоль нее неровным строем, словно с похмелья, едва стоят почерневшие от времени и дождей столбы «высоковольтки». Трейди Пью поднимает правую руку — мы мигом приседаем на правое колено. По очереди пересекаем дорогу, идем еще мили три-четыре и, не доходя двадцати метров до змеей извивающейся тропинки, покрытой, словно чешуей, осклизлыми прошлогодними листьями, ложимся на сырую землю — засада.

Хоффман отворачивает крышку фляги, жадно пьет теплую воду. Хорс снимает каску, платком цвета хаки вытирает вымыленные лоб и шею.

— Засада на войне, — тихо говорит посвежевший Хоффман, — была суррогатом счастья: хоть чуток можно было отоспаться. Правда, если «отрубался» и часовой, то сон иной раз становился вечным.

— Спи, солдат, — почему-то шепчет Хорс, — Бог хранит твой покой.

— Сколько вы проторчали во Вьетнаме? — я поворачиваю голову в сторону полковника.

— Два тура. Последний — в 1972 году. Было мне тогда двадцать четыре. Чуть помоложе тебя. А когда всю ту кашу заваривали, думал, война продлится от силы год. В итоге все растянулось на десять лет. Через Вьетнам прошло более 2,7 миллиона американцев. 58 тысяч из них погибли. 300 тысяч были ранены. Почти две с половиной тысячи человек пропали без вести или оказались в плену...

— Никто никогда ничего не знает, — говорит капитан Хорс. — В 69-м всю информацию о потенциальных возможностях «чар-

ли» и Северного Вьетнама, об американском экспедиционном корпусе в Юго-Восточной Азии, о ресурсах всех завязанных в конфликте сторон — словом, все это заложили в память пентагоновского компьютера. А потом спросили машину: когда же, черт побери, Америка победит? Электронный мозг выдал быстрый ответ: уже победила. Пентагоновцы попросили уточнить ответ. Компьютер уточнил: Америка победила в 1964 году. Однако война шла не по законам электронной логики...

Над нашими головами, в беспредельной небесной высоте безмолвно плывут два истребителя. Выбросами реактивного топлива они перечеркивают небо.

— Еще не успев начать ту войну, — Хоффман снимает часы, трет правой рукой запястье левой, — мы проиграли ее на домашнем, внутриамериканском фронте. Нация не поддержала военных. Журналисты настроили страну против ее же армии.

— Я знаю многих ваших журналистов, работавших во Вьетнаме, — сказал я, а сам подумал: «Борьба с журналистским инакомыслием, видно, любимое хобби американских офицеров». — По-моему, они не ставили перед собой такой задачи. Их задача была в другом — информировать страну о том, что происходит там, где гибнут дети Америки. Америка обязана была об этом знать. Если бы она не знала, то не поднялась бы на антивоенную борьбу и во Вьетнаме погибло бы не 58, а 158 тысяч. Так что, может быть, журналисты были единственными героями той войны. Но вот позиция Пентагона была весьма странной: заставить страну не думать о Вьетнаме, затруднив работу репортерам, сделав трупы солдат «не подлежащими осмотру».

Рот Хоффмана кривится в улыбке. Хорс что-то внимательно разглядывает, уткнувшись в бинокль. А мне вспоминается та знаменитая инструкция, касавшаяся сопровождения цинковых гробов из Вьетнама в Соединенные Штаты. «...Каждому усопшему должен быть предоставлен гроб и сопровождающий его человек... особое внимание следует обратить на выбор сопровождающего, который мог бы успокоить членов семьи умершего и оказать им посильную помощь. Задачей сопровождающего является обеспечение воздаяния усопшему почестей, достойных павшего воина вооруженных сил Соединенных Штатов. В его обязанности входит: 1) по всем пунктам следования проверять сохранность ярлыков на гробах; 2) принимать меры к тому, чтобы родственники не

вскрывали гроб, в случае если надпись на ярлыке гласит, что останки не подлежат осмотру. Помните, что «не подлежат осмотру» именно это и означает...»

Не потому ли инструкция эта вспоминается мне столь отчетливо, что нечто аналогичное приходилось слышать и в Афганистане?

— В пору Вьетнама, — продолжает Хоффман, — меня всегда бесило, что те люди, которые больше всего возмущались нашими действиями в Азии, службы в армии избегали, воевать не шли. Зато сегодня мы поменялись местами. Вьетнам уже больше не позор, а заслуга. А вот тот, кто кричал на перекрестках: «Детоубийцы! Детоубийцы!» — тот остался в дураках.

«Интересно, — думаю я, — а как будут относиться к той войне американцы лет, скажем, через десять — пятнадцать?»

Хоффман берет у Хорса бинокль. Но не глядит в него. Вертит в руках. Левая бровь его нервно изгибается, мелко дрожит.

— Мне, — говорит он, — довелось участвовать в самой последней официально зарегистрированной боевой операции американских подразделений во Вьетнаме. Дело было осенью 1972 года. Войска уже выводились. Самое страшное — погибнуть в последний день войны. Боевым лозунгом солдат в ту осень стала фраза: «Спрячься и вернешься домой живым». Никому не хотелось стать «последним американцем, убитым во Вьетнаме». Как говорится, мы все сидели на чемоданах. Обычная боевая задача «обнаружить противника и уничтожить» постепенно свелась к «остаться любыми средствами живым». Вывод войск не принес радости. Он лишь обострил в солдате ощущение, что его обманули. Ни виски, ни наркотики, ни курево не могли вытравить из души это ощущение. Дома война уже была признана ошибкой и преступлением, а нам все еще приходилось сидеть в окопах. Как вспомню те дни — зубы ломить начинает.

— Вы упомянули о последней операции во Вьетнаме... — говорю я.

— Ах, да. Последняя операция, так ее и раззтак. Я был тогда в войсках специального назначения — «зеленым беретом». На боевые мы ходили не с М-16, а с АК-47. В условиях джунглей ваш автомат лучше, верней, не так рикошетит — пуля-то потяжелей, да и скорость ее поменьше. Калашников — молодчина, все предвидел. Кроме того, когда мы начинали стрелять, «чарли» зачастую принимали нас за своих и топали прямо к нам в руки. Я ко-

мандовал ротой. Послал группу на вертолете прочесать квадрат севернее нашей базы. Вдруг они возвращаются. Спрашиваю: в чем дело? А они: там сильное противодействие — огонь противника, мы решили не ввязываться в бой. Но вертолетчики объясняют иначе: просто крона дерева царапнула борт, огня не было. Я приказываю ребятам лететь в тот же квадрат опять. Но сержант — ни в какую! Сэр, говорит, я проторчал в этом дерьме больше года и не собираюсь погибать в нем напоследок. Я повторяю приказ. Тщетно. Ладно, говорю сержанту, сиди здесь, я сам поведу ребят. Если он психологически не готов лететь в джунгли, то черт с ним, решил я, не буду его ломать. Кроме того, возвращаться — не самая добрая примета.

— Вы были тогда женаты? — Я задаю этот вопрос полковнику, потому что знаю: холостому на войне проще, чем женатому.

— Да, — отвечает он, — ребенку пять месяцев только исполнилось... Словом, выбросили нас в указанный квадрат. Бродили мы по джунглям пять дней, пять ночей, устроили уйму засад. И все-таки Бог миловал: вернулись целыми. Лег я тогда на койку, вытянулся, хрустнул всеми переутомленными суставами и отчетливо почувствовал свое моральное превосходство над безумной затеей, именуемой жизнью... Я понял, что смерть — это мое самое верное убежище, далее которого ни один враг не сможет преследовать меня. Как сказал поэт, «пусть они исступленно беснуются, ты спокоен в могиле своей». Тебе, кстати, не надоел этот разговор о том, что человек делает на войне и что война делает с ним?

— Наоборот.

— Ты тоже, что ли, жаждешь заполучить пакет акций в международной корпорации грешников? — По губам Хоффмана змейкой скользит улыбка.

— Лишь в том случае, если вы предоставите мне право на долю в искуплении грехов.

— Ладно... «Как человек ни согрешит, Бог милосерден: он грех простит». — Улыбка опять кривит его рот. На сей раз она печальной моцартовской «Лакримозы».

— Полковник, — говорю я, — вы прямо-таки рейнджер-интеллектуал. Небось втихаря стихи строчите?

— Стихи — нет. А вот книгу про бег написал. Называется «Искусство бега».

— Хотите убежать от своих грехов?

— Отнюдь. Все мое ношу с собой...

— Как развивались события после вашего последнего боевого выхода?

— Обычно. Продолжался вывод войск. Они стягивались к городским центрам, потом направлялись в Сайгон, а оттуда — домой. Последними уходили рейнджеры и «зеленые береты», которые, понятное дело, ничего изменить не могли, но командованию было спокойней от сознания, что мы продолжали чesать джунгли. После того как последнее подразделение американских солдат покинуло Сайгон, в Южном Вьетнаме еще на протяжении трех лет оставались военные и гражданские советники. На них смотрели как на смертников. Многие погибли. Некоторые походили с ума. Советники не сомневались в том, что их предали. Оставлять их без защиты было вздорным решением. Впрочем, оно элемент проводившейся тогда политики «вьетнамизации», целью которой было заставить южных вьетнамцев взять инициативу у американцев, а не сваливать решение всех проблем на наши плечи. «Чарли» и Северный Вьетнам не мешали нам уходить. Наоборот, всячески способствовали этому. Они-то хорошо знали, что без американцев им ничего не будет стоить развалить сайгонский режим. Честно говоря, я думал, что Юг продержится дольше. Но уже к весне 75-го все было кончено. А тогда, в 72-м, мы яростно убеждали самих себя, что оставляем хорошо вооруженную, боеспособную армию. Мы лгали себе. Бывают союзники надежные, а бывают такие, как армия Южного Вьетнама. На каждом шагу они предавали нас, а в конце уже откровенно играли на два фронта.

Хоффман дышит на свои наручные часы, протирает их ладонью. Внутри, видно, проник пот и затуманил стекло.

— Эх, черт! — ругается он, но, кого имеет в виду, не понять — то ли бывшего боевого союзника, то ли запотевшие электронные часы. — А потом, — продолжает полковник, — Америка занялась поиском «ведьм» — виновников вьетнамской эпопеи. Сначала журналисты валили все на Джонсона, потом на Кеннеди, Макнамару... Но пуще всех досталось генералу Уэстморленду. — Вдруг лицо его искажает гримаса ненависти, он орет: — Ого-о-онь!

Автоматически я нажимаю на спусковой крючок. Через пару секунд лесок наш трещит, хлопает, взрывается, ухает: «Альфа» и

«Браво» ведут суматошный огонь по вдруг показавшемуся в кустах «противнику».

Винтовка каждого из нас снабжена лазером. Спину и грудь обтягивает особый жилет, подсоединенный к электронному гудку на каске. Если «противник» попадает в тебя лучом, гудок мгновенно начинает пищать: ты «ранен» или «убит».

К концу лазерной перестрелки вся рожица пищит от обилия «трупов». Они, правда, как ни в чем не бывало пьют воду из фляг, перешнуровывают башмаки. Словом, ведут себя абсолютно наплеватьски по отношению к смерти.

Сержанты деловито подсчитывают потери.

Потом мы встаем и длинной цепочкой идем куда-то на северо-восток по бесконечным степям Алабамы. Одну речку переходим вброд. Через другую — ту, что поглубже, — переправляемся с помощью натянутого над ней каната. Ноги ноют, тоскуют по вертолету...

К вечеру мы возвращаемся в Форт-Беннинг. Я прощаюсь с Хоффманом и Хорсом.

— Пока, — говорит капитан Хорс и протягивает мне руку.

— Пока, — говорит полковник и устало щурит глаза.

В них такая жуткая даль, какую человеку, кажется, не одолеть и за тысячу лет жизни.

— Пока...

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

На обратном пути в аэропорт я останавливаюсь у небольшого магазинчика, приютившегося на одной из улиц Колумбуса. Здесь, как мне сказали, работает лейтенант Колли, тот самый Колли, что отдал приказ о расстреле мирных жителей деревни Сонгми. Перед Вьетнамом лейтенант проходил подготовку в Форт-Беннинге. После Вьетнама осел в соседнем с базой городке.

— Что вы желаете? Я к вашим услугам, — говорит среднего роста человек, появившийся в дверях.

— Я хотел бы поговорить с мистером Колли. Если это, конечно, возможно.

— А вы, собственно, кто? — Человек приближается к прилавку и кладет на его стеклянную поверхность свои белые, чуть толстоватые руки. Вроде руки как руки. Но почему-то от одного их вида меня начинает тошнить.

— Я журналист.

Человек резким движением снимает очки в золотой оправе и несколько секунд неподвижно смотрит на меня в упор. Резко поворачивается и уходит, хлопнув за собой дверью.

До меня доносится его приглушенный смех.

...Через пятнадцать часов я поудобней устроился в кресле трансатлантического авиалайнера Ил-62М, отправлявшегося из Нью-Йорка в Москву. Лишь когда гигантский город окончательно скрылся за дымовой завесой облаков, я понял, что моя служба в американской армии завершилась.

Август — сентябрь 1988 года

Форт-Беннинг — Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТРЕТИМСЯ У ТРЕХ ЖУРАВЛЕЙ

9

СПРЯТАННАЯ ВОЙНА

89

КАК Я БЫЛ СОЛДАТОМ
АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ

225

Боровик А. Г.
Б 83 Спрятанная война. — М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1999. — 320 с., 8 л. ил. на вкл.

Эту книгу Артема Боровика необходимо прочесть сегодня, когда война в Афганистане представляется туманным прошлым (тем, кто там не был). Артем Боровик там был и собирал материал для книги в самых «горячих» точках Афганистана: в районах боевых действий, на сторожевых заставах, в ночной засаде со спецназовцами, летал на истребителе.

Повесть «Как я был солдатом американской армии» была написана после нескольких месяцев службы в армии США, по словам автора, «еще не остывшей от войны во Вьетнаме».

ISBN 5-89048-071-5

УДК 35
ББК 66.4 (2 Рос)

Артем Генрихович Боровик

СПРЯТАННАЯ ВОЙНА

Редактор М. Стояновская
Технический редактор Л. Самсонова
Корректор А. Лазуткина
Компьютерная верстка Л. Фирсовой
Изготовление диапозитивов А. Ларионов

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 95 3000 — книги, брошюры.

ЛР № 00473 от 25.11.99.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 13.12.99. Формат 84х108/32.
Гарнитура таймс. Печать высокая (вклейки — офсетная). Усл. печ. л. 17,64 (в т.ч. вкл. 0,84).
Уч.-изд. л. 20,65 (в т.ч. вкл. 0,95). Заказ № 2795. С 104.

Набор и верстка выполнены ООО «Коллекция «Совершенно секретно».
103009, Москва, Б. Никитская ул., д. 22, офис 12.
E-Mail: topsec@glasnet.ru

Отпечатано на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного Комитета Российской Федерации по печати.
170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.



**Отдел реализации издательства
КОЛЛЕКЦИЯ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»**

103009, Москва, Б. Никитская ул., д. 22, офис 12.
Тел.: (095) 291-51-44, 290-04-38.

Склад
Тел.: (095) 465-12-00

**Официальный дистрибьютор издательства
«КЛУБ 36'6»**

Телефон/факс: (095) 265-13-05, 267-29-69,
267-28-33, 261-24-90

Фирменный магазин «36'6 — Книжный двор»
Москва, Рязанский пер., 3, этаж 1,
телефон: 265-86-56, 265-81-93

Склад
Балашиха, Звездный бульвар, 11,
телефон: (095) 523-25-56, 523-92-63;
т/факс: (095) 523-11-10

ISBN 5-89048-071-5



Артем БОРОВИК

СПРЯТАННАЯ

ВОЙНА

Глупцы называли
Афганистан
«школой мужества».

Глупцы были мудрецами:
своих сыновей они
предпочитали в эту школу
не отправлять.

Война давала столько
поводов, чтобы стать
циником. Или убежденным
мистиком. Каждый месяц,
а на боевых,
бывало, каждый день она
заставляла тебя мучиться
в поисках ответа на
извечный вопрос: «Господи,
почему его, а не меня?!

И когда же меня?

Через минуту или
через пятьдесят лет?»

Сегодня солдат возносил
молитву тому, кого на
следующий день проклинал.

И наоборот.

Там, на войне, Зло было
«душманом», потом
«мятежником», чуть позже
«повстанцем»,
пока не превратилось
в «вооруженную
оппозицию».

Но где пряталось Добро,
ради которого надо было
умирать на чужой земле,
не знал никто.

Сказать, что эта война
была ошибкой, —
значит, ничего не сказать:
как известно, найти ошибку
значительно легче, чем
истину.

